

Urbi: Литературный альманах. Выпуск восьмой

НОВЫЙ СИЗИФ

Санкт-Петербург, 1996

Urbi. Выпуск восьмой. Новый Сизиф

*Редакция альманаха «Urbī»
учреждает Литературную премию
имени
Петра Андреевича Вяземского,
присуждаемую
за лучшие произведения,
отвечающие идеалам
художественного аристократизма
и высокого дилетантизма.
Вручение премии
будет происходить ежегодно
22 ноября,
в день смерти Вяземского,
в Баден-Бадене,
Нижем Новгороде
или
Санкт-Петербурге.*

om urbi — κ orbi

Urbi

*Литературный альманах
издаваемый
Владимиром Саговским
под редакцией
Кирилла Кобрин и Алексея Пурина*

Выпуск восьмой

Нижний Новгород • Санкт-Петербург

НОВЫЙ СИЗИФ

Санкт-Петербург, 1996

ББК 84. Р2
У 69

У 69

**Urbi: Литературный альманах. Выпуск восьмой:
Новый Сизиф. — СПб.: ЗАО «Атос», 1996. — 240 с.**

ISBN 5—7183—0123—9

Почтовые адреса редакции:

Россия, 198005, СПб., а/я 69

**Россия, 603043, Нижний Новгород,
проспект Кирова, 4, кв. 9, Кириллу Кобрину**

**Набор *А. Г. Алимкулова*
Компьютерное макетирование *Н. П. Егоровой*
Корректор *Ф. Н. Аврунина***

**Издательство ЗАО «Атос».
197198, Санкт-Петербург, Б. Пушкарская, 10.**

Лицензия ЛР № 064462 от 22.02.1996.

**Подписано в печать 02.07.96. Формат 60х90/16. Печать офсетная.
Печ. л. 15. Тираж 500. Заказ 348.**

**Типография АООТ «ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева».
195220, Санкт-Петербург, Гжатская, 21.**

ISBN 5—7183—0123—9

**© Кирилл Кобрин, составление, 1996.
© Алексей Пурин, составление, 1996.
© Владимир Садовский, составление, 1996.**

ЕЩЕ РАЗ О СИЗИФЕ

Когда типографские жемчужины эпохи сози­дания облачились в роскошные переплеты, все образованные люди пожелали иметь книги, а в те невежественные и варварские времена людей образованных было, не в обиду будь сказано поклонникам прогресса, гораздо больше, чем сейчас.

Шарль Ногье

По рассеянности она, случалось, иногда готовила размазку из старых фактур и квитанционных книжек — тошнотворную и несъедобную.

Бруно Шульц

Скрипи, перо. Черней, бумага.
Лети, минута.

Иосиф Бродский

А был ли камень? Орудие наказания Сизифа могло быть означено случайно: первое, что на ум пришло, что подвернулось под руку. Что первое подворачивается под руку? Камень. Да и кто его, Сизифа, с камнем видел? Никто не видел. Известно только — катает. Вверх. А потом оно само — вниз.

Предположим: все-таки камень. Говорят, Сизиф в позтусторонней жизни был разбойник. Убийец. Давил путников камнем и грабил. Потому дьявольски изобретательные боги наказывают его при помощи того самого камня. Данте в своей топографии Ада развил эту скудную логику, предполагая, что в эмпириях принято лечить (пардон, карать), так сказать, подобное подобным. Логика похмеляющегося хроника. Не Сизифу ли циррозную печень клевал белый стерх? Не воспел ли хлебниковским стихом наш страдалец безжалостного пернатого: «Я славлю лёт его насильий»?

Впрочем, это из другой сказки. Но в литературу мы уже вляпались. Безнадежно. Потому представим: Сизиф закатывает на вершину не камень, а чудовищный свиток, кишаший черными буквами. И для оживляжа: буквы копошатся, роятся на рулоне, в воздухе, на вздутых жилках Сизифова лба, нещадно облепили развороченную печень. Работяге от них не отмахнуться — руки заняты. Он наматывает рулон — вверх и вверх, прессуя попавшуюся алфавитную мелочь между слоями бумаги. Так он создает текст. Но сволочной божок, там, на вершине, стоит (руки в брюки) с усмешечкой бывшего читателя и... как только, так сразу: подтолкнет свиток — и тот, как бинт с подбитой головы лихого комбата, белой дорожкой вниз, и взлетает освобожденная литерная мошкарка. А Сизиф кубарем, к подножью, чертыхаясь и плача.

За что же муки такие? Есть за что. Ведь давил негуганого читателя пудами эпопей, хроник, поэм. Любуясь вылезшими из орбит глазами, недурно шарил по карманам. Бражничал по тавернам, хвастался сноровкой. Гомер рассказывал также, что Сизиф заковал в кандалы Смерть. Это уж слишком. Вот и получай.

Но сменим интонацию. Довольно глумливых фраз. Побольше собственного достоинства. Ведь речь не о тебе, проклятый читатель, а о нас, проклятых. Мы и есть Сизиф. «У богов были основания полагать, что нет кары ужасней, чем бесполезный и безнадежный труд», — пишет Камю, такой же обреченный. Скажем «сизифов труд» — и всплывет в памяти: Флобер, Кафка, Пруст, Джойс. Набоков. Делатели бессмысленного дела. Столоначальники «конторы», которая бесконечно «пишет». Есть в ней и клерки, и рассыльные, и чиновники по особым поручениям. Мы взяли на себя смелость опубликовать один из текущих конторских гроссбухов.

Еще раз сменим интонацию. На этот раз — на торжественную. «Сизифа следует представлять себе счастливым».

Счастливая редколлегия

И ЕЩЕ РАЗ О НЕМ ЖЕ

Камень, все видят, обреченно скатывается в долину кладбища Сан-Микеле, перестает чувствовать Микелин, колечки их телеологического, причинного ворса, забывает рокошующие империи — и неверно надежную сгоряча не на ту кисть, и другую, оставленную на столе яств вместе с хлыстиком... Но вопрос: сохраняется ли некое подобие тени на головокружительной высоте, достигнутой мыслящею рукой? *Problème*.

Рука, вооруженная вечным пером, мыслит. Рефлектирует, значит. Отчаянно, поглядите, тоскует. Лучшие вещи Б. или Б. кажутся написанными окровавленным клювом пернатого Зевса, у которого сперди глагол. Вопль «Осени», зашкаливший стрелку земного страстного, богопротивен. Но — странным образом — и богоутоден, ибо Всемогущество поверяется парадоксом: сотвори то, чего сам не сможешь сдержать, удерживать. *Esse homo*.

Однажды, однако, скатившееся не нашли.

С той поры, может статься, Сизиф затаскивает (от слова «тоска») на Лысую гору всякий раз новый камень. Может быть, это всякий раз *новый Сизиф*...

Никогда не узнаём, что имел в виду Бродский, лет восемь назад посоветовавший (через третьи уста) одному из редакторов этой книги именно так назвать замысленный им альманах. Увы, когда новый Сизиф добирается до вершины, предыдущего там уже нет. Остается лишь тающий на глазах дым сгоревшей бумаги:

baden baden
plus wiesbaden
baden
wies wies
baden baden.

Поэзия есть простое мучание.

Редколлегия опечаленная

ERRATA

Пользуясь случаем и хроническим сизифизмом «Urbi», спешу указать читателю на опечатки, замеченные в публикации текстов из архива моего отца и в сопутствующих ей материалах («Urbi», выпуск седьмой: «Труды Феогнида»). Следует читать: *льгистым* (вместо *льги-стым*, с. 9, стр. 20 сн.), *наши* (вместо *ниши*, с. 123, стр. 13 сн.) и *твою* (вместо *трою*, с. 126, стр. 8 сн.). О постыдной же опечатке в выходных данных умалчиваю.

Денис Уперс-Сифонов

A

b

c

d

e

2 3/4

Посвящается
Марии Каллас —
ее царственности и незащитности

Sie sollen es nicht etwa lesen, noch weniger
mir Ihre Empfindung darüber ausdrücken
Из письма Ницше к Мальвиге фон Майзенбур

Тем немногим (на пальцах одной руки),
кто взглянет

Можно спросить, зачем я написал (вернее, составил) эту «поэму». Но она сама составила за десяток лет. Иваск и Моршен не раз в письмах — без особой настойчивости — понукали: когда же будет третья поэма? Вот она, моя третья* «поэма» (можно назвать и по-хлебниковски, сверхповестью, а можно и просто «бутылкой в море»).

В поздней римской поэзии или у барочников макаронический центон был бы игрой. У этого центона, глумится, менее веселые основания. Во-первых, все уже написано (чувство пришибленности в университетской библиотеке), так лучше уж повторять честно, цитируя, — и не обольщаясь романтическими надеждами на «оригинальность». Во-вторых, эта форма как-то подходит русскому, пишущему за границей по-русски, — в безвоздушном пространстве, с нулевым читателем, с сянкнутой творческой энергией. Это вроде как разговор с собой.

Во избежание недоразумений: это не антивоенная поэма, как могло бы показаться кому-нибудь из протестующих идиотиков. Она, собственно, и не о войне. А о чем? Может быть, об одиночестве и свободе (вернее, о свободе и одиночестве).

В «Опере» лишь вначале идет «сюжет»; после этого «содержание» лучше воспринимать «музыкально» (и индивидуально, т. е., каждый по-своему), если не «живописно» (т. е., я часто клал цитатные краски огна к грутой, как их, по-видимому, кладет художник).

* Так как она не совсем моя (цитатность) и не совсем поэма, то она и не совсем третья. Поэтому называю ее (по-феллиниевски) «Два и три четверти». Моя все же половина текста, плюс четверть за подбор цитат и замысел.

ПРОЛОГ

*Evviva ia guerra
La Forza*

*Patria, vittoria, honor
I Puritani*

*Bella vita militar
Da Ponte*

*J'aime les militaires
La Grande Duchesse de Gérolstein*

Война: подъяты наконец
.....
Что ж медлит ужас боевой?
Пушкин

Снова кивок семафора,
Снова дорожные сны,
На мне военная форма
Какой-то другой страны.

Вольней не найдешь удела
(Не смертного ль часа ждем?);
Я бьюсь за правое дело
И в этом слегка убежден.

Однако, шагая в ногу,
В пилотке и с котелком,
Скарба возьмешь немного,

Духовного и подавно. Ну что я возьму на этот desert island?

Жилля, Федру и 5-ю Брукнера?
Нет, слишком массивно. В сумку не войдет.
Может быть, An den Mond, пушкинскую
Метель, Solenne in quest' oга и
несколько строк из Георгия Иванова?

Выбор сделан: я беру Беллини, — всего,
даже те четыре оперы, что не слышал.

Люблю я и Беллини тоже
Огарев

Прекрасное существует, но его нет
Жуковский

О П Ы Т О Б Е Л Л И Н И

А это все тогда искусством называлось
И красотой считалось

Хемницер

Er wollte so gern leben bleiben,
er hatte eine fast leidenschaft-
liche Abneigung gegen den Tod,
er wollte nichts vom Sterben
hören, er fürchtete sich davor
wie ein Kind, das sich fürchtet,
im Dunkeln zu schlafen

Heine

1

В то время между заказом оперы и премьерой проходил месяц — полтора. Беллини требовал два, иначе не брался. («Покамест провожу время в театре с Беллини и компанией... здесь негодуют, что он столько медлит» — из письма Глинки).

Первые успехи Беллини и Рубини связаны. Вряд ли, впрочем, последний удовлетворил бы нас: он пел мощным фальцетом.

Теперь увертюру к «Норме» в концертах не играют, слишком наивная оркестровка; однако Бизе отказался переоркестровать ее, когда ему предложили.

Марш ухода после «Casta diva» был так же знаменит, как сейчас из «Лознгриня»; под него шли к столу.

Шопенгауэр считал «Норму» лучшим оперным либретто.

Глинка под Мадридом слышал «Норму» в исполнении детей («дети пели недурно»). Ну и дети были в то время.

Хотя он родился у подошвы Этны в Катанеи, но был белокур, бел и очень приятен лицом, роста стройного; его обращение и приемы обнаруживали человека, принадлежавшего хорошему обществу (Глинка).

Sie haben ihn also persönlich gekannt? War er hübsch?... Es war eine hoch aufgeschossene, schlanke Gestalt, die sich zierlich, ich möchte sagen kokett, bewegte; immer à quatre épingles; ein regelmässiges Gesicht, länglich, blassrosig; hellblondes, fast goldiges Haar, in dünnen Löckchen friesiert; hohe, sehr hohe, edle Stirne; grade Nase; bleiche blaue Augen; schön-gemessener Mund; rundes Kinn. Seine Züge hatten etwas vages, Charakterloses, etwas wie Milch; und in diesem Milchgesicht quirlte manchmal süssäuerlich ein Ausdruck von Schmerz. Dieser Ausdruck von Schmerz ersetzte in Bellinis Gesichte den mangelnden Geist; aber es war ein Schmerz ohne Tiefe... Und sein Gang war so jungfräulich, so elegisch, so ätherisch. Der ganze Mensch sah aus wie ein Seufzer en escarpins.

Heine, Florentinische Nächte

Una Signora, e vecchia Signora, la *Baronessa Sellyere*, vuole essa ammogliarmi con una ragazza di 18 anni, che mi dice esser assai bellina ed avere della fortuna: due o trecento mila franchi di dote.

Из письма Беллини

Ora il mio piano è il seguente: contrattando un legame con una donnetta che con sua dote mi mette in una certa indipendenza... Avere poi una ragazzina, bellina, e bene educata farà che non prenderò relazione alcuna con delle donne non mie, e quindi procurarmi dei continui rancori.

Тоже

...allora *tutto per il meglio*: io sono così anche, amo la donna, che no ho in progetto do sposare, e mi annoia quando questo progetto s'affaccia, se tale impressione sarà costante, vedi bene che mai prenderò moglie. — Amen.

Тоже

That dim chimera, marriage to a very young, very pretty, very docile and wealthy girl, was still materializing in Bellini's surroundings...

H. Weinstock

What he really desired, was a very attractive, very young sexual partner who otherwise would leave him free to devote himself absolutely to composition.

H. Weinstock

Bellini tombe et meurs

Musset

...der Tod des junges, rosigen
Bellini kam mir unglaublich vor.

Heine

Отпевали Беллини в Церкви Инвалидов;
«Лакримоза» пелась на мелодию
(без аккомпанемента) теноровой
арии из последнего акта его «Пуритан»;
пели Рубини, Лаблаш, тамбурини и
(Николай Кузьмич) Ivanoff.

Бессмертья, может быть, залог

2

Bellini's music, 124 years later, is still entrancing.

Opera News, Jan. 9, 1956

«Norma» stent und fällt mit guten Stimmen und das ist schade; es entspricht eigentlich nicht dem musikalischen Befund. Man irrt sich, wenn man von der konventionellen harmonischen Basis Bellinis auf Simplizität des Einfalls schliesst. Bellini war einer der grossen Melodiker seines Jahrhunderts (Chopin — übrigens auch Wagner! — war hingerissen von ihm), in seinen Themen ist ein höchst subtiles, fast Mozartisches Gefühl für Linie wirksam, das sich nicht dank, sondern eher trotz des italienischen Fahrwassers durchsetzt, in dem sie schwimmen. Und auch seine Koloratur ist nicht leer und äusserlich, sondern gefühlt, Teil des Musikalischen. (Ein melodisches Juwel ist, z. B., die Cellomelodie im Vorspiel zu Normas Soloszene im zweiten Akt, später von Norma mit interessanter Akzentverschiebung wiederholt). Und Bellini hat sein Drama ernst genommen. Sein Recitativo accompagnato, das noch mit einem Fuss in der Opera seria des achtzehnten Jahrhunderts steckt, ist reich an psychologischen Nuancen, und die lyrische Intimsphäre wird mehr als einmal durchbrochen; so sprengt, z. B., der ausserordentliche Chor «Guerra, guerra!» (Allegro feroce) das Biedermeierlich-befriedete des Werks und nimmt den Verdi der Risorgimento-Phase vorweg.

Opernwelt, Juni 1970

The local Sicilian pigeons seem very much at home on Bellini's lap and on Norma's outstretched arm...

Saturday Review, March 14, 1970

Есть и Ру́си чем гордиться
Некрасов

Люди есть у нас, бывают,
Спят и делают во сне
И того не замечают,
Что лунатики оне
*Из русского перевода
либретто «Сомнамбулы»*

Honestly, Norma, he goes on like
Ivan the Terrible

*Из рекламы North Themes Gas
В программке «Тристана и
Изольды» в English National
Opera 1981*

Practically nothing is known
about the Druids

*Из старого изгания
Encyclopedia Britannica*

3

Глинка (в Милане в ложе) плакал от умиления на премьере «Сомнамбулы». Впрочем, все кругом плакали: в зале и на сцене.

У итальянцев было два (и, в общем, похожих) Беллини; у русских Беллини не было, может быть, потому, что у них был Белинский.

Неужели на Родине Норму только выполняли, а не слушали? Конечно, нет:

И напеваю *Casta diva* (*Огарев*),
И далеко раздаются
Звуки «Нормы» вдалеке (*Фет*),

и даже:

/Базаров/ Готов уснуть при звуках «Нормы» (*Минаев*);

и наконец:

— Сыро в поле, — заключил Обломов, — темно; туман, как опрокинутое море, висит над рожью; лошади вздрагивают плечом и бьют копытами: пора домой. В доме уже засветились огни; на кухне стучат в пятеро ножей: сковорода грибов, котлеты, ягоды... тут музыка... *Casta diva*... *Casta diva*! — запел Обломов. — Не могу равнодушно вспомнить *Casta diva*! — сказал он, пропев начало каватины. — Как вылакивает сердце эта женщина! Какая грусть заложена в эти звуки!.. И никто не знает ничего вокруг... она одна... Тайна тяготит ее; она вверяет ее луне...

— Ты любишь эту арию? Я очень рад; ее прекрасно поет Ольга Ильинская. Я познакомлю тебя — вот голос, вот пение.

Гончаров подсчитал, что стучали именно в пятеро ножей, но, судя по написанию и пунктуации, о мелодии арии он имел приблизительное понятие.

The aria «Casta diva»... runs as a leitmotif throughout... *Oblomov*.

*(Lynn and Wesley Fisher,
Первая Setchkarev Festschrift).*

Пречистая дева (*итал.*) — ария из оперы «Норма» итальянского композитора Беллини.

*(примечание редактора Е. Астафьева
к словам Casta diva на стр. 187 романа
в издании Гос. Изд. Худ. Лит. М. — Л., 1951).*

Норма стара, толста и, хотя голос у нее порядочный, но не в меру кривляется. Адальжиза такая, что стыдно в люди показать.

*(из письма русского современника;
приведено теми же Фишерам).*

У Верди накал, какого Беллини не ищет. Даже здесь, в самой вердиевской, самой «накаленной» его опере, все задает Casta diva, молитва Луне (как это ее просмотрел Бальмонт?)

But the Druids did not worship a moon goddess until long after the Roman influence had submerged their culture, substituting Roman gods like Diana for those of Gaul.

(Opera News, April 4, 1970)

Верди относится к Беллини как Некрасов к Батюшкову.

Моршен (если бы его интересовала итальянская опера) увидел бы в NORMA = AMOR + NO.

E in cor gli ardeva una tristezza ignota
D'Annunzio
 (к годовщине Беллини)

Das Reich des Reinen, Einfachen, Schönen,
 das nicht nur häufig aus der Literatur,
 sondern auch aus dem Leben zu verschwinden
 droht.

Adalbert Stifter

4

Величественно-трагическая продолговатость мелодии

Лилиеобразное сочетание удлинённости и чистоты

Доницетти — Беллини без аромата

Как будто тянется одна нота, временами вспыхивая орнаментами

Поэзия невинности, может быть, в последний раз

Беллини — полная противоположность Стравинскому. И это не в осуждение И. Ф.

Как будто все поют одну и ту же арию Как воспроизвести в прозе эту бель-линию, бель-лилию, не впад в болотистость Томаса Манна?

Верди не любит (или не хочет) невинности. Он и Джильду поторопился лишить ее как можно скорее. Героини Вагнера невинны только de jure

Прелесть стоящих в начале: Глинка, Беллини... Фра Анжелико

Какую прекрасную оперу Беллини написал бы на сюжет «Жизели».

Длинные мелодии Чайковского (Ромео, Франческа) и Рахманинова (2-й ф.-п.) идут и рассказывают. Музыка и должна двигаться. Чудо Беллини (особенно в *Casta diva*) в том, что мелодия недвижима (какой и должна быть молитва)

Чистоты в наш век достигали Клее и Мондриан. Один наивысшей детской, другой магической геометрией

Беллиниевские кабалетты кружевные, а не стремительные (как у Верди) Говорят, что Пачини кабалетты писал лучше. Это он из зависти устроил провал «Нормы» в Париже. И тут Сальери

А в жизни Беллини был скорее холодным селадоном

О чем ни начнешь, все «Норма» да «Норма». А ведь настоящий Беллини — в «Пуританах» (и в двух-трех местах «Сомнамбулы»)

Я помню, что в продолжение ночи, предшествующей поединку, я не спал ни минуты. Писать я не мог долго: тайное беспокойство мной овладело. С час я ходил по комнате; потом сел и открыл роман Вальтера Скотта, лежавший у меня на столе: то были «Шотландские Пуритане». Я читал сначала с усилием, потом забылся, увлеченный волшебным вымыслом.

Княжна Мери

...условивались на другой день ехать в оперу на «Пуритан» и, когда Вера Павловна сказала мужу: «Миленький мой, ты не любишь этой оперы, ты будешь скучать...»

Что делать?

О милое позавчера!

...

5. АРИЯ С КОММЕНТАРИЯМИ

Каватина	Из другой оперы	Inachevé к месту (и не к месту)
Жила-была невеста Ее хранила Веста.	Giglio innocente e puro (<i>Sonnambula</i>)	Из Вальтера Скоттинина сказанье
И доверху и книзу Beltà di Paradiso.		Женщина, ищущая ощущений счастья
Невзрачная, простая И грудь неразвита, —	An Leonorens Brust (<i>Fidelio</i>)	
Но вовсе не гамыра; А имя было Эльвира.	Jim Bailey: Это не дольник, это ямб со стяжением слогов, как в итальянской опере	
Всего два дня до свадьбы. Ей жить да поживать бы...	O matrimonio! Inferno! (<i>Falstaff</i>)	Боюсь больших и светлых комнат
И вдруг — сумбур и драма: Elvira è la dama?	Gran Dio, abbi pietà perduta, perduta io son (<i>Norma</i>)	В аду друг друга упрекают, В аду друг с другом не в ладу
Куда все подевалось? Где цепь времен порвалась?	Oh, mio dolor! Oh, qual terror (<i>Norma</i>)	

Не быть царицей
мира
Non sono più Elvira.

Тебя я, вольный
сын эфира etc.
Non cessa ella dal
pianto ancora?
(*Il Pirata*)

Безумием дохнуло,
И девушка рехнулась.

Che strano evento
turba
la vergine in
questo dì?
(*Ascanio in Alba*)

Ад не уходит, он
только сгущается

Кабалетта

С такой бы героиней
Во мгле цветов
и линий —

Голубка моя,
Умчимся в края
(*Боглер по
Мережковскому*)

Лилейной,
изможденной
И неосвобожденной...

О милая Эльвира,
К брегам
Гвадалквивира

Тихо над
Альгамброй...

Мы друг друга
любим больше,
Чем нам думалось
вначале,

Мы убежим с тобою
Под небо голубое.

Un altro cielo
Mirar credetti
(*Norma*)

Мы друг друга
любим чище,
чем сперва
предполагали

* * *

К чему фиоритуры?
Я не гожусь
в Артуры.

Moriam insieme, ah!
sì, moriamo
(*Norma*)

И он стоит. В руках
его стакан,
Который он не знает
чем наполнить

Не испуская воплей,
Не распуская соплей,

Numi! che bel
momento!
Come in sì bel
contento il mio
timor finì
(*Ascanio in Alba*)

Прими меня как
брата,
O vergine adorata.

Morte! Infinito!
Amore!
Viva la morte insieme
(*Andrea Chénier*)

Pria de morte,
Perdone a me
(*Norma*)

Спокойся, княже, я
не оставлю тебя,
вместе с тобою сгорю
любя
(Хованщина)

Hoch und hell
Lodre die Glut...
Die lachende Lohe
(Die Götterdämmerung)

Мы на горе всем буржуйам
Мировой пожар раздуем
(Из Блока)

* * *

Ее пригрело, открыло,
И вот она
Белее мела воспарила
И — чуть видна.

В моей уклончивой печали
С пустой водой
Какие птицы не кричали —
Как пред бедой?

* * *

Oh patria mia oh padre mio
O race race mai più mai più
Уйдите боги oh nuni мяу
Бла-бла-блаженство пь-пь-пь-пью

Voi $\frac{che}{lo}$ sapete perdon contessa
Одесса m'ama citta Чита
Un altro bacio ridi pagliaccio
Oh maledetta oh libertà

Куда куда вы $\frac{увы!}{самсон}$ далились
О львы Эльвиры слышали ль вы
Лилей тонкой лилеи белой
Лилей стройной как еуы

Не то чтоб разумом моим
Не то чтоб разумом моам
Не то чтоб разумом моум

Рассудок уж молчал

И снится Вере Павловне сон

Мало мы вас, гадов, в восемнадцатом году к стенке ставили

В этом месте взрыв. Бомба разорвалась, что ли? Описывать взрыв не будем. Мир летит (весь мир? мой мир?). По каким-то абсурдным законам его куски на лету слагаются в четырехактную оперу (или даже симфонию):

Сокрыт во облаке багровом
Не храм ли Памяти я зрю?
Муравьев

О П Е Р А

I. ANDIAM, ANDIAM
(Allegro prima giocoso, poi molto ambiguo)

Kartenspiel und Würfellust
Und ein Kind mit runder Brust

Sono in amore
Voglio marito
Se fosse il primo
Che passera!

Bella cosa è far l'amore

L'avrai, mio ben, sì, sì.
Vivi sperando vivi,
Frena i desiri lascivi,
De' legitimi amplessi aspetta il dì

Ich genoss nicht bloss, sondern ich fühlte
und genoss auch den Genuss

Ne so ben ancora
S'è gioia o dolor

Morir tu brami,
Crudel mi chiami

Anche fra i più costanti languisce fedeltà

Bin ich in Kornwall? Nicht doch: in Kareol

II. OHIME, OHIME (Scherzo feroce)

Doch was du singend mir sagst,
Staunend versteh ich nicht

Io non intendo i tronchi
accenti tuoi

Seufzer, Tränen, Kummer, Not,
Ängstliches Sehnen, Furcht und Tod
Nagen mein beklemmtes Herz,
Ich empfinde Jammer, Schmerz

Timore, affanno, ira, speme
e furor mi sento in seno

Тоскую, рвусь, стеною, грущу, страдаю, ною,
Вздыхаю, мучуся, печаль владеет мною

Doch mich umgarnen finstre Mächte

Verrückter Knabe! Wieder
Gewalt!

Я человечества страшусь;
Сам человек, себя боюсь,
И тени страшны мне людские

III. PIETÀ, PIETÀ (Adagio funebre ma ironico)

Was wisst ihr Knaben von meinen Sorgen?

Die Sterne sind alle tot

O triste libertà!

Uccisi! da chi? — Da te, spietato

Nu ist von Burgonde der edel künic tot
Gîselher der junge, und och Gêrnôt.
den schatz weiz nu nieman wan got unde mîn:
der sol dich vâlentinne immer gar verholn sîn

...Все здешнее лучшее общество!

— Мой друг, мне и нездешнее ужасно надоело

Съешьте меня, Бога ради, мне скучно

IV. PACE, PACE (Andante mistico /ma non troppo/)

Что пользы в тишине,
когда корабль разбит?

Sparì un sogno così bel!
O destin fatal, o destin crudel

O lasciate me morir

Schlafen! o dass mich keiner wecke

Лицо у смерти человеچه,
облик же весьма страшен

Ты говоришь, что снам не надо
да сон-то непростой
верить,

И снится Вере Павловне сон

А кстати, вы любите Шиллера?
Я ужасно люблю

è la Luna il nostro sol

Ты пишешь, что расстроила себе
желудок. А ты не пей
шампанского

Tal non dovea l'improvvida
al ciel notturno esporse
(Не простудились бы, барышня)

Welch schwarze Harmonie

Es ist jetzt Nacht — Ich möchte scherzen, um die Schauer von mir zu entfernen, die mich umgeben. Der Wind rauscht einsam über die Wälder daher und die Sterne stehn wehmütig über Bäumen und Felsen: Mondschein schimmert herüber — Wirft das Licht nicht seltsame Schatten gegen die Mauer? Wer kann wissen was ein Schatten ist und was er zu bedeuten hat? Ein Zweig des Baumes klatscht gegen mein Fenster... Ich weiss nicht, warum mich alles erschreckt...

Ombra cara, ove sei

В конце концов —
всему конец,
Дрожжи конец тоже.
Маяковский

СОЛДАТСКАЯ ПЕСНЯ

(она тоже фрагмент и несется в пространство одновременно с оперой; началась же еще до взрыва. Помещена в конце единственно из композиционных соображений)

1

Марш вперед не зная броду —
Вот такая жизнь по мне,

Бесшабашную свободу
На войне ценю вдвойне.

Второй столбец там же. Надо же. Годы без света, на хлебе и воде, только что чуть жизнь не потерял, и чего ему хочется больше всего? — an Leonogens Brust (хотя что там за «бруст» могла быть, если за юношу сходил /«в жизни», конечно, — на сцене дай Бог/).

Примечание к этому примечанию. Покойный Карл Эберт рассказывал мне, как на репетиции The Rake's Progress, когда Элизабет Шварцкопф, получив от Стравинского указания на заданный вопрос, отошла, он понимающе взглянул на Эберта и сказал: Einen schönen Busen hat die Frau.

Эберт также рассказывал, что Стравинский, хотя своим дирижировал лучше других, — технически хромал, отставал, например, от оркестра. Однажды он крикнул той же Шварцкопф: Эй, Schwarzkopf, ich höre Sie nicht, на что та невозмутимо возразила: Seit drei Minuten singe ich nicht.

В конце арии с комментариями, после того, как пуританский хэппи энд оборачивается концом мира, две пушкинских цитаты вступают в неравный бой с девятой плоскостью хлебниковского «Зангези». (Незадолго до этого, в оперной «окрошке», первая русская фраза /как и размер стихотворения/ — из Бальмонта).

Солдатская песня:

Строка о счастье — из Георгия Иванова.

Приложение второе

(«Ключ» к опере /кому интересно/)

I

Freischütz	La finta semplice
La finta semplice	L'Oristeo (Cavalli)
Fr. Schlegel (Lucinde)	
Alcina (Handel)	Lucio Silla
Lucio Silla	
Tristan und Isolde	

II

Siegfried	Lucio Silla
21 кантата Баха	Lucio Silla
Ржевский	
Freischütz	Parsifal
Хемницер	

III

Capriccio (R. Strauss)

La finta giardiniera

Simone Boccanegra

I Capuleti e i Montecchi

Der Nibelunge Nôt XX,2308

(Ответ Гагена Кримхильде)

Княжна Мери

Ремизов (Посолонь)

IV

Хемницер

Don Carlo

I Puritani

Parsifal

Ремизов (Бесовское действо)

Царская невеста

Свидригайлов

I Masnadieri

Письмо Чехова жене

Il Pirata
(Пиковая дама)

La finta giardiniera

Tieck, William Lovell

Orfeo ed Euridice

От редакции

К сожалению, Владимиру Федоровичу Маркову, живущему в США, не удалось держать корректуру настоящей публикации, — что, в случае столь сложного и многопланового произведения, сопряжено с вероятностью искажения текста. Надеемся, однако, на снисходительность автора и на интерес читателя к поэме замечательного филолога, исследователя русской поэзии XX века.

Х. Л. Борхес (при участии М. Герреро)

КНИГА ВЫМЫШЛЕННЫХ СУЩЕСТВ

Фрагменты

Нельзя войти в жизнь иначе как из материнского лона; в литературу (надувательство более тонкое, чем жизнь) можно попасть, не входя ни с парадного крыльца, ни с черного хода, ни в окно, ни даже по пожарной лестнице. А так. Что Денис Константинович Хотов (1962 — 1995) и сделал. В миру — банальный вузовский доцент, холостяк, кулинар, он, что называется, для души пописывал прозу, баловался стишатами, возился с переводами. Публикациями не бредил, профессиональными литераторами брезговал. За все время нашей дружбы мне лишь дважды удалось выпарапать у него нечто для печатания в «Urbi». Символично, что оба раза — переводы. ДК (так его именовали друзья) переводил борхесовскую «Книгу вымышленных существ», но не с испанского издания, а с английского, более позднего и более полного. Посмеиваясь над простодушной ловкостью составителя, ДК досконально изучил всю механику его энциклопедических фокусов, центонной бравады, алфавитной эрудиции. Кусок этого перевода я опубликовал в первом номере «Urbi». Для третьего ДК соорудил остроумную конструкцию из переписки английских переводчиков Борхеса, своих комментариев и блестящего эссе. В располневшем и возмужавшем «Urbi» (после № 4) ДК печататься отказался. «Печатай писателей, — посоветовал он мне, — они для того и пишут, чтобы печататься». При этом «пописывать» ДК продолжал, в чем, разбирая его архив, доставшийся мне по завещанию, я убедился. Умер Денис Константинович Хотов 1 января 1995 года.

В архиве много чего есть: ручной вязки проза, цианистые вирши, шутовские философические фрагменты. Все вперемежку, на клочках, богзнает-как. Юный, еще зеленый текстолог побуреет и созреет, разбирая такой архив. К счастью, изрядный кусок хотовского перевода «Книги вымышленных существ» какая-то добрая душа набрала на компьютере. Так что, пользуясь «правом Макса Брода», добавляю предисловие и — в печать!

P.S. Ни покойного переводчика, ни здравствующего ныне (слава Богу!) публикатора не смущает появление в последние годы нескольких переложений «Книги вымышленных существ» на русский. Один из вышедших переводов удручающе плох, другие (например, Е. Лысенко) профессиональны, но исполнены поточно, без любви, небрежно. Перевод Хотова любительский, но рукодельный. К тому же, англоязычный вариант «Книги» несколько отличается от испаноязычного.

P.P.S. Перевод сделан с издания: Jorge Luis Borges (with Margarita Guerrero). The Book of Imaginary Beings / Revised, en larged and translated by Norman Thomas di Giovanni in collaboration with the author. Harmondsworth, 1980.

Кирилл Кобрин

Божественный Олень

Мы совершенно ничего не знаем о появлении Божественного Оленя (возможно потому, что никто никогда по-настоящему его не видел), однако известно, что эти трагические животные обитают под землей, в копиях, и желают лишь одного — достигнуть дневного света. Они обла-

дают даром речи и умоляют рудокопов помочь им выбраться на поверхность. Сначала Божественный Олень пытается прельстить рабочих обещанием открыть потаенные серебряные и золотые жилы; когда эта уловка не удается, животное становится опасным, и рудокопы вынуждены бороться с ним и замуравывают его в подземных галереях. Ходят слухи о том, что некогда Олени, оказавшись в большинстве, забили рудокопов насмерть.

Легенда гласит, что если Божественный Олень найдет путь наверх, то он превратится в зловонную жидкость, несущую чуму и мор.

Это китайское сказание было записано Г. Виллоуби-Мидом и вошло в его книгу «Китайские упыри и гоблины».

Восточный Дракон

Дракон имеет способность принимать множество обличей, но все они непостижимы. Обычно его воображают с головой, похожей на конскую; со змеиным хвостом; по бокам (если они есть) — крылья; у него четыре лапы, каждая из которых оснащена четырьмя кривыми когтями. Мы также читаем о девяти его сходствах: его рогов — с оленьими, его головы — с верблюжьей, его глаз — с демонскими, его шеи — со змеиной, его брюха — с моллюском, его чешуи — с рыбьей; его когтей — с орлиными, его следов — с тигриными и его ушей — с бычьими. Есть экземпляры Драконов, которые из-за отсутствия ушей слышат рогами. Традиционно их рисуют с жемчужиной свисающей с шеи; эта жемчужина — символ солнца. В ней заключена сила Дракона. Чудище становится беспомощным, стоит украсть его жемчужину.

История возводит древнейших императоров к Драконам. Их зубы, кости, слюна имеют целебные свойства. По своему желанию Драконы могут становиться видимыми или невидимыми. Весной они взлетают в небеса, осенью — низвергаются в пучину морей. У некоторых Драконов нет крыльев и они летают благодаря своей стремительной силе. Наука различает несколько видов Драконов. Небесный Дракон держит на спине дворцы богов, которые в ином случае упали бы на землю и уничтожили бы поселения людей; Божественный Дракон вызывает ветры и дожди на благо людям; Земной Дракон направляет течение ручьев и рек; Подземный Дракон хранит сокровища, запретные для людей. Буддисты утверждают, что число Драконов не меньше числа рыб, обитающих во множестве концентрических морей; где-то во вселенной существует священное число, называющее их точное количество. Китайцы верят в Драконов больше, нежели в других божеств, т. к. облака часто принимают форму Дракона. Нечто подобное можно найти у Шекспира: «Порой мы видим драконообразное облако».

Дракон правит горами, причастен к геомантии, обитает возле могил, имеет отношение к культуре Конфуция, он — Нептун морей, но появляется и на твердой земле.

Цари-Морские Драконы живут в великолепных подземных дворцах и питаются опалами и жемчугом. Таких царей пять: главный — в середине, а четверо остальных соответствуют сторонам света. Каждый простирается на три-четыре мили в длину, переменяя позу они низвергают горы. Они покрыты желтой чешуей, на мордах растут усы. У них лохматые лапы и хвосты, их лбы нависают над горящими глазами, у них маленькие толстые уши, их пасти открыты, их языки длинны, а зубы остры. От их дыхания вода вскипает, а целые косяки рыб изжариваются. Стоит Морским Драконам всплыть на поверхность, как возникают водовороты и тайфуны; когда они поднимаются в воздух, раскалываются крыши городских домов и на чинается наводнение. Цари-Драконы

бессмертны; они общаются между собой без слов, вне зависимости от того, какое расстояние их разделяет. Ежегодно, каждый третий месяц, они отчитываются перед высшими небесами.

Восьмиконечный Змей

Восьмиконечный Змей из Коши выделяется в японской мифической космогонии. Он был восьмиголов и восьмихвост, его глаза были красны, словно зимняя вишня, сосны и мхи росли на его спине, а на головах — ели. Когда он полз, то простирался на восемь долин и восемь холмов и брюхо его было покрыто кровью. За семь лет чудовище сожрало семь де вушек — королевских дочерей, а на восьмой год его жертвой должна была стать младшая дочь по имени Принцесса-Гребень-Рисовое Поле. Эту принцессу спас бог, который звался Храбрый-Быстрый-Пылкий-Муж. Этот рыцарь построил круговое убежище из дерева с восьмью воротами и восьмью платформами у каждых ворот. На каждой платформе он поставил по бадье с рисовым пивом. Восьмиконечный Змей подполз, опустил свои головы в бадьи, выпил пиво и вскоре уснул. Тогда Храбрый-Быстрый-Пылкий-Муж отрубил головы. Реки крови полились из шей. В одном из хвостов Змея был найден меч, тот самый, что поныне почитается в Великом Храме в Атсута. Эти события произошли на горе, некогда известной как Змеиная Гора; сейчас она называется Гора Восьми Облаков. Число «восемь» в Японии считается магическим и означает «много», также как «сорок» («Когда сорок ветров осадят твоё чело») — в елизаветинской Англии. До сих пор изображение на японских банкнотах напоминает об убийстве Змея.

Излишне указывать, что спаситель женился на спасенной, как и в эллинском мифе Персей женился на Андромеде.

В английском переводе японских космогонических и теогонических мифов («Священные писания японцев») Пост Вилер отмечает аналогичные легенды: греческий миф о Гидре, германский — о Фафнире, египетский — о богине Хатор, которой бог приготовил питье из кроваво-красного пива — и тем самым человечество было спасено от уничтожения.

Двойник

Отражения в зеркалах, в воде, существование близнецов — все это породило (или стимулировало) наличие общей для многих стран идеи Двойничества. Вероятно, такие высказывания, как «друг — другое я» Пифагора или платоновское «познай самого себя», были вдохновлены этой идеей. В Германии Двойника называют «Doppelgänger», что значит «парный ходок». В Шотландии существует «fetch», который приходит доставить (to fetch) человека к его смерти; есть также шотландское слово «wraith», означающее призрака, который, как считают, является человеку накануне его смерти. Увидеть что-либо подобное поэтому — зловещий знак. Этой теме посвящена трагическая баллада Роберта Льюиса Стивенсона «Тикандерога». Также есть странная картина Росsetти («Как они встретили самих себя»), на которой двое влюбленных случайно сталкиваются с самими собой в мрачной лесной чаще. Можно было бы привести еще примеры из Готорна («Маскарад Хоу»), Достоевского, Альфреда де Мюссе, Джеймса («Веселый уголок»), Клейста, Честертона («Зеркало сумасшедшего») и Хирна («Некоторые китайские духи»).

Древние египтяне верили, что Двойник («ка») — точная копия человека, имеющая ту же походку и ту же одежду. Не только люди, но и боги, и звери, и камни, и деревья, и ступля, и ножки имели свою «ка»; эту «ка» не видел никто, кроме избранных жрецов, которые могли

лицезреть Двойников богов и обладали даром знания вещей ушедших и вещей грядущих.

Для евреев явление чьего-либо Двойника не было знаком близкой смерти. Наоборот, это расценивалось как примета достижения пророческой силы. Так объясняет Гершом Шолем. Талмуд содержит легенду о человеке, который в поисках Бога встретил себя.

В рассказе По «Вильям Вильсон» Двойник — это совесть главного героя. Герой убивает двойника и умирает. Аналогично Дориан Грей в романе Уайльда вонзает нож в свой портрет и гибнет. В поэме Йейтса Двойник — это наша другая сторона, наша противоположность — тот, кто дополняет нас, тот, кого мы никогда не достигаем и не достигнем.

Плутарх сообщает, что греки называли царских послов — «другое я».

Катоблепас

Плиний (VIII, 21) свидетельствует, что где-то на границах Эфиопии, в верховьях Нила, можно встретить «дикого зверя по имени Катоблепас, который, хоть и мал телом, яд, а кроме того слаб, но голова его так огромна, что тело с трудом способно ее носить; голова его всегда опущена долу, ведь если бы он не делал этого, то уничтожил бы все человечество, т. к. нет никого, кто, взглянув ему в глаза, не умер бы тут же».

По-гречески «Катоблепас» значит «глядящий вниз». Французский натуралист Кювье предположил, что гну (чей вид отразился в фигурах Василиска и Горгоны) послужила прообразом Катоблепаса древних. В конце «Искушения Святого Антония» Флобер описал его и заставил произнести слова. «Черный бык с уткнувшейся в землю головой борова, соединенной с телом тонкой шеей, длинной и вялой, словно пустая кишка. Он лежит в грязи, и ноги его скрыты огромной гривой жестких волос, покрывающих его морду:

— Тучный, унылый, настороженный, я праздно валяюсь и чувствую брюхом теплую грязь. Моя голова так тяжела, что вес ее непосилен мне. Я осторожно кладу ее рядом с телом; полуоткрыв челюсти, я собираю языком ядовитые растения, поникшие от моего дыхания. Однажды я нечаянно пожрал свои передние ноги.

Никто, Антоний, не видел моих глаз; если же кто и видел, тот умер. Стоит мне поднять веки — мои набрякшие розовые веки — ты умрешь на месте».

Кентавр

Кентавр — наиболее гармоничное создание фантастической зоологии. В «Метаморфозах» Овидия он назван «двуприродным», но его гетерогенную сущность легко проглядеть, и мы склонны предположить существование архетипа Кентавра в платоновском мире идей — так же, как там существует архетип лошади или человека. Открытие этого архетипа заняло столетия: ранние архаические монументы изображают обнаженного мужчину, к талии которого весьма неестественно приделана задняя часть лошадиного туловища. На западном фасаде храма Зевса в Олимпии Кентавры уже полностью стоят на лошадиных ногах, и у основания шеи животного мы обнаруживаем начало человеческого торса.

Кентавры были плодом союза Иксиона, царя Фессалии, с облаком, которому Зевс придал форму Геры (или Юноны); по другой версии, они — отпрыски Кентавруса, сына Аполлона, и Стилбии; третья версия возводит их происхождение к союзу Кентавруса с кобылами Магнезисуса. (Говорят, что «Кентавр» происходит от «Гандхарва»; в ведах Гандхарвы — младшие боги, которые правят солнечными конями.) Т. к. искусство верховой езды было неизвестно в гомеровской Греции, то

предполагают, что, наткнувшись впервые на скифских всадников, греки приняли их за одно существо вместе с лошадьё; утверждают также, что индейцы увидели Кентавров во всадниках — конкистадорах. Вот о чем повествует отрывок из Прескотта: «Один из всадников упал с лошади и индейцы, видя распавшееся порознь животное и до того момента полагая его единым существом, были настолько охвачены ужасом, что бросились бежать, в изумлении крича своим товарищам, что одно превратилось в двух и что Бог обрушил на них свою еще неизвестную кару; если бы этого не случилось, то они перебили бы всех христиан».

Но греки, в отличие от индейцев, хорошо знали лошадей; более вероятно, что Кентавр — скорее обдуманное изобретение, нежели путаница, порожденная неведением.

Наиболее известная из историй о Кентаврах — их битва с Лапифами, последовавшая за ссорой на свадебном пире. До того момента Кентаврам было неизвестно действие вина; в разгар застолья опьяненный Кентавр оскорбил невесту и, перевернув тарелки, начал знаменитую Кентавромахию, которую Фидий (или его ученик) высечет на Парфеноне, которую Овидий помянет в XII книге «Метаморфоз» и которая вдохновит Рубенса. Победенные Лапифами, Кентавры были вынуждены покинуть Фессалию. В следующем столкновении с Кентаврами Геркулес истребил своими стрелами весь их род.

Кентавр символизирует злость и простое варварство, но Хирон, «самый добродетельный из Кентавров» (Илиада, XI, 832), был воспитателем Ахилла и Эскулапа и преподавал им искусство музыки, охоты, войны, равно как и искусство врачевания и хирургии. Хирон появляется в XII песне «Ада», известной как «Песнь кентавров». Интересующиеся могут обратиться к проницательным замечаниям Момильяно в его издании «Комедии» 1945 г.

Плиний (VII, 3) утверждает, что в правление Клавдия видел Гиппокентавра, набальзамированного, сохраненного в меду и в таком виде доставленного в Рим.

В «Пире семи мудрецов» Плутарх не без юмора повествует, что некий пастух Периадра, тирана Коринфа, принес в кожаной сумке своему хозяину новорожденное существо, произведенное на свет кобылой; существо имело лицо, шею, руки человека и тело коня. Оно плакало, как младенец, и все воспринимали его появление как дурное предзнаменование. Мудрец Фалес осмотрел существо и, посмеиваясь, заявил Периадру, что вряд ли одобряет склонности его пастухов.

Луcretий в V книге поэмы «О природе вещей» объявил существование Кентавров невозможным, ибо лошадиный род достигает зрелости раньше человеческого и в возрасте трех лет Кентавр был бы уже взрослым (будучи лошадьё) и еще дитем (будучи человеком). Так что лошадь умерла бы на пятьдесят лет раньше человека.

Китайский Дракон

Китайская космогония учит, что Десять Тысяч Существ или Архетипов (мир) родились в результате ритмического соединения двух дополняющих друг друга вечных начал — Инь и Ян. Инь соответствуют — сгущение, тьма, пассивность, четные числа, холод. Ян — возрастание, свет, активность, нечетные числа, жар. Символами Инь являются женщина, земля, оранжевый цвет, равнины, русла рек и тигр; Ян — мужчина, небо, голубой цвет, горы, столбы и дракон.

Китайский Дракон («лунь») — одно из четырех волшебных животных (прочие — единорог, феникс, черепаха). Западный Дракон, в лучшем случае, наводит ужас, в худшем — это комическая фигура.

Однако в китайских мифах «лунь» имеет божественную природу и так же похож на ангела, как на льва. В «Исторических записках» Сыма Цяня мы читаем, что однажды Конфуций зашел посоветоваться к архивариусу или библиотекарю по имени Лао-цзы и после этого посещения сказал следующее: «Птицы летают, рыбы плавают, животные бегают. Бегущее существо можно поймать капканом, плавающее — сетью, летящее — стрелой. Но есть Дракон; я не знаю, как он передвигается по воздуху или как он достигает небес. Сегодня я встретил Лао-цзы и могу сказать, что видел Дракона».

Именно Дракон или Лошадиный Дракон появился из Желтой Реки для того, чтобы открыть императору круговую схему, символизирующую взаимную игру Ян и Инь. Некий правитель имел в своих конюшнях верхового Дракона и упряжного Дракона; один император питался Драконами — и держава его процветала. Знаменитый поэт, иллюстрируя опасности величия, писал: «Единорог может кончить вырезкой, дракон — мясным пирогом».

В «И Цзин» (или «Книге Перемен») Дракон означает мудрость. Веками он был имперской эмблемой. Трон императора назывался Троном Дракона, его лицо — Лицом Дракона. Объявляя о смерти императора, говорили, что он был унесен на небо на спине Дракона.

Народные верования связывали Дракона с облаками, с дождями, необходимыми крестьянам, с великими реками. «Земля соединяется с Драконом» — вот обычная формула дождя. Примерно в VI в. Чан Сен-ю, расписывая стену, нарисовал четырех Драконов. Наблюдатели заметили ему, что он забыл изобразить глаза. Раздосадованный Чан схватил кисти и закончил две извивающиеся фигуры. Затем «воздух наполнился громом и молниями, стена треснула, и Драконы вознеслись к небу. Но остальные, безглазые, Драконы остались на месте».

Китайский Дракон имеет рога, когтистые лапы, его туловище покрывает чешуя, его спинной хребет ошетинился шипами. Дракона обычно изображали с жемчужиной, которую он глотает или выплевывает. Вся его сила заключена в ней; Дракона можно приручить, если похитить эту жемчужину. Чжуан Цзы рассказывает о непреклонном человеке, который после трех бесплодных лет избрел-таки способ убивать Драконов, но до конца его дней так и не представилось ему ни единого случая продемонстрировать свое искусство.

Китайская Лисица

Обычная зоология почти не выделяет Китайскую Лисицу среди прочих лисиц; но в фантастической зоологии дело обстоит иначе. Статистика утверждает, что продолжительность жизни Китайской Лисицы колеблется между восьмистами годами и тысячью лет. Считается, что это животное имеет злое начало и каждая часть его организма наделена силой особого рода. Достаточно Китайской Лисице ударить своим хвостом о землю, как вспыхивает огонь; она может заглядывать в будущее; наконец, она умеет оборачиваться кем угодно, чаще всего — стариком, молодой женщиной, ученым. Она хитра, подозрительна и скептична; доставляет неприятности и причиняет боль — вот что нравится ей. После смерти люди могут переселиться в тело Лисицы. Обитают Китайские Лисицы вблизи могил. Тысячи историй и легенд содержат упоминания о них; приведем здесь один из таких рассказов — он принадлежит перу поэта IX в. Ню Чиао и не лишен юмора:

«Ван увидел двух лисиц, которые, опираясь о дерево, стояли на задних лапах. Одна из них держала в лапе листок бумаги; Лисицы дружно хохотали, словно над какой-то шуткой. Ван попытался вспугнуть

их, но они не тронулись с места. Тогда он выпустил стрелу в ту, что держала листок. Лисица была поражена в глаз и Ван забрал бумагу. На постоялом дворе Ван рассказал этот случай. Пока он говорил, в помещение зашел человек с повязкой на глазу. Он с интересом выслушал историю Вана и попросил показать листок. Ван уже было отдал его, но хозяин постоялого двора вдруг заметил у вошедшего хвост. «Это Лис!» — закричал хозяин, и новый гость в тот же миг обернулся Лисом и исчез. Лисицы раз за разом пытались вернуть себе листок, испещренный неведомыми письменами, но безуспешно. Наконец Ван решил вернуться домой. Возвращаясь, он встретил собственную семью в полном составе, направляющуюся в столицу. Родные утверждали, что это он приказал им отправиться в путь, в доказательство чего мать сослалась на его же письмо, в котором Ван будто бы просил их распродать все имущество и встречать его в городе. Взглянув на письмо Ван увидел совершенно чистый листок бумаги. И хотя у них уже не было родного крова, он сказал: «Давайте вернемся».

Однажды объявился младший брат, которого считали давно умершим. Он расспрашивал о несчастье, постигшем семью, и Ван рассказал ему эту историю. «Ага, — сказал брат, когда Ван добрался до происхождения с Лисицами, — вот где корень зла». Ван показал брату листок. Брат, вырвав его из руки Вана, сунул листок в карман и со словами «Наконец я вернул себе, что хотел» превратился в Лиса — и был таков».

Китайский Феникс

Священные книги китайцев могут разочаровать нас, привыкших к пафосу Библии. Но порой, неожиданно для этих обычно сдержанных текстов, нас трогает какая-то личная интонация. Приведем для примера отрывок из VII книги конфуцианского «Лунъюя»: «Учитель сказал: — Как плохи стали мои дела! Действительно, сколько времени прошло с тех пор, как мечтал увидеть правителя Чу». А вот цитата из IX книги: «Учитель сказал: — Не появляется Феникс; река впредь не даст указания. Все это из-за меня!» (переведено с английского перевода Уэли).

Под «указанием» или «знаком» (объясняют комментаторы) имеется в виду надпись на панцире волшебной черепахи. Что же до Феникса, то это птица, окрашенная в сверкающие цвета, не слишком отличающаяся от фазана и павлина. В доисторические времена она посещала дворцы и сады добродетельных императоров, как видимый знак божественного расположения. Самец (Фен) имел три лапы и жил на солнце. Самку называли Гуан; вместе они составляли эмблему вечной любви.

В первом веке нашей эры дерзкий скептик Ван Чун отрицал, что Феникс представляет собой определенный вид. Он заявил, что точно так же, как змея превращается в рыбу, крыса — в черепаху, а олень в эпоху всеобщего благоденствия принимает вид единорога, — гусь оборачивается Фениксом. Он объяснял, что эти превращения могут совершаться с помощью «известной жидкости», которую около 2356 г. до н. э. произвели из алой травы, выросшей во дворе покоев Яо — одного из тех самых идеальных императоров. Как мы видим, информация Ван Чуна неполна или, быть может, чрезмерна.

В областях Ада находится воображаемое строение, известное как Башня Феникса.

Крокотта и Лекрокотта

Ктезий, врач Артаксеркса Мнемона (IV в. до н. э.), использовал персидские источники для составления описания Индии — труда, который имеет неоценимую важность для любого, интересующегося тем,

как персы в царствование Артаксеркса Мнемона представляли себе Индию. В главе 32 Ктезий говорит о «киноликусе», или псе-волке, который, вероятно, послужил для Плиния прообразом Крокотты. Плиний пишет (VIII, 21), что «Крокотта — это нечто среднее между собакой и волком; она способна сокрушить клыками все, что ни подвернется; и стоит чему-либо попасть ей в глотку и далее в брюхо, оно мгновенно переваривается». Затем он описывает другое индийское животное, Лекрокотту, следующим образом: «...самый быстрый зверь, величиной с осла, имеющей львиную грудь, увенчанную головой — то ли собачьей, то ли барсучьей; с раздвоенными копытами; пасть его достигает ушей, вместо ряда зубов в ней — цельная кость. Они утверждают, что этот зверь умеет подражать человеческому голосу».

Позже специалисты предположили, что Лекрокотта Плиния — не что иное как неуклюжий синтез индийской антилопы и гиены. Всех названных животных Плиний поместил в эфиопский ландшафт; там же оказался и дикий бык — с чрезвычайно удобными подвижными рогами, с твердой, как кремь, шкурой, с шерстью, растущей внутри.

Пожиратель Мертвецов

Есть странный литературный жанр, в разное время спонтанно возникший в разных странах. Это путеводитель по Тому Свету. «Небеса и ад» Сведенборга, писания гностиков, тибетская «Бардо Тодол» (которую Эванс-Венц перевел как «Освобождение путем восприятия по смертной грани») и египетская «Книга мертвых» не исчерпывают возможных примеров. Сходство и различие последних двух книг привлекает внимание эзотерических учений; для нас же будет достаточно напомнить, что в тибетском путеводителе Тот Свет есть отражение Этого Света, а у египтян он имеет свое особое реальное существование.

В обоих текстах присутствует сцена Суда; судьи — боги, некоторые из них имеют обезьяньи головы; и тут и там символически взвешивают дурные и хорошие дела. В «Книге мертвых» на одну чашу весов кладут сердце и перо, на другую — все прочее: «Сердце символизирует поступки или совесть умершего, а перо — справедливость или истину». В «Бардо Тодол» на разных чашах находятся белые и черные камешки. У тибетцев есть демоны или бесы, которые ведут осужденного к месту очищения в аду; египтяне указывают на неумолимое чудовище, сопровождающее грешников, Пожирателя Мертвецов.

Умерший клянется, что не причинял голода и горя, не убивал и не заставлял других убивать, не крал погребальной пищи, не подделывал мер, не отбирал молока у младенца, не воровал с пастбищ домашний скот, не расставлял силки на птиц богов.

Если он обманет, 42 судьи доставят его к Пожирателю, «у которого голова крокодила, туловища льва и задняя часть гипшопотама». Пожирателю assiste другое чудовище, Бабай, о котором известно лишь то, что он ужасен; Плутарх идентифицировал его с титаном, породившем Химеру.

Слон, предсказавший рождение Будды

За пять столетий до христианской эры царице Майе, в Непале, приснился сон о том, что белый Слон, сошедший с Золотой Горы, проник в ее тело. Этот приснившийся Слон был оснащен шестью бивнями. Царские предсказатели утверждали, что царица родит сына, который станет либо правителем мира, либо спасителем человечества. По общему убеждению, последнее оказалось верным.

В Индии слон — домашнее животное. Белый цвет символизирует смирение; число шесть — священо, оно указывает на шесть измерений пространства: верх, низ, перед, зад, лево, право.

Химера

Первое упоминание Химеры содержится в VI песне «Илиады». Гомер пишет, что она имела божественное происхождение и являла собой в передней части льва, в средней — козла, в задней — змею; красавец Беллерофонт, сын Главка, следуя знамению богов, убил ее. Образ Химеры — львиная голова, козлиное туловище и змеиный хвост — был вполне ясно продемонстрирован Гомером, но в «Теогонии» Гесиода Химера описана как трехглавое существо и такой же она запечатлена в знаменитой бронзовой статуе из Ареццо, датируемой пятым веком. Из туловища животного берет начало козлиная голова, с одной стороны от которой — змеиная голова, с другой — львиная.

Вновь Химера появляется в VI книге «Энеиды» — «вооруженная пламенем»; комментатор Виргилия Сервий Гонорат замечает, что, исходя из авторитетных источников, родиной чудовища можно назвать Ликию — именно там был вулкан, носящий его имя. Подошва этой горы кишела змеями, на более высоких склонах росли травы и паслись козы, возле изрыгающей огонь вершины нашла прибежище гордость львов. Подразумевалось, что Химера есть метафора этой странной возвышенности. Ранее Плутарх предположил, что Химера — имя пиратского капитана, украсившего свои корабли изображениями льва, козла и змеи.

Эти абсурдные гипотезы доказывают, что Химера начала надоедать людям. Истолковать ее образ оказалось проще, чем вообразить ее. Как зверь Химера оказалась слишком разнородной: лев, козел и змея (в некоторых текстах — дракон) с трудом могут составить одно животное. Со временем Химера делается все более «химеричной», яркий пример тому — знаменитая шутка Рабле («Может ли Химера, вися в пустоте, иметь иные намерения?»). Лоскутный образ исчез, но осталось слово, обозначающее невозможность. Тщетная или дурацкая фантазия — вот определение Химеры, которое сегодня можно найти в словаре.

Хронос, или Геркулес

В трактате неоплатоника Дамаскуса (род. ок. 480 г. н. э.) «Трудности и объяснения первооснов» изложена странная версия теогонии и космогонии орфизма, исходя из которой Хронос, или Геркулес, — это чудовище: «Согласно Иерониму и Гелланику (если они суть не один человек) орфическая доктрина учит, что в начале всего была вода и грязь, из которой была создана земля. Учение это называло две исходные первоосновы — воду и землю. Они порождали третью — крылатого дракона; передняя часть туловища его была увенчана бычьей головой, задняя — львиной, над средней частью возвышалось лицо бога; звали того дракона Нестареющий Хронос, а также — Геракл. От него родилась Невизбежность, известная также как Неминуемость, и простерлась до границ Вселенной... У Хроноса, того самого дракона, было тройное потомство: влажный Эфир, безграничный Хаос и туманный Эреб. Окруженный ими, он лежал на яйце, из которого должен был родиться мир. Последней первоосновой был бог, который был и мужчиной и женщиной, с золотыми крыльями сзади, с бычьими головами по бокам, а в верхней части его располагался огромный дракон, похожий на всех зверей сразу...»

Возможно, из-за того, что столь чрезмерная монструозность напоминает скорее Восток, нежели Грецию, Вальтер Кранц приписал этим фантазиям восточное происхождение. зияя восточное происхождение.

Цербер

Если Ад — это дом, дом Гадеса, вполне естественно, что его охраняет пес; еще более естественно, что этот пес ужасен. «Теогония» Гесиода наделила его пятьюдесятью головами; для облегчения жизни художников и скульпторов это число было сокращено, и стало общим местом, что Цербер имеет три головы. Вергилий говорит о трех его глотках, Овидий — о его утроенном лае, Батлер сравнивает тройную тиару Папы — привратника Рая — с тремя головами пса — привратника Ада («Гудибрас», IV, 2). Данте придал ему человеческие черты, усилившие его inferнальную природу: грязная черная борода, когтистые руки, рвущие под беспощадным ливнем души осужденных. Он лает, скалит зубы и кусает.

Перенести Цербера на дневной свет было последним из заданий, данных Геркулесу («Он вытащил наружу Цербера, адова пса», — пишет Чосер в «Истории монаха»). Захарий Грей, английский писатель XVIII в., в своем комментарии к «Гудибрасу» так интерпретировал это приключение: «Сей пес с тремя головами означает прошлое, настоящее и время, которое грядет; он принимает и пожирает все. Геркулес одерживает верх над ним, и это означает, что героические поступки всегда побеждают время, ибо хранятся в памяти потомков».

В наиболее древних текстах Цербер приветливо машет хвостом (который есть ни что иное как змея) тем, кто вступает в Ад, и разрывает на куски тех, кто пытается оттуда выбраться. Позднейшая легенда изображает его взнуздывающим новоприбывших; чтобы задобрить его, в гроб клали медовую лепешку.

В норвежской мифологии брызжущий кровью пес Гарм охраняет жилище мертвых и должен будет сразиться с богами, когда адские волки сожрут луну и солнце. Иногда этого пса наделяют четырьмя глазами; собаки брахманского бога смерти Ями также имеют четыре глаза.

И в брахманизме и в буддизме предполагается, что Ад полон собак, которые, как и Дантов Цербер, истязают души.

Чеширский Кот и Килкеннийские Коты

Любому известно выражение «улыбаться, как Чеширский Кот», означающее нечто вроде сардонической усмешки. Есть несколько объяснений происхождения этой фразы. Одно из них заключается в том факте, что в Чешире варились сыры в форме улыбающейся кошачьей головы. Из другого объяснения явствует, что даже местные кошки подсмеивались над высоким статусом своего герцогства: Чешир был палатинатом. По третьей версии, во времена Ричарда III в Чешире был лесник по имени Катерлинг, на чьем лице, стоило ему скрестить мечи с браконьером, появлялась злобная усмешка.

Льюис Кэрролл в изданной в 1865 г. «Алисе в Стране Чудес» наделил Чеширского Кота способностью постепенно таять в воздухе вплоть до того момента, когда остается лишь одна его улыбка — уже без пасти и зубов. О Килкеннийских Котах говорят, что они яростно сражаются и пожирают друг друга, причем от них не остается ничего, кроме хвостов. Эта история восходит к XVIII в.

Экспериментальное описание того, что миссис Джейн Лид узнала, увидела и повстречала в Лондоне в 1694 г.

Книгу «Чудеса Божьего Творения, явленные в многообразии Восьми миров, в том виде, в коем они опытным путем стали известны Автору» (Лондон, 1695) можно обнаружить среди сочинений слепого английского мистика Джейн Лид. Так как слава миссис Лид распространилась в это время на Нидерланды и Германию, энергичный молодой ученый

Х. ван Амейден ван Дюйм перевел этот труд на голландский. Однако позже, когда ее ревностные ученики оспорили аутентичность некоторых манускриптов, появилась необходимость в обратном переводе вандюймовской версии на английский. На 340 стр. (10В) «Восьми миров» мы читаем: «Саламандры имеют назначенное им Обиталище в Огне, Сильфиды — в Воздухе, Нимфы — в текущей Воде, Гномы — в норах земли; но существо, чья субстанция — Блаженство, — дома везде. Все звуки, даже рык Львов, визг ночных Сов, причитания и стоны узников Ада, есть сладчайшая Музыка для него. Все запахи, даже смердящая вонь Гниения, для него, что аромат Лилий и Роз. Все вкусы, даже пиршественных блюд языческих Гарпий, для него — что сладость Сахара и вкус пряного Эля. Скитаясь в земных Пустынях, оно чувствует себя блаженствующим под Ангельским Сводом. Ревностный искатель найдет его повсюду, даже во мраке и грязи; в этом мире, или в семи остальных. Пронзи его острым Мечом и ключ Божественного и Чистого наслаждения забьет в нем. Эти глаза, следуя Толкованию, даны, дабы видеть Его пути; и равный дар, как открывает нам Мудрость, есть порой дарованное Дитя».

Элои и Морлоки

Герой романа «Машина времени», выпущенного молодым писателем Гербертом Джорджем Уэллсом в 1895 г., путешествует в непостижимое будущее на механическом аппарате. Там он обнаруживает, что человечество разделилось на две расы: Элои — хрупких и беззащитных аристократов, живущих в садах неги и питающихся плодами с деревьев, и Морлоков — подземных пролетариев, которые после веков труда во тьме, ослепли, но по инерции продолжают работать на своих ржавых сложных машинах, не производящих ничего. Шахты с извилистыми лестницами соединяют эти два мира. В одну безлунную ночь Морлоки покинули свои пещеры и стали поедать Элои.

Безымянный герой, преследуемый Морлоками, возвращается в настоящее. Как единственное доказательство своих приключений он берет с собой неизвестный цветок, который, однако, рассыпается в прах и не зацветет на земле до тех пор, пока не пройдут тысячи и тысячи лет.

Эльфы

Эльфы — северного происхождения. Мы знаем весьма немного о том, как они выглядят; достоверно известно лишь, что они маленькие и злые. Они крадут скот, детей и вообще любят мелкие пакости. В английском языке слово «elflock» означает «колтун», т. е. предполагается, что именно эльфы путают волосы. Англо-саксонское ведовство, относящееся, как известно, к языческим временам, наделяет их озорной способностью выпускать с большого расстояния миниатюрные железные стрелы, которые бесследно проходят сквозь кожу и вызывают внезапную острую боль. «Младшая Эдда» проводит различие между Светлыми и Темными Эльфами: «Светлые Эльфы светлее солнечного луча, Темные Эльфы — чернее дегтя». Кошмар по-немецки — «Alp»; этимология возводит это слово к корню «elf», тем более, что в Средние века верили: эльфы дают на грудь спящих, вызывая у них дурные сны.

*Перевод Д. К. Хотова
Публикация и вступительная заметка Кирилла Кобрин*

Александр Шаталов

(ГРЕЦИЯ)

За городом видно полосу моря.
Я не скучаю, а просто молчу.
Оливы редкие вдоль побережья
стоят, как юноши, надеющиеся
кого-нибудь встретить в этом захолустье.
Небо заполнено облаками. Скоро гроза.
Трава пересохла, но, солнцем прокаленная,
еще испускает в воздух все запахи позднего лета
и давно отцветших цветов.
Провинция: разбросанные по морю
пустые острова, шелуха от семечек,
лодки, качающиеся возле берега,
прибитые к нему волнами
вместе с другим мусором,
пакетами от сока и пластмассовыми
бутылками из под коки.
Душно. Тяжелое марево
слабо давливает грудь.
Волосы на ногах кажутся рыжими,
а пах кучерявый весь светится на солнце,
тело погружается в воду,
не чувствуя возраста. Руки лениво теребят член,
который слабо колеблется течением,
набегающей волной, взвесью мелких песчинок.
Откуда-то издали слышатся голоса —
Микены или Пелопонес, или деревня
без всякого названия, украшенная обломками
чужой и забытой цивилизации. Вот только юноши...

16 мая 1996

ЦВЕТЫ В ВОДЕ

Люблю купаться в речке; сквозь воду
тело свое видишь, золотые зайчики от воды
по нему бегают, а как окунешься, да глаза
там откроешь, так все зелено, зелено, и
видишь, как рыбки пробегают. И неправда,
будто тело — грех, цветы, красота — грех.

М. Кузмин, «Крылья»

Я не умею плавать.

Н. Сапунов, последние слова

1

Эпоха водолея, минеральные воды, водные процедуры.
В пахнущей сыростью реке искажаются контуры тела.
Ломкость конечностей и вдруг проявившаяся стройность фигуры,
радуга брызг возле рук, словно бабочка возле глаз пролетела.
Или со дна поднимающиеся вверх растения,
к свету опять, к стремительному сильному мужскому телу.
Зелени заводь похожа на место растреления,
зябкого, юного, нет совершенству предела.
Вижу ломаются контуры и очертания, приходится
малым довольствоваться, словно жгута ударами
по мускулистым плечам. Губы пощипывает, производится
движение рывком, так что горло захлебывается старыми
позывами рвотной массы, инстинктом самосохранения,
но утром вода ледяная обожжет меня вновь,
и тела мужского тяжелого ночью движения
ритмичны, как в сердце ритмично взрывается кровь.

16 мая 1996

2

Утонуть в воде весенней, чувствовать как сводит ноги,
как влечет реки течение быстро вниз к водовороту.
Ветер осыпает воду лепестками. На пороге
смерти чувствовать не ужас, а расслабленность и рвоту
от воды солоноватой или жар, озноб внезапный,
вмиг отдаться водным струям, обжигающе холодным,
рук не чувствовать, а только металлический и затхлый
привкус бузины цветущей мимо по условиям погодным
раньше времени и все же ожидая чтоб прибило
к берегу промозглым утром — этот ком осклизкий плоти,
месиво в котором страшно узнавать что так любимо,
руки слабые, глаза вытекшие, в повороте
шеи мертвенный укор, ногти сломанные, нитки
наприлипшие, во рту — плавающие улитки...

10 мая 1996

И это проходит, цедающий сквозь дым
рассвет, распускаясь китайскою розой
в сосуде, и я не хочу молодым
с сомнительным возрастом, словно с занозой
пилить, чтобы пальцы дрожали и кровь
к лицу подступала, и зажав мою руку,
ты мне поддаешься, как будто любовь,
а боль только способ приблизить разлуку.
Я слов разобрать не пытаюсь совсем,
все выблевав, вычеркнув, вымести разом,
как будто ты умер, оставив во всем
свой умысел и изворотливый разум.
Достаточно, я не могу повторять,
в китайском квартале с мальчишкой возиться,
растерянный взгляд твой не видеть, терять
все то, к чему больше нельзя возвратиться.

1996

Игорь Померанцев

ЮГОСЛАВЯНСКАЯ РАПСОДИЯ

В 1819 году в Петербурге побывал одноногий сербский филолог Караджич. Его встречали с помпой. Приезду предшествовала переписка с Н. М. Карамзиным, А. Х. Востоковым, Н. И. Надеждиным. В Югославии Караджич известен прежде всего тем, что по его инициативе сербы и хорваты договорились о едином языке и едином правописании. В России Караджича знают пушкинисты. В «Песнях западных славян» есть не только перепевы искусных подделок Мериме, но и два стихотворения из книги сербских песен, собранных Караджичем. Вот эта, например:

Соловей мой, соловейко,
Птица малая, лесная!..

Мериме, надо сказать, в «Видении короля» оказался «сербее» сербского фольклора:

Тут он видит чудное виденье:
На помосте валяются трупы,
Между ними хлещет кровь ручьями,
Как потоки осени дождливой,
Он идет, шагая через трупы,
Кровь по щиколку ему достягает...

Должно быть, у каждой страны свой запах: Бавария пахнет сосисками, Украина — хлебом, Румыния — брынзой, а то, что называлось Югославией, — кровью, когда засохшей, когда свежей.

В августе 1992 года я был аккредитован в качестве корреспондента «Свободы» на международной конференции по Югославии в Лондоне. «Обратите внимание на ногти Караджича, они обгрызены до крови», — предупредила меня по телефону загребская писательница Дубравка Угрешич. Я обратил (Караджич был от меня не дальше, чем Франц Фердинанд от Гаврилы Принципа). Действительно, Караджичевы ногти были обгрызены до крови в прямом смысле.

Сербы на конференции вели себя обаятельно, по-домашнему. Когда их лидер Милошевич попытался выступить, премьер Панич оборвал его. Милошевич добродушно пробурчал: «Вот дурачок...» Все же потом Милошевич искренно высказал свое кредо: «Убежден, что на исходе двадцатого столетия национализму места нет». Караджич нашел в Лондоне время заглянуть в сербскую церковь и помолиться за мир. В разговоре с журналистами тряхнул стариной (по профессии он врач-психиатр): «Агрессия — это сублимация зла. Если бы боснийский народ пришел ко мне на прием, я бы поставил ему такой диагноз: взрыв подсознания. Надо лечить». Вспомнил он и свое пророческое стихотворение «Сараево», написанное в семидесятые годы (по призванию Караджич поэт): «Я слышу, как крадется беда. Город горит подобно свече,

и в клубах дыма летит наша душа, летит в ничто». Я подумал, как все-таки повезло тремстам пациентам сумасшедшего дома под Сараево, что Караджич не работает там врачом. На обстрелы и бомбардировки они отвечают приступами коллективного буйства, но зато межэтническую гармонию в больнице не омрачает ничто и никто. Одним из самых комических эпизодов на конференции было выступление представителя Китая: он отчитывал Сербию за вопиющее нарушение прав человека. Я же часто вспоминал бесчисленные югославские фильмы о войне и партизанах: только в СССР и Польше было не меньше картин на военную тему. Эти фильмы моего детства и не детства — «Бессмертная молодость», «Козара». «Пятое наступление», «Партизаны», «Битва на Неретве» — создавались не только на сербской студии «Авала», но и на хорватских «Загреб-фильм» и «Ядран». Хорватский писатель Мирослав Крлежа как-то взмолился: «Боже, упаси нас от хорватской культуры и сербского героизма!» Бог не расслышал Крлежу.

В 1986 году я пришел в югославское посольство в Лондоне за въездной визой. Чиновник взглянул на мой политэмигрантский синий паспорт с двумя черными полосками и позвал начальника. Тот пригласил меня в кабинет. Он говорил со мной как диссидент с диссидентом, конечно, он меня понимал, он сам презирал диктатуру. Потом спросил, зачем я еду в Югославию. Я ответил, что хочу написать прозу на карпатскую тему, но дорога в украинские, румынские, чешские, польские и венгерские Карпаты мне заказана. Остается только сербский хвостик гор. «Никаких проблем», — улыбнулся дипломат и самолично шлепнул визу в мой паспорт. Прозы в Югославии я тогда не написал, но один набросок от этой поездки остался.

РОДИНА: КРАИНА

Ни по кому, ни по чему. Волк волком. Услышишь грожь в голосе Бунина, Ремизова, когда о родине, и неловко. Что родины у вас разные, не утешает. Раз чувствуешь язык, как они, то хочется и прочее. Ну разве что отрезок дороги. Самолетом в Салоники. Оттуда утренним поездом через Скопье в Ниш. Из этого славянского уюта, уточненного австро-венгерской законностью, можно отправиться автобусом в горы. Через Княжевац, Заечар к Неготину, Прахово-Пристанищу. Это самый хвостик Карпат. Он выбивается в Сербию из-за румынского кордона. До Княжеваца пассажиры в автобусе сплошь городские. После полезут торбы, за ними лица, вылепленные из глины и мочи, зубы из ракушечника и известняка. По обочинам замелькают бессарабы в образе цыган. Чем выше, тем зябче. Пот примерзает, как стеарин. Колени стынут. Торба гаркнет: посушься! Жмешься к стенке. Горы на самом деле ближе к космосу: плечо и бедро леденеют. Приметы уловимы. На остановках тоже. В огромных витринах всего дюжина пар обуви. Расставлены вразброс, чтобы замаскировать скудость. Оттого витрины — огромны. На каждом третьем углу — «Ткани», втором — фотоателье, первом — парикмахерская. Да еще мастерские часовщиков: сама интимность. Дома здесь крепки низом. Жизнь вровень с глазами прохожего — в нее можно заглянуть. Если снимки из праховского ателье поменять местами со снимками из раховского, по восточную сторону румынской границы, то клиенты — солдаты, невесты, выпускники — не заметят подлога. От фотоателье, пошивочных, парикмахерских попахивает похоронами.

Что-что, а похороны здесь ценят и любят. Старые могилы в Неготинской Крдине — маскарад каменных крестов. У этой игры невеселая завязка. При виде креста рука турка тянулась к ятагану. На крайней могиле крест иероглифичен. Так на контурной карте Дунай — это Дунай, если ты зряч. Жесткие условия турецкой игры вызвали к жизни целое искусство. Крест рядится в языческие идолища, римскую колонну, мавританский орнамент, барочный пряник. Вместо аскетичного знака солидарности с усопшим надгробье-ребус, надгробье-узор. Крайние кресты весело гурачат турок, турки весело обманываются, крайние весело хоронят. В общем, это все. Выходить из автобуса незачем. Не к городу, не к селу, не к местечку, а к отрезку дороги, к стопке горячего бензина где-то между Черновцами, Вижицей, Виженкой и Путилой что-то испытываешь и крепнешься, чтобы не стошнило.

Сейчас в этом наброске меня смущает слово «весело». Может, напрасно смущает? Дубравка Угрешич рассказывала мне, как она выступала осенью 1993 года перед соотечественницами в Мюнхене. Она прочла печальное эссе, соотечественницы в голос поплакали, после врубили музыку, встали в круг и пустились в пляс. Когда она уходила, с ней задорно прощались подбородками: руки были заняты.

В 1992 году Дубравка Угрешич опубликовала в немецком еженедельнике «Ди Цайт» два очерка об угрозе диктатуры в Хорватии. За это ее объявили на родине «врагом народа» и «югосуккой». Осенью 1993 года в Мюнхене я взял у нее интервью для радио «Свобода».

ВОПРОС: Как вы узнали о том, что вы «враг народа»?

ОТВЕТ: В один прекрасный день вы просыпаетесь, утром покупаете газеты и читаете о себе то, чего прежде не знали. Тут же номер твоего домашнего телефона, адрес и грязные сексуальные намеки.

ВОПРОС: Вам звонили читатели?

ОТВЕТ: Конечно. В одиночестве не оставили. Плюс переписка, хотя и односторонняя.

ВОПРОС: А вы чувствуете себя врагом народа?

ОТВЕТ: Это новая роль, я ее не выбирала. Знаете, надо спросить, что это за народ. Сегодня модно говорить во имя народа. Все так делают: и убийцы, и политики, даже Караджич говорит во имя народа, убивая другой народ. Нет, думаю, народ, каков он сейчас, заслуживает врагов.

ВОПРОС: Вы были сторонницей отделения Хорватии?

ОТВЕТ: Просто не ответить. Процесс развода республик был настолько мучителен, жесток, я даже не могу сказать, что я тогда гумала. Все так устали, все хотели, чтобы был мир, а случилось наоборот.

ВОПРОС: Вас считают врагом хорватского народа. Значит ли это, что вы — союзник сербов?

ОТВЕТ: Мой любимый период — это русский авангард. Я кажусь себе цитатой: цитатой тоталитаризма, фашизма. Все нереально и несерьезно. Но с другой стороны, это всерьез, это говорит о жестокости времени.

ВОПРОС: Получается, что вы из исследователя обэриутов перевоплотились в их персонаж?

ОТВЕТ: Порой я чувствую себя персонажем одного прекрасного романа, написанного в 1937 году Мирославом Крлежа. Роман называется «На грани рассудка». Герой этой книги за ужином, не выдержав разговора об убийстве, произносит три слова: это кроваво, это страш-

но, это безвкусно. Из-за этого меняется вся его жизнь, его покидают друзья, бросает жена, он оказывается на улице. Я тоже что-то сказала.

ВОПРОС: Дубравка, вы рисуете довольно мрачную картину. Но до недавних пор вы жили в Загребе, свободно печатались за границей. Сейчас у вас немецкая литературная стипендия, но вы вольны вернуться в Загреб. Согласитесь, что если в Хорватии и существует диктатура, то она вполне бархатная...

ОТВЕТ: Я против объяснения новой ситуации старыми терминами: тоталитарный, авторитарный. Я на самом деле не знаю, что это. Все похоже на старый фильм. Вы говорите «бархатная». Это правда. И диссидент не тот, что был. Режим тоже декларативно демократический. Но атмосфера тяжелая. Впрочем, я вру: где действительно атмосфера тяжелая, так это в Сараеве.

ВОПРОС: А что означает быть диссидентом в этой новой ситуации?

ОТВЕТ: Это значит находить свое имя раз в неделю в газетах в оскорбительном контексте.

ВОПРОС: Получается, что вы диссидент поневоле?

ОТВЕТ: Я этой роли не выбирала. Живу в Загребе, теперь уехала, может, вернусь. В наше постмодерное время даже нет возможности патетично уйти: «Прощай, Родина!..»

ВОПРОС: Вас не вышлют, как Солженицына?

ОТВЕТ: К сожалению, нет. За авиабилеты я плачу сама. Но я изменилась. Литературность литературы меня больше не так забавляет.

У И. Бунина есть стихотворение «С обезьяной» (1906 — 1907 гг.).

Ай, тяжела турецкая шарманка!
Бредет худой согнувшийся хорват
По дачам утром. В юбке обезьянка
Бежит за ним, смешно поднявши зад.

Хорват бредет по одесской Фонтанке. Пыль, зной, солнце.

Зверок устал, — взор старичка-ребенка
Томит тоской. Хорват от жажды пьян.
Но пьет зверок: лиловая ладонка
Хватает жадно пенистый стакан.

Поднявши брови, тянет обезьяна,
А он жует засохший белый хлеб
И медленно отходит в тень платана...
Ты далеко, Загреб!

У В. Ходасевича есть стихотворение почти с таким же названием — «Обезьяна». Писано оно 7 июня 1918 года, дописано 20 февраля 1919 года. В стихотворении описывается подмосковное дачное место Томилино в день объявления Германией войны Сербии (19 июля 1914 года).

Была жара. Леса горели. Нудно
Тянулось время. На соседней даче
Кричал петух. Я вышел за калитку.
Там, прислонясь к забору, на скамейке
Дремал бродячий серб, худой и черный.

Потом появляется обезьяна в красной юбке, пыльная сирень, кожаный ошейник.

Серб, меня слышав,
 Очнулся, вытер пот и попросил, чтоб дал я
 Воды ему. Но, чуть ее пригубив, —
 Не холодна ли, — блюде на скамейку
 Поставил он, и тотчас обезьяна,
 Макая пальцы в воду, ухватила
 Двумя руками блюде.
 Она пила, на четвереньках стоя,
 Локтями опираясь на скамью.
 Досок почти касался подбородок,
 Над теменем лысеющим спина
 Высоко выгибалась. Так, должно быть,
 Стоял когда-то Дарий, припадая
 К дорожной луже, в день, когда бежал он
 Пред мощною фалангой Александра.
 Всю воду выпив, обезьяна блюде
 Долой смахнула со скамьи, привстала
 И — этот миг забуду ли когда? —
 Мне черную, мозолистую руку,
 Еще прохладную от влаги, протянула...

Так Ходасевич протягивает руку Бунину. В пометах к стихотворению Ходасевич признавался: «Гершензон очень бранил эти стихи». Любопытно, говорил ли об этих стихах Ходасевич с Буниным в Париже? По крайней мере, в статье «О поэзии Бунина» (1929 год) он писал: «Не разделяя принципов бунинской поэзии (напрасно стал бы я притворяться, что их разделяю: мое притворство было бы тотчас и наиболее наглядно опровергнуто хотя бы моими собственными писаниями)...» Отчего же опровергнуто? Обезьяны не спрячешь...

Об этих поэтических обезьянах-близнецах я вспомнил, перечитывая стихотворение А. Тарковского «Тогда еще не воевали с Германией». Мне бросилась в глаза одна строка:

Казалось, что этого дома хозяева
 Навечно в своей довоенной Европе,
 Что не было, нет и не будет Сараева,
 И где они, эти мазурские топи?..

Году в 75-м один киевский переводчик показал мне книгу сказок хорватской писательницы Дубравки Угрешич. «Писательница-вундеркинд», — сказал он. Вместе с книгой он дал мне свой перевод сказок на украинский. Тогдашний литературный климат был тяжелым. Из нас двоих тяжелей дышалось ему, украинцу. Мы оба работали в стол. Сказки мне понравились, и я тоже кое-что перевел. Даже попробовал, хотя и безуспешно, пристроить переводы в московских детских журналах. Переводы эти сохранились.

ИЗ ЦИКЛА «ПУТЕШЕСТВИЕ ОГОНЬКА»

— Вот ты где! Наконец-то я тебя поймал!
 — Кто вы? — испуганно спросил Огонек.
 — Кто? Ха-ха-ха! Я — поджигатель. Сегодня начнем осуществлять мой план. Подожжем самый большой в городе дом, а завтра — городской парк. В воскресенье устроим настоящий праздник: подожжем школу! Ну, что скажешь?
 — Простите, но я не огонь для поджигания. Я Огонек. Если желаете, я охотно перечелу в ваше сердце.

— Ха-ха-ха! Огонь в сердце?! Нужен он мне. Лишний груз. Поджечь дом — это прекрасно! Все горит, рушится, трещит, ломается... Люди перепуганы — вот что важно! Люди всегда визжат, когда что-то рушится, ломается, трещит...

Огонек был уже далеко...

У меня есть два стихотворения на югославскую тему. Одно старое:

Сербский пейзаж:
Губы в тумане волос.
Клятва туманна.
Шепот кровав.
Холмы покрывают
преступную близость.
Губы чеканны.
Шепот искусан.
Это по-руськи?

Другое совсем новое:

ХОРВАТСКАЯ КУКЛА

— Вы должны написать стихи о любви, — говорит она. — Да, как Вы нашли в мусоре изуродованную куклу, слизали гарь языком, склеили слюной сломанные члены.

— Как ласточка?

— Да, как ласточка... любовное, эротическое стихотворение... Феминистки будут рыдать.

— Нет, им не понравится мужчина в роли спасителя.

— Нет, понравится. Напишете?

— Нет, у меня не получится. Все-таки, знаете, кукла, да еще изуродованная, в мусоре... нет, нет.

Декабрь 1993

Ханс Боланд

**СТИШКИ УРОДА —
ВРАГА НАРОДА**

1

Полуевропа, полуазия —
так, значит, это полный рай!
Однако Русская фантазия
дала нам полоумный край.

2

И сон, и явь кошмарные,
Но в пах нам или в бровь,
мы люди благодарные —
за плетку, кнут и кровь.

После выборов, декабрь 1995

3

Забавный термин — «русский человек».
Хотим как будто убедиться в том,
что если есть француз, голландец, грек,
и мы бываем тоже не зверьем.

4

Гостеприимство! Сто рублей
за киловатт, коли ты наш,
а триста шестьдесят с гостей...
Широкая душа есть блажь.

5

Двум великим народам оставим венец
духа Братства, Соборности в веки веков.
Всё же немцы похожи на стадо овец,
а соперники больше — на стаю волков.

6

«Свой путь», «своим путем»... Какая спесь!
Как будто у зулусов путь чужой...
Типично русская однако смесь
насилия и косности: «Долой!»

7

В реинкарнацию не слепо верю,
но как же так, что дети-то в стране,
где жить приходится подобно зверю,
рождаются — не по своей вине?

8. РУССКАЯ БОЕВАЯ ПЕСЕНКА

I

Раб, раба, рабу, раба...
Гнусная царит судьба
над рабом, в самом рабе,
жопу лижущем судьбе.

II

Рабы рабов — рабам:
я хам, я хам, я хам.
Рабами — о рабах:
мне любви пух и прах.

9

Умом Россию не понять
людским, а только зверским,
тупым, словами «на хуй, блядь!»,
развратом изуверским.

10

«Мысль изреченная...» Да, это так,
когда слова на почве равноправия
употребляются и так и сяк,
по духу и мышленью комуславия.

11

Русский народ — это *добрый* народ.
Во! Никогда никого обижать —
о, нет! — не будет. Но я же урод —
хочется мне лишь отсюда бежать.

12

Смешно до слез, что обрусел
настолько я, что всем прекрасным
идеям изменить успел
и стал так запросто несчастным.

Sergei Sigei

PLUS LATINIZACIJA RUSKOGO JAZYKA

1

duhi
hi
astris
ris
l. t. piver
iver
paris
ris
is

1973

2

schwitters witters witters tters ters
writer reitar writer reitar
ar ar ar ar ar
afar ar ar
afar far far far waefer
afar waefer fer fer fer
tuf tuf tuf tuf tuf
fan tuf
tufan tufan tufan
of of of
abla nabla haarez
ez ez ez ez ez
zek zek zek
prison prison prison
son son son
reason reason reason
dream dream
tam tam
i am

1996

3

baden baden
plus wiesbaden
baden
wies wies
baden baden
plus wiesbaden den
donna klemm
donna klemm
where was joe jones
where never was bachterev
bach bach
bomm bomm
donn donn
donna klemm
donna klemm
drinking wine
ben ben
patterson
donna klemm
donna klemm
noisy russollo
russkim
ne primer
mer mer
merz
glim mer mer
donna klemm
klemm
klemm
donn donn
donna klemm
lemm lemm
emm emm
mm mm
m

1996

russian russian russian sian sian sian sian
revolution volution lution tion tion tion n
pollution lution tion tion tion tion on onn
sperm sperm sperm sperm sperm sperm sperm m
sperm perm perm perm perm perm perm perm mm
sperm perm erm erm erm erm erm erm rmmm
lenin lenin lenin enin enin enin nin nin in
zurich zurich zurich reich reich reich eich
ich
duchamp duchamp duchamp duchamp duchamp amp
zuruck zuruck zuruck ruck ruck fuck fuck uk
chess chess chess chess chess chess chess s
check check check check check check check s
mate mate mate mate mate mat mat mat na
na na na na na na na na na n a a a aa
huy
prick prick prick prick prick prick prick s
tohu tohu tohu tohu tohu tohu tohu tohu toh
bohu bohu bohu bohu bohu bohu bohu bohu boh
wa a
tohu wabohu tohu wabohu tohu wabohu tohu hu
hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu u
god save all poets ets ets ets ets ets ets
etc
terra terra terra terra terra terra terra a

5

a a a a a a a a a a a a a a a a a
ab
la la

abla abla abla abla abla abla abla abla
na
nabla nabla nabla nabla nabla nabla bla

ha
a a a a a a a a a a a a a a a a a
haarez haarez haarez haarez haarez haar

abla nabla haarez abla nabla haarez rez

ab nab rez ab nab rez ab nsb rez rez ez
haa haa haa haa haa haa haa haa haa

1996

6

zim zum zim zum zim zum zim zim zim zum zim
zim zim zim zim zim zum zum zum zum zum
zim zim zim zim zim
zum zum zum zum zum
zim zim zim zim zim
zum
zim zim zim zum zum zum
zim zim zim zum zum zum
zim zim zim zum zum zum
zum zum zum zum zum zum zum zum zum zum
zum zum zum zum zum zum zum zum zum zum
zim zim zim zim zim
zum zum zum zum zum
zimzum zimzum zimzum zimzum zumzum zim
zimzum zimzum zimzum zimzum zimzum zum

7

sanc
sanc sanc sanc sanc sanc sanc sanc sanc sanc anc
anc anc anc anc anc anc anc anc anc anc anc a
a a a a a a a a a a
an e
e e e e e e e e e
en c
enc r
encre encre encre encre encre encre encre encreez
secrez secrez secrez secrez secrez secrez secrezz
z z

1996

ТАКОЙ ПАССАЖ

В армии я служил в начале 80-х годов. Это был военно-строительный батальон. Мой старшина обожал проводить всяческие солдатские собрания. Собрания эти делились на две категории. К первой относились торжественно-поздравительные мероприятия, на которых присваивались очередные воинские звания, к погонам прилаживались лычки, личному составу вручались грамоты и ценные подарки. Подарки были довольно убогие. Например, кружка с надписью «23 февраля» или календарь на грязно-матовой бумаге со всеми торжественными воинскими датами. Причем календарь был слеплен настолько уныло, что нагонял тоску, а не праздничное настроение.

Командир взвода старший сержант Виталик Мячиков обожал подарки, но его тоже раздражала их блеклость, убогость. И он делал так: строил рядовых-первогодков и объявлял звонко: «Собираем комсомольские взносы на оформление ленинской комнаты. Кто не сдаст, тот получит по...» Дальше называлась часть тела, по которой можно получить, не уплатив взнос, и показывался увесистый кулак. Было забавно, потому что голос Виталика был высокий, как у школьника, а кулак большой, потому что до службы Виталик занимался боксом. Смешило несоответствие тембра голоса и диаметра сжатой в кулак пятерни. Но молодые не хотели «получать по...» и отдавали последние трешки, пятерки, а кто и гривенники с пятаками. Хоть и забавен был Виталик в своих угрозах, но молодым смеяться не положено, а надобно делать, что говорит сержант.

Потом Виталик сам выписывал себе увольнительную в город (потому что пустые бланки увольнительных были у него всегда под рукой), сам ее подписывал за командира части и старшину (потому что здорово подделывал подписи), шел в какой-нибудь универмаг в отдел подарков и покупал довольно дорогую вещь, вроде фотоальбома в алом бархатном переплете с позолоченным пластинчатым прямоугольником в правом верхнем углу или чернильное длинное перо на полированной подставке из редкого сорта дерева. На альбоме или подставке в том же универмаге Мячиков у гравера делал надпись — «Вручается старшему сержанту Мячикову за отличное несение службы и добросовестное выполнение воинского долга». И на те же солдатские денежки отправлял домой родителям.

Ко второй категории собраний в нашей воинской части относились ругательно-пропесочивающие мероприятия, на которых рядовой и сержантский состав порицался и поносился за традиционные виды солдатских правонарушений — как-то: неуставное отношение к молодым со стороны «стариков», самовольные отлучки, распитие алкоголя. Такие собрания тоже были однообразны. Старшина нудил «пить нельзя», поскольку это «мешает выполнять долг». Солдаты в это время болтали между собой, травили анекдоты, играли в карты, скажем, в очко или дурака. Не обращали на выступавшего старшину ни малейшего внима-

ния. Толк от этих собраний был нулевой. Стройбатовцы продолжали пить в самоволках, в нарядах, до службы, после службы, во время ее, в казарме, на стройобъектах, друг с другом, с гражданскими рабочими, неизвестными лицами и с тем же старшиной.

Но собрания, несмотря на нулевой толк, все равно проводились. На очередном старшина понудил-позанудничал: «Кончайте вы, ребята, ей-богу, нажираться» и спросил, как принято: «Может, из военных строителей кто-то хочет выступить, дополнить?» Вдруг Виталик Мячиков тянет руку — дескать, хочет сказать слово. Мы страшно удивились. Потому что ни на каких комсомольских собраниях, политзанятиях, рабочих, трудовых и дисциплинарных прорабатываниях солдаты не желали выступать, дополнять. На собраниях следует болтать, играть в буру и секу, спать и желать, чтобы собрания тянулись дольше (неохота ехать работать на объект или ходить строем) или скорее заканчивались (надоело). Но тут Мячиков тянет руку, а мы удивляемся. Изумился и старшина. Ему самому хотелось поскорей свалить домой и напиться. Но по регламенту он вынужден дать Виталику слово. Мячиков какой-то неестественно резкой походкой выходит к трибуне, то есть к кафедре (типично для студенческих аудиторий и солдатских ленинских комнат), наваливается на нее всем корпусом, обхватывает руками, а подбородок кладет на торцевую часть. Потом откидывает корпус, снова наклоняется, правую руку отрывает от кафедры и берет ею графин, стоящий на соседнем столе. Вновь отклоняет корпус и выливает содержимое графина себе в глотку. В графине, конечно, была водопроводная вода, но военные строители, начавшие что-то соображать про Виталикино состояние, радостно захихикали, некоторые в голос захохотали. Виталик начал речь.

«Пить солдатам нельзя. Ведь мы — военные строители — трудимся в поте лица, едим из одного котелка, мерзнем в окопах, бросаемся на доты и дзоты, десантируемся в тыл фашистского гада, проводим разведку боем во вьетнамских джунглях, сражаемся с афганскими душманами... А некоторые из нас, понимаешь, напиваются, приговаривают бутылку за бутылкой. Я и сам не прочь угомонить „ноль семсот пятьдесят“». Он так и сказал: «угомонить». Тут уже вся аудитория содрогается от хохота. Дошло и до старшины: «Вы что, Мячиков, пьяный?» — «А что, — спросил Виталик, — разве не похоже? То есть, — возмутился он, — как вы могли подумать про меня такое, товарищ старшина?.. Но почему бы и нет?»

Тут Мячиков окончательно запутался в показаниях. Одну руку вытянул вверх, пытаясь произнести что-то торжественное, второй рукой вцепился в кафедру, пытаясь удержаться... Ни с тем, ни с другим он не справился. И под изумленным взором старшины и зверский солдатский хохот вместе с кафедрой свалился на пол.

СМОТРИТЕ НА МЯЧИ

Я работаю администратором на теннисных кортах. Они расположены на одном из петербургских островов в замечательном месте. Никаких промышленных объектов в округе, сплошь зеленые насаждения, в двух шагах течет Средняя Невка. Эдакая экологическая ниша.

Когда-то эти корты были вузовскими. На них токали теннисные мячики профессорско-преподавательский состав и студенты разной

степени прилежности. Кортгов было шесть, и имели они при себе два дощатых строения грязно-крапивного цвета: одно называлось раздевалкой, второе никак не называлось, было совмещенным и не имело известных кодовых обозначений... Ну совсем не как в популярной кинокомедии.

Корты мои, стало быть, расположены столь чудесно, что к ним еще с доперестроечных времен стали присматриваться люди правящей тогда партии и представители не вполне легального бизнеса. Они приезжали на корты со своими половинами, соревновались с доцентами и аспирантами, я администрировал. Все было типично по-теннисному. Корты как корты.

Единственное, что немного нарушало теннисную обстановку, — близлежащий ресторан «Шлюпка», расположенный через дорогу. Ресторан этот не о пяти звездочках. В нем пришвартовывались бичи, моряки-неудачники, списанные с флота за различные дисциплинарные нарушения вроде самовольных отлучек и распития известных напитков. Завсегдатаи «Шлюпки» напивались, шумели и вели интенсивную личную жизнь с официантками. По выходе из помещения, на виду у теннисной братии. Потому что кругом трава, мягко, тепло и белые ночи. Неохота идти на квартиры, а многим некуда. Теннисисты, впрочем, прифькаки к чужой личной жизни и не обращали на нее внимания. Да и во время теннисного матча надобно не глазеть на постороннюю личную жизнь, а смотреть за мячом.

Зато, благодаря персонажам из единственной тогда партии и затемненной экономики, корты мои благоустроились длинной-предлинной тренировочной стенкой и одноэтажным кирпичным строением с помещениями под офис, сауну, душевые. Старые деревянные сооружения снесли. Поскольку второе из них было некомфортабельно, а первое было досками обито редко-редко, так что посетителям кортов в перерыве между интенсивными спаррингами невозможно было вести регулярную личную жизнь.

Тут хлынули рыночные реформы. Мои корты в них нырнули в виде некоего теннисно-азартного заведения спортивного характера с криминально-коммерческим уклоном. То есть червовые тузы и козырные валеты из проигравшей в августовском путче партии и обнаглевшей на почве легальности, посветлевшей экономики стали платить мне, как администратору, побольше разных эскудо и тутриков, я на эти шистры по весне вместе со стажерами и заочниками закатывал и облагораживал корты гораздо изящнее, чем во времена, когда все были равны, и все выглядело как в теннисных клубах стран, в коих давно все не равны. Время от времени на корты наезжали ребята, как после парикмахерской перед призывом в армию. Приезжали на автомобилях, произведенных не в нашей стране. Студенты испуганно глядели на эти визиты, но их партнеры по кортам... сами поняли какие, меня отмазывали. Они тоже приезжали на корты на автомобилях, сделанных в государствах, где теннис давно и сильно популярен. Приезжали с гранд-дамами и примами-кордебалеринами. Поиграют в теннис, защитят меня от ребят, которые против нетрудовых доходов, идут в сауну играть в настольные не слишком умственно отягощенные игры, а после заняться в ней бурной личной жизнью со своими спутницами.

Потом решил я корты мои сделать интернациональными. Стал приглашать на них иностранцев из совместных предприятий, консульств, просто индивидуальных туристов. Приезжайте, говорю. Есть у нас в клубе некоторые издержки рыночно-переходного периода в виде

наездов, разъездов и отъездов, да и в сауне я не против нормальной личной жизни, но в целом все аристократично, культурно, тактично. И приезжали дипломаты, предприниматели, индивидуальные туристы. Играть в теннис. А в сауну вообще не заходили. То ли слышались о проблемах с чистотой невской воды, то ли так уставали после работы, экскурсий, теннисных тренировок, что не нужна им была личная жизнь.

Однажды приехали на корты японцы. Внимательные, супервежливые. Я им все показываю. Где, как, что. Показываю помещения, веду по кортам. Они слушают, кивают головами. Я им в том духе, дескать, все у нас престижно, прилично, пристойно, за исключением нюансов, связанных с переходом... Ну, про это Гайдар все время говорит. И увлеченно так рассказываю, руками размахиваю, глаза вверх. Опустил глаза посмотреть на реакцию японцев, согласны ли они на этих кортах играть, заплатив предварительно в валюте не той страны, на территории которой они находятся. А японские глаза смотрят мимо меня с каким-то бешеным изумлением. Я поворачиваю голову по траектории их взгляда и вижу: на скамейке рядом с одним из кортов бармен из ресторана «Шлюпка» по кличке «Подлецик» занимается активной личной жизнью с официанткой по прозвищу «Плотва». Японцы, забыв про традиционную японскую деликатность, загадели. «Не понимаем, что это?» Я им объясняю, что парень устал после напряженного теннисного поединка и снимает стресс. «А в другом месте он не может стресс снимать?» — пытаются меня дотошные японцы. «Вероятно, может, но в связи с необратимостью движения к рыночной экономике плюрализм в выборе местопроводения...» — оправдываюсь я. «Предположим, — продолжают занудничать японцы, — но как подобное зрелище сказывается на классе игры посетителей теннисного клуба?» — «Никак не сказывается, — утверждаю я, — потому что посетители наших кортов акцентируют свое внимание не на плюрализме времяпровождения посторонних субъектов, а на сопернике, счете, а главное, на теннисном мяче». — «Вот оно что», — дошло, наконец, до японцев. И они понимающе вздохнули. И пошли переодеваться. Чтобы играть в теннис, предварительно заплатив мне в валюте страны, в которой есть масса теннисных клубов, чьи теннисисты добились чрезвычайных успехов на родине и за ее рубежами и с которой у японцев были недружественные отношения во время Второй мировой войны.

ОПАСЕНИЯ. НЕУДОВОЛЬСТВИЕ...

У меня есть приятель Аркадий. Довольно давно он надумал покинуть Союз. Но все не складывалось. Потому что несколько лет после окончания института еще в середине семидесятых он работал на режимном предприятии.

Когда в 1985-м проклюнулась перестройка, Аркадий отнесся к ней настроенно. Как и многие. «Это ненадолго, — твердил он, — потому что уже была хрущевская оттепель и ее прикрыли. А когда-то давно нэпу скрутили шею. И скоро вашего Горбачева заменит Лигачев...» Перестройка не заставила Аркадия изменить свое отношение к вопросу эмиграции. Он был уверен, что каждый нормальный человек должен, как он выражался, «из этой страны свинчивать».

Перестройке сопутствовали гласность и свобода выражения различных точек зрения. Аркадий относился к этим процессам недоверчиво.

«Объявилось общество „Память“, — испуганно нашептывал он знакомым. — Вот увидите, обязательно будут погромы». — «А может, пронесет?» — с надеждой спрашивали знакомые. «Исключено, — уверенно говорил Аркадий. — В тридцатых годах германская интеллигенция смеялась над Гитлером и тоже надеялась, что пронесет. Какие вы легкомысленные. Всякий разумный человек обязан „рвать когти“, — как он выражался. «И вообще, я в чем-то согласен с „памятниками“ и „россами“. Они советуют нам, пока не поздно, валить в Израиль. В этом есть разумное зерно. Их страна — Россия. Наша — Израиль».

Правда, в Израиль Аркадий не поехал, а почему-то собирался в Америку. Еще годика три вольнил, но события в Тбилиси, Вильнюсе, отмена программы «500 дней» настроили его окончательно. «В этой стране никогда ничего хорошего не будет. Еще Чаадаев уверял...» — кого и в чем уверял Чаадаев, Аркадий не вспомнил.

В самом конце августа 91-го я приехал в Пулково провожать Аркадия. Поражение путчистов несколькими днями раньше его совершенно не обрадовало. «Что может измениться в этой стране? Только в худшую сторону. Кто такие демократы? В общем, смотри, чтобы тебя здесь не зарезали», — были последние его слова.

Аркадий живет в Америке. Устроился на работу. Женился на эмигрантке. Завел ребенка и машину. Получил гражданство. Пишет крайне редко и почти ничего о себе. В посланиях в основном выражает беспокойство за судьбу Родины и неверие в возможность благополучного ее реформирования. Правда, в каждом письме высылает фотографию одного сюжета в разном ракурсе: Аркадий на фоне своего вольво или внутри его, облокотившись на капот, за рулем.

После отъезда Аркадий звонил мне два раза по международному. Первый раз в конце декабря 1993 года, второй раз в двадцатых числах декабря 1995 года. В 1993-м он сказал зловеще: «Ну вот, я же говорил...», а в 1995-м просто завопил в трубку: «Я же тебя предупреждал!..»

Недавно звонок в моей квартире. Знакомый голос. «Аркадий, ты?!» — Дорадоваться я не успел. «Послушай, старик. Я в командировке в России. Времени крайне мало. Вряд ли увидимся. Но если сможешь, приезжай такого-то числа в Пулково проводить меня. Там и потремемся».

Я не выдержал и приехал в международный аэропорт. Поговорили с Аркадием о том, о сем. В конце концов я спросил его про впечатления о России. Все-таки... после стольких лет отсутствия...

«Мне не понравилось», — сказал Аркадий.

«Почему?»

«Производство не функционирует».

a

B

c

d

e

Александр Свиридов

* * *

Он умер в январе. В начале года.

Бродский

Он умер. Разве что еще добавить:
он был из тех, кто может умереть.
Конечно, в январе... Придя на память,
уйдя во что угодно... Онеметь?
Сказать: прошло последнее бобо?
Я думаю, он мог, как над Долорес
склоненный Гумберт, сразу от всего
больного сердца разрыдаться в голос.

Итак, стряслось. С субботы на среду...
Еще в квартирах ель была в ходу...
Сказать, что тонет адмирал Харон,
впервые, с лодкой, не осилив груза?
Сказать: венки снимает Аполлон,
и слышу всхлип осиротелой Музы?
Сказать, что надорвался херувим,
что взялся отнести его к своим?..

Душа всего лишь точка. Ей
всего нужней объятья... Смысл построек
в использовании окон и дверей.
Сегодня вышел нежный-нежный стоик,
оставив маску, не допев канцону...
Умолкли арфы, гусли, саксофоны.

Устрой ему внеплановый покой.
Ведь жалко же. Такой был дорогой.

29.01.1996

АЛЕКСАНДРИЙСКОЕ

1

В окрестностях Земля напоминает вещь
от Фаберже, зане его нигде не встретишь.
Чем дальше в никуда, тем безымянней ветошь.
А здесь хоть преysкурант на облако повесь.
И Время действует, как коллекционер,
чей пристальный заказ в кочующем генштабе

со скрипом пестуется в выбранном масштабе,
и перископ торчит, как хищный глазомер.
Когда-нибудь и мы уйдем за скобки лун;
с насеста Времени глашатай птеродактиль
слетит клевать зерно исполненных галактик
и Слово возвратит в первоначальный шум.

2

Под небом голубым кентавра беглый бюст
беседует с дырой спасательного круга.
«...И если к нам еще доносится друг друга
писк — это верный знак того, что воздух пуст.
Тяп-ляп идут дела и мы идем топ-топ.
За нами облака плывут от Парацельса:
над лесом, над рекой, над крышей погорельца,
над полюсом, где спит шлифующий погоп.
Все каменеет, что под солнцем. Даже слизь.
Кресты стоят вокруг, похожие как капли
хронической воды. Тем более — из камня.
Две палки об одном конце венчают жизнь».

3

В июле ласточки, сорвавшись с тетевы,
в лазури обрели свободу. Там же летчик
весьма воодушевлен, приняв за многоточье
на манускрипте волн три темных головы.
Потеет мышь в норе. Потеет в море кит.
Былинки высоту берет кузнечик-Брумель.
Хлебов, неписанный еще в железный рубль,
безбрежный океан пчела перелетит.
На смятой простыне, запутавшись в неврозах,
лежит, закрыв глаза, гражданское лицо.
И квадратура стен берет его в кольцо.
Усни, усни, философ, сойди с крюка вопросов.

1994

* * *

Я люблю только голое слово,
что глаголет, как письмо,
застекленное от морского
сироты, лишь себя само.

Как дитя календарной эпохи —
космократ, хронолит, метис,
в первом крике, в последнем вздохе
вижу только частный каприз.

Сколь прекраснее нас в союзе,
в царстве разума и труда,

написавший к сумчатой Музе —
в стол, в бутылку, как в никуда.

Может, лучшие манускрипты,
недошедшие имена,
мимо правды и мимо кривды
были брошены в стол без дна.

Только мужественный попутчик,
не ведущий потерям счет,
то, что спрятал лунатик Тютчев
на карнизе судьбы, прочтет.

Кирилл Кобрин

ПОСЛЕДНИЙ РИМЛЯНИН

Умер Иосиф Бродский. Умер последний певец империи, певец пустого геометрического пространства, поэт поздних мыслей усталой культуры. Его перу принадлежит столько некрологов, стихов in memoriam, что кажется — он уже все сказал и о своей смерти. «Слеза к лицу разрезанному сыру». Как заметил, умирая, другой великий поэт: «Остались только детали».

Чуть больше половины жизни он был подданным одной империи, чуть меньше — другой. Две империи, два языка, две чуть неравные половины биографии; его жизнь строилась по неуклонному закону таинственной симметрии, превратившему время его земного существования в жестко организованное пространство. Чем, заметим, империя и является. Бродский не раз говорил: поэт (т. е. он сам) — орудие языка. В нобелевской лекции уточнил — орудие культуры.

Культура, орудием которой был Бродский, не русская, не еврейская, не англосаксонская. Это — культура Империи, поздней Империи, изнемогающей под натиском варваров, разьедаемой старческими недугами. Мужество, стоицизм, скепсис — вот ее главные достижения. Бродский был последним часовым в армии, часть которой погибла, часть — сдалась, часть — дезертировала. Его презрительный пессимизм — вовсе не поза, а ясное представление об отсутствии перспектив. Первое стихотворение первого тома собрания сочинений поэта начинается словами: «Прощай, / позабудь / и не обессудь». В последней строфе последнего стихотворения последнего тома читаем: «Она сама / составится, сойдет с ума, умрет от дряхлости, под колесом, от пули».

Дряхлость, распад, тление, в итоге — пустота, — вот что всегда занимало Бродского, вот его главная тема. Оттого перечисление названий лучших стихотворений поэта звучит как поминальный список: «Прощай», «Еврейское кладбище около Ленинграда», «Памяти Е. А. Баратынского», «На смерть Роберта Фроста», «Большая элегия Джону Донну», «На смерть Т. С. Элиота», «Post aetatem nostram», «Похороны Бобо», «Двадцать сонетов к Марии Стюарт», «На смерть Жукова», «Памяти Геннадия Шмакова», «Памяти отца: Австралия», «Памяти Клиффорда Брауна», «Памяти Н. Н.». И бесконечные элегии... Умирающей культуре всегда есть кого помянуть. Другой вопрос: найдется ли тот, кто это сделает. Такой поэт нашелся. Иосиф Бродский стал орудием поминающей себя культуры.

«Я заражен нормальным классицизмом». Он был последним классическим поэтом русской литературы. В нарастающем хаосе партизанщины, он в одиночестве предпочитал правильные осады, размеренные кампании, сухую прелесть точных планов, выверенных чертежей. Он любил говорить о «стратегии автора в стихотворении». Победившие ост- и вестготы, гунны, бургунды предпочитают говорить о «кайфе» и «приколе». В 20-х годах XIII века монголы подчинили себе Поднебесную империю и, подчинив, переняли китайские военно-инженерные хитро-

сти. Точно так же современная русская поэзия, поэзия постимперской культуры, пользуется инструментарием Бродского, а некоторые обживают и его интонацию: кто-то педалирует статуарную четкость, а кто-то низгоняет неуклюжий (а потому — трогательный) цинизм «Речи о пролитом молоке» до сивухи вселенского фраерства. Но иного и быть не могло. Классицизм крушат деталями того же самого классицизма, а, устав, строят то же самое, только хуже. При всем уважении к Карлу Великому скажу, что его империя и в подметки не годилась даже поздней Римской.

Новая империя не оказалась надежнее старой. Только ее крах, в отличие от той, другой, символизирует не стайка провинций, разлетающихся прочь от метрополии, и не меченный Богом генсек, а тихий университетский профессор, несущий мультикультуралистскую ахинею об одинаковой важности Черчилля и Чингачуга для мировой истории. Но смысл остается тем же. Отсутствием смысла. С распадом империи (неважно — в каком виде) пространство, некогда ею занимаемое, обесмысливается. Пространство теряет свои признаки, например, геометрию. Иосиф Бродский знал это. У него есть такая строчка: «Вечер, развалины геометрии...» Время сломалось, развалилось, опало тихими хлопьями задолго до пространства, координаты утеряны навсегда: «Ниоткуда с любовью, надцатого мартабля, / дорогой, уважаемый, милая, но не важно / даже кто...» Или, словами любимого Бродским Пастернака: «Никто не помнит ничего».

Продолжать говорить, продолжать выпевать стихи стало для Бродского вопросом личного мужества, делом чести настоящего поэта. С годами стихи становились все суше, строже. В VI веке н. э. «последний римлянин» Бозций в готской тюрьме сочинил знаменитую книгу «Утешение философией». «Последний римлянин» Иосиф Бродский во всех своих ссылках — от норенской до нью-йоркской — сочинял одну книгу — «Утешение поэзией». С годами, располнев, он сам стал похож на римского патриция. Но ни одному патрицию никогда не сотворить такого пиршества славянской фонетики:

О, облака
Балтики летом!
Лучше вас в мире этом
Я не видел пока.

Семь строк спустя, в том же стихотворении читаем: «ах, кроме ветра / нет геометра / в мире для вас». Для «последнего римлянина» Бродского нет геометрии в распавшемся мире. Для поэта Бродского нет геометра. Таков смысл его «Утешения поэзией».

29.01.1991

Полина Барскова

* * *

Погиб поэт. Точнее — он подох.
Каким на вкус его последний вдох
Был — мы не знаем, и гадать постыдно.
Возможно, как брусничное повидло,
Возможно, как разваренный горох.
Он сам хотел — ни жизни, ни конца,
Он так хотел — ни деток, ни отца.
Всё — повторенье, продолжение, масса.
И мы, ему курившие гашиш, —
Небытие, какой-то супершиш,
На смену золоту пришедшая пластмасса.
Его на Остров Мертвых повезут,
В волнах мерцают сперма и мазут,
Вокруг агонизируют палаццо.
Дрожит в гондоле юная вдова,
На ней дрожат шелка и кружева,
И гондольер смекает: вот так цаца.
Он так хотел: ни слякоти, ни слов,
Ни равнодушной родины послов,
Но главное — рифмованных истерик...
Его желанья — что они для нас?
И мы чего-то захотим в свой час,
Когда покинем свой песчаный берег.

Он так хотел... Так все-таки хотел!
Пока еще в обложках наших тел
Живут высокомерные желанья,
Он жив, он — жизнь, он — суета и хлам,
А значит, он — смирение и храм,
Цветущий на обломках мироздания.
Что смерть ему? Всего лишь новый взлет.
Кому теперь и что теперь поет
Его крикливый смех, гортанный голос?
Такие ведь не умирают — нет.
Они выходят, выключая свет, —
Но в темноте расти не может колос.
Он остается — белый и слепой,
Раздавлен непонятною судьбой,
В свое молчанье погружен до срока.
И что ему — какие-то слова?
И что ему — прелестная вдова?
И что ему — бессмертие пророка?

* * *

Что-то распалось, исчезло, ушло, изменилось
 Между тобою и мною, моя дорогая.
 Детской игры легкомыслия мелкая милость
 Нас предала и теперь, удивленно мигая,
 Смотрит на нас, вспоминая, а были ль мы близки,
 Были ль единою плотью, корою, листвою?
 Вот, занесла нас Судьба в непохожие списки —
 Значит, ее унижений я больше не стою.
 Значит, ночами не ждет нас Михайловский замок,
 Значит, собака твоя не ликует при встрече.
 Значит, своими огромными псевдослезами
 Я не хочу холодить твои быстрые плечи.
 И не хочу твоих губ в деловитой усмешке,
 Или хочу (но они ускользают в забвенье).
 Ты же, по-прежнему, как золотые орешки,
 Щелкаешь наши слова и смакуешь мгновенья.
 Ты же, по-прежнему, та же, и всё в тебе то же —
 Всё, что бесценно, опять продаешь за бесценок.
 Так же впускаешь прохожих на шаткое ложе
 Ради придирчивых и равнодушных оценок.
 Да и во мне, милый друг, изменилось немного.
 Рыхлое слабое сердце, смешная походка.
 Так же меня монотонно изводит тревога,
 А утешает по праздникам теплая водка.
 Дело не в нас, но во времени, жаждущем жертвы:
 Как престарелый любовник, оно суетливо
 Нами владеет; поэтому мы не бессмертны —
 Тусклые ракушки в тусклой полоске прилива.

* * *

Алексею Ильичеву

Сегодня с тобою, Раймон Родигé,
 Мы жадно съедим по куриной ноге.
 Мы выпьем с тобой по стакану вина —
 За это потомки заплатят сполна.
 Сегодня опять день рождения твой.
 Мы ложе украсим свекольной ботвой,
 Мы щеки накрасим свекольной бурдой.
 Козла с золотой приведем бородой.
 Потом — мы друг друга начнем раздевать —
 Притворно смущаться, притворно зевать.
 И выпьем опять по стакану вина —
 За это заплатит скупая страна.
 Потом — ты надолго уйдешь в туалет.
 Стемнеет. На улицах выключат свет —
 Вернешься — бутылка постыдно пуста:
 Мои в уголках потемнели уста.

Меня тебе жалко, не станешь будить.
 Но станешь тяжелою трубкой чадить,

Вонючею спичкой меня освещать,
 Горюя о том, что могли бы зачать
 Смешное дитя в день рождения твой —
 Твой сын был бы вылитый ты, но живой.
 Нескоро проснусь я в прокисшем чаду —
 Тебя не найду и себя не найду.
 Белеет одежда, чернеет кровать —
 Придется покойника в лоб целовать.
 Ах, вонь формалина! Ах вытекший глаз!
 Ах все, что сегодня родилось от нас.

МАРШ ПРОТЕСТА

Сначала Лимонов, потом Буковски,
 Селин, Алешковский, Берроуз и Генри Миллер.
 Выстроились лицом к стене,
 Как в мужском сортире:
 Ошибившись дверью, я смотрю на худые зады,
 Не приказывая сознанию отвернуться иль подойти поближе.
 Ощущение их правоты — дифтерийная пленка в горле,
 Но если ее отсосать, воздух разреженный
 Хлынет в легкие — и я умру,
 Как чешуйчатый Ихтиандр.
 Эти полумужчины-полуженщины,
 Полуживотные-полурастения —
 Толстогубые орхидеи, подзывающие мотыльков.
 Существа, замечающие, что ДОЖДЬ,
 Если вдруг промокают их брюки... или если их
 Сигарета
 Превратилась в бесформенный тюбик
 Мокрой трухи.
 Знающие, что Воскресенье, это когда сладкотерпкие
 Мальчики
 В 9 утра не сбегают в школу напротив.
 Подозревающие, что смерть, это когда входит
 Блондинка в белом,
 Но организм ее не приветствует влажным салютом.
 Жизнь их статична. Впрочем, она происходит по кругу.
 И поскольку
 Увеличить долю оргазма практически невозможно,
 Они наследуют любителям чая —
 Приятелям дерзкой Алисы,
 Передвигаясь от чашки к чашке, не успевая
 Насладиться теплом
 И изысканным вкусом,
 Прежде чем вышеозначенная блондинка
 Поманит их за собой
 В образцовое царство Аида.
 Там (ссылаясь на орфическое ученье)
 Дом Его, а рядом — источник и кипарис.
 И в источнике этом души онемевают,
 Как десны от укола зубного врача.

Но, начитанный в прошлой жизни,
Посетитель не станет пить отсюда!
И чувства свои сохранит:
Чувство сомненья (стоит ли пить
Эту жидкость цвета безумной цикуты?),
Чувство восторга (.....),
Чувство прозрачной печали в миг
Завершения денег,
Чувство приятной опустошенности (после рвоты).
И если туда к ним зайвится новый Орфей,
Смутно надеясь вернуть их на пеструю землю,
Их заклиная своим полуночным сиротством,
Им обещая поток безвозмездного счастья...
Что ж, он вернется ни с чем.
И затынет напрасную песнь,
Вспоминая
Грязную брань непутевых своих протезе.

ДЕВУШКА ДЛЯ БАНДИТА

...Короче, блин, надо вставать, одеваться и ехать к Крестам «пули»* собирать. А то в прошлый раз приехала поздно, в темноте одной «пули» не нашла — Паша потом обиделся.

— За что он там?

— Ну, вымогательство с заложниками, еще что-то. Много всего...

— А мало не дадут. И сколько уже сидит?

— Почти год под следствием. В камере двенадцать человек, спят по очереди.

— А что в «пулях» пишет?

— Ну, там — одевайся потеплее, а то ходишь в такой юбке, что жопа видна, ума у тебя нет... Представляешь, Кирюхе носки и варежки связал.

— Но он не его отец?

— Не.

— А сколько сейчас Кириллу?

— Пять лет.

— А тебе?

— Девятнадцать. Как трахнулась в первый раз, так и родила.

— Вообще-то, для начала забеременела... А выглядишь лет на шестнадцать. И фигурка хорошая, ножки накачанные.

— Так я ж бодибилдингом занималась. Недавно зашла к ребятам в зал, потрепались, пресс покачала. Потом сауна, массаж хороший сделали.

— Представляю себе... А чего это у тебя вся задница исколота?

— Не трогай, блин, больно! Говорила же, что недавно из больницы — пенициллин кололи.

— А что было?

— Как там... Абсцесс или абсцисс.

— А здесь, над соском, что?

— Расчесала.

— Вижу, как «расчесала» — три точки по сантиметру друг от друга. Я и не знал, что в грудь можно колоться...

— А что, там вен нет?.. Да отстань ты, блин, не хочу я больше трахаться!

— А говорила — «маньячка», шестнадцать мужиков однажды за день...

— А сейчас не хочу!

— Слушай, а где ты вчера целый день была?

* «Пули» — свернутые в конусную трубочку записки, утяжеленные с узкого конца хлебным мякишем. Выдуваются через свернутую в трубку газету. Этими «пулями» узники старинной питерской тюрьмы, официально именуемой «Следственный изолятор № 1», а в народе — просто «Крестами», обстреливают улицу Комсомола, где их и подбирают адресаты (Прим. автора).

- За грибами со Светкой ездили в Лахту.
- Какие грибы в конце октября?!
- Ты чё, не въезжаешь, какие?
- А-а, слышал. Новое поколение выбирает поганки. А раньше по эфедринчику ударяла. Но все равно ведь грибы мороженые.
- Ну и что? Мы их подварили. А на эфедрин сейчас знаешь сколько бабок надо?
- А что потом?
- Пошли в «Дельфин» пожрать, взяли мясо-гриль...
- И грибки в качестве гарнира?
- Ну слушай! Потом вышли, зашли во двор и там их съели.
- По многу?
- Штук по тридцать.
- Ни фига себе!
- Да они же маленькие. Потом вернулись кофе пить — чашка в руке как пластилиновая, сдавливается. Когда уже ночью к тебе шла, асфальт под ногами как проламывался, и какой-то треск с неба...
- Ясно — галлюциноген. Действует долго. А сейчас как?
- Нормально. Чаю дай.
- Попозже — вставать неохота.
- Я однажды, несколько лет назад, встаю утром с бодуна...
- Ты же не пьешь почти.
- А тогда с Камориным жила, все время с ним бухали. Ну слушай! И бабок нет, и воду отключили — и горячую, и холодную. Вижу полстакана чего-то стоит, отхлебнула — уксус. Камора орет: «Ошизела?!» «Скорую» вызывали.
- А с каким это парнем я тебя недавно видел — вы из твоего дома выходили?..
- Это Артур. Он на девятом этаже живет. Совсем безбашенный.
- Что значит «безбашенный»?
- Ну, заклинивает у него, особенно, когда бухнет. Один раз с автоматом на лестницу выскочил, стрелял по потолку и по двери железной. А в другой раз зашел в «шайбу» и стал в винном отделе выкладывать «лимонки» на прилавок...
- Ишь ты, какой матрос-партизан-Железняк, девять гранат не пустяк!
- Менты налетели, а он говорит: «Везите меня домой, а то все тут подорву!»
- Так дом-то ваш в пятидесяти метрах от «шайбы».
- Все равно отвезли.
- И что потом?
- Отмаксался, когда протрезвел. А еще один раз бухал у себя дома с Каморой и Мурзиком, а потом Мурзик ему квартиру обнес — дверь ногой вышиб, бабки взял, аппаратуру. Артур мне говорит: это точно твои. Ну, пригласил их еще раз, аппаратуру другую расставил, бабки при них доставал. И говорит: приходите завтра в шесть часов, бухнем, а до шести меня дома не будет. А сам с утра сел еще с одним другом и сидит...
- Видишь, какой хитрый, а ты говоришь — «безбашенный».
- Ну, а Мурзик, как мудака, опять лезет.
- И чем дело кончилось?
- Кинули его в багажник, отвезли в лес, постреляли по ногам. Мурзик потом все бабками отдал. И вообще так приссал, что к ментам сам сознаваться побежал.

— Зачем?

— Боялся, что Артур его все-таки грохнет. Артур потом и Каморина от меня прогнал, за то, что он Мурзика друг — вообще ему в нашем доме не разрешил появляться.

— А что это за деваха такая белая крашенная с вами была?

— Это ко мне Ленка приходила. Мы с ней вместе в училище учились. Все ныла, что подписалась на групповуху с двумя мужиками и бабой, а они ничего не делали, ей всю ночь за всех отдуваться пришлось.

— Так устала, что ли?

— Ничего, она привычная. Ко мне, как бухнет, всегда лизаться лезет.

— А ты что?

— Да пускай — жалко, что ли...

— А кто это у тебя дома теперь все время трубку выхватывает, говорить не дает?

— Живу сейчас с одним, сама его боюсь. А раньше никого не боялась.

— Так на что он тебе сдался? Денег дает?

— Ага. Кроче, блин, надо к Пашке ехать. Чай будет?

— Будет, Натаха, для тебя обязательно будет!..

1995

СТРАШНЫЙ СОН ПИСАТЕЛЯ ТЮШИНА

Размышляя впоследствии над причинами столь ярко приснившегося ему кошмара, писатель Тюшин отмечал две основных. Первая, и, вероятно, главная — продиктованный суровой необходимостью выход из очередного запоя. Причем необходимость эта носила физиологический, а не деловой характер, ибо каких-либо особо срочных дел у Тюшина давно уже не было. Тем более, его запои были не из того разряда, когда человек пластом лежит на диване в отключке, а затем, проявляя слабые признаки жизни, наливает стакан из стоящей рядом с диваном бутылки, втискивает его содержимое в себя, и, окинув комнату смутным взглядом, уняв дрожь, снова впадает в алкогольную кому (хотя в скобках следует заметить, что Тюшин, человек еще не пожилой — ему едва перевалило за сорок — в последние годы к подобной форме продвигался уверенными семимильными шагами). Но пока же во время запоя он вполне функционировал («подбрасывало» иногда чуть ли не в пять утра) — мог зайти в магазин и поинтересоваться, как расходится его последняя книга, мог даже посетить, скажем, редакцию журнала, чтобы вычитать корректуру грядущей публикации — не без тайной, правда, надежды присоединиться к ежедневной редакционной попойке (отметим опять же в скобках, что вышеуказанные заботы относятся скорее к прошлым годам, ибо в последнее время Тюшин почти ничего «своего» не писал, пробавляясь случайными заказными брошюрками анекдотов, а также газетными, солидно выражаясь, материалами, а попросту заметками «на тему», и все больше влезая в долги; а уж об издании чего-либо хотя бы из старых запасов нынче не могло быть и речи). В подобных скитаниях по городу писатель старался не разминуться ни с одним попутным розливом, пропуская по сто-сто пятьдесят граммов и добываясь при этом выдающихся показателей в суммарной дозе. Так могло продолжаться дней семь-восемь. На рекорд страны это, разуме-

ется, не тянуло, но Тюшину хватало. Разово полученные где-то деньги заканчивались, и в аккурат в это же время организм начинал подавать недвусмысленные сигналы своему владельцу о том, что алкоголя более не приемлет. Писателя раз по десять на дню выворачивало желчью, в голове пели ростовские колокола, сердце билось сильно, но с какой-то мерзкой хитрецей, с задержкой, будто перед каждым ударом ехидно задумываясь — а не остановиться ли мне прямо сейчас? — и ну к черту этого мудака... Писатель пару дней лежал в лежку, пия лишь воду, — и только к вечеру второго дня начинал полегоньку принимать пищу. А однажды дело дошло и до вызова неотложки.

Два этих мучительных дня разделялись, естественно, еще более мучительной ночью, и вот она-то обычно и заполнялась незабываемыми образами.

Как-то раз, например, писателю пригрезилось, что мир таинственным образом лишился свойства симметрии как такового — то есть ничто под луной уже не могло обладать собственной драгоценной осью, быть соразмерным и пропорциональным — ни строение, ни бабочка, ни человек. И вот на глазах окружающая действительность стала перерождаться, принимая все более фантастически уродливые формы — по-научному выражаясь, мутировать и, таким образом, идти к погибели. Но все же это было как-то не страшно, слишком уж мультипликационно, даже раскрашено в соответствующей гамме. Хотя при наблюдении эдакого зрелища становилось не по себе.

А в другой раз Тюшину приснилось, что с ним заговорил его кот. Причем заговорил нехотя, мимоходом, как бы и не желая иметь подобного собеседника. В том сне Тюшин куда-то торопливо собирался, что-то путанно искал, при этом вещи злонамеренно и целеустремленно расплзались по комнате. Внезапно серый кот Яша, не спеша проходя мимо раздраженно мечущегося хозяина, спокойно заметил об искомом предмете:

— Да вон там он заховался, слева, под диваном.

— Когда это ты научился говорить?! — остолбенел Тюшин.

— Слушал-слушал, как ты треплешься по телефону, и научился, — непочтительно ответил кот.

— Но откуда это «заховался»?

— Телевизор смотрю...

— Ну, Яша Котов, ну, манул ушастый! — только и выдавил писатель.

— Вот — опять обзывать, — отреагировал кот.

После этого сна писатель стал внимательно приглядываться к коту, находя его взгляд значительно более осмысленным, а физиономии более выразительной, чем у большинства своих знакомых. И даже в доказательство того, что «манул» вовсе не ругательство, образованный Тюшин зачитал Котову статью из биологического энциклопедического словаря: «Манул. Млекопитающее рода кошек. Длина тела около 50 см. Уши закругленные, ноги короткие. Шерсть длинная, желтовато-серая. Обитает в степях и пустынях. Живет в норах тарбаганов, расселинах скал. Питается грызунами».

Кот слушал, внимательно глядя хозяину в глаза, а в конце чтения повертел шеей, будто не понимая, какая все-таки была необходимость сравнивать его с лохматым коротконогим беспризорником, нагло вселяющимся в норы каких-то неведомых несчастных тарбаганов и жрущим всякую дрянь.

Второй причиной ночного кошмара Тюшин определил одну историю, услышанную им от приятеля-фотографа. Прямого или даже кос-

венного отношения к сну она не имела — скорее уж отношение ассоциативное.

Приятель Тюшина работал в морге судмедэкспертизы, куда доставлялись несчастные, которых постигла насильственная или внезапная смерть, неопознанные трупы, в основном бомжей, и тому подобные покойники, ушедшие в мир иной несколько не так, как предписано добропорядочным законопослушным гражданам. Соответственно и тела их в первоначальном виде часто не укладывались в траурные стандарты. Однажды Тюшин побывал в этом печальном заведении. Вызвать приятеля в вестибюль по местному телефону и обговорить дело без захода в недра морга не удалось. Тюшин открыл дверь и оказался в специфическом запахе, в длинном коридоре, у стен которого там-сям стояли каталки, с мертвыми телами и без оных. По обеим сторонам коридора шли раскрытые двери, ведущие в небольшие залы.

К писателю подошла молоденькая симпатичная санитарка, и он назвал, кого ему нужно повидать.

— Фотолаборатория в конце коридора слева, — сказала девушка и, взглянув сочувственно, спросила, слегка кивнув головой на ближайшую каталку, — как вы насчет этого?..

— Не очень-то... — откровенно признался инженер человеческих душ.

Но идти надо было, и он, опустив голову, пошел. Лишь раз Тюшин решился искоса взглянуть в сторону и проникнуть взором в боковой зал, о чем сразу пожалел. «Разделочная» — мелькнуло в голове. Впрочем, повидав приятеля и выйдя наконец на воздух, писатель ободрился и даже подивился собственной чувствительности. «Дело в привычке» — самооправдательно подумал он. Хотя пройти сейчас же этим коридором вновь — для обретения как раз привычки лицезрения столь нереспектабельного вида смерти — нипочем не согласился бы. В конце коридора у другого выхода, ведущего на улицу, в машину с фургоном грузили белые неоструганные гробы с неопознанными покойниками. Писатель вспомнил бесчисленно опубликованные воспоминания людей, побывавших в состоянии клинической смерти — длинный коридор, свет в конце него... «Вот тебе и свет!..» — подумал Тюшин, слабо взглянув на спорую работу двух грузчиков.

Так вот, сама история. С ткацкой фабрики в морг доставили тело девятнадцатилетней девушки. Фигура ее была очень хороша, а вот лицо... Судить о нем не представлялось возможным, ибо голова была разможена напрочь. Девушка стала жертвой того, что прекрасно вписывается в отечественные производственные отношения, Марксом не предусмотренные. Два полупьяных электрика, возившихся по своей части на эстакаде где-то под потолком цеха, уронили трансформатор прямо на голову работнице, стоявшей у станка. Итог — каменный стол морга с весьма необходимыми, а потому вдвойне омерзительными желобками для стока крови и других жидкостей.

Через несколько часов один из судмедэкспертов с некоторым содроганием, несвойственным для этого сорта железных людей, заметил, что между ног тела, ожидающего своей очереди на вскрытие, что-то шевелится. На свет был извлечен некий вибратор, именуемый «яички гейши», стоимостью в постсоветском сексшопе двадцать долларов США. Указанный предмет состоял из двух совершающих фрикции цилиндров, устанавливаемых одновременно в оба изнавающих отверстия и соединенных между собой поверх промежности. Видимо, с его помощью юная труженица, как могла, скрашивала нудные производственные будни.

Работал вибратор от батарейки, рассчитанной на двенадцать часов непрерывного функционирования, а потому размеренно продолжал усаждать свою хозяйку и после ее кончины.

Этот жутковатый случай вызвал в среде персонала морга хихиканье и шуточки — типа предложений сотрудницам забрать «яички» на пару дней для опробования. И именно его внутренняя формула: отсутствие любви — ее механический двадцатидолларовый суррогат — внезапная трагическая смерть — произвела на Тюшина столь неизгладимое впечатление.

Итак, достаточно утомив читателя предысторией вопроса, перейдем, наконец, непосредственно к описанию предмета.

В своем страшном сне Тюшин увидел себя в однокомнатной квартире, отдаленно напомнившей ему квартиру покойного отца, но словно в зеркальном отражении. Свет был погашен, за окнами зияла полная тьма. Но все же что-то можно было различить, и Тюшин узнал женщину, находившуюся с ним в квартире.

Женщина эта была ему знакома, но никогда никоим образом не занимала ни его мыслей, ни какого-либо практического места в его, громко говоря, судьбе. В инженерно-технические времена Тюшина, когда он только-только, будучи молодым специалистом после окончания института, приступил к труду в НИИ и проявлял некоторое первоначальное служебное рвение, ее перевели к ним в группу, чтобы, может быть, сделать еще одну попытку найти ей хоть какое-то применение. Принадлежала она к так называемому разряду спихотехников — на любое поручение умела искусно находить десятки отговорок и весомых причин, чтобы его не выполнять. Вскоре все в группе это поняли и почти оставили ее в покое.

Ей было лет тридцать пять, и она казалась юному Тюшину старой. Тем более, что относилась она к тому типу женщин, которые до пожилого возраста канают под девочку: кудряшки более рыжие и упругие, щечки более наруганные, а глазки более накрашенные, чем следовало бы. Плюс вечная радостная улыбка, даже во время неприятных разговоров с начальством при спихивании очередного производственного задания. Плюс интеллект на уровне советской эстрадной певицы. Короче, Тюшина она всегда раздражала, а как ее звали, он не вспомнил ни во сне, ни уже проснувшись. Хотя неординарная ее фамилия в памяти все же всплыла — Дырец. Он еще в свое время иронически размышлял — не является ли она потомком именитого французского рода Де Рец (был среди них, кажется, и кардинал, и еще кто-то в том же роде).

А тут, в темной квартире, бывшая сослуживица поспешно раздевала Тюшина, и ему это было удивительно и сладко. «Как же я раньше не понял — это любовь! — пронзило его, — да, несомненно любовь!..» Между тем ее суетливость несколько настораживала, и, как всегда бывает во сне, дурные предчувствия не обманули. Не закончив дела, прервав торопливый жаркий шепот, она внезапно кинулась открывать входную дверь.

— Кому ты открываешь?! — вскричал Тюшин.

— Это идут свет чинить, — отговорила Дырец, открыла дверь и после этого пропала совсем.

Вместе с хлынувшим из коридора светом в квартире появилась странная разношерстная компания.

Первым вошел молодой человек в железнодорожной фуражке и, по возможности пряча взгляд, сразу же стал возиться с электросчетчиком. При этом Тюшин ясно почувствовал и, как говорится, «сквозь железо» увидел, что интересуется путьца вовсе не счетчик и не электричество как таковое, а он, Тюшин. Свет тем не менее зажегся.

Следом появилась полная старушка с добрым широким лицом, в переднике, и, взглянув искоса на Тюшина, заняла место у плиты. Тут надо заметить, что комната к этому моменту уже обрела вид безразмерной коммунальной кухни с огромной кирпичной плитой, покрытой толстыми листами чугуна, со множеством заслонок, вьюшек, еще каких-то дверок и прочих приспособлений. Плита топилась, и старушка с ходу принялась на ней шуровать. Напрягшись, Тюшин даже во сне определил, что плита эта — видение из его раннего детства на Дровяной улице.

Тем временем на дощатом крашеном полу кухни возник ползающий голозадый младенец. Пригладившись, Тюшин с содержанием обнаружил, что ребенок старается изловить розовую лягушечку с потрескавшейся сухой кожей, которая пытается спрятаться, судорожно зарываясь в кучки мусора, там и сям разбросанные по кухне. Старуха, будто прочитав мысли Тюшина, бросила от плиты через плечо:

— Поймает, оторвет лапку и ест, да еще соли просит!

Следующим персонажем оказалась девочка лет тринадцати-четырнадцати, красивая, но неухоженная, с манящим взглядом светлых очей. Стараясь не встречаться с ней глазами, Тюшин обратил внимание на какое-то животное у нее на руках — типа морской свинки или маленького барсучка, с белой в рыжих пятнах, грязной, свалывшейся до войлока шерсткой, и с негодующим взглядом темно-коричневых бусинок. Тут же Тюшин брезгливо почувствовал, что зверек уже сидит у него на руках и при этом визгливо делает ему возмущенный выговор — во-первых, за то, что прежде Тюшин чем-то обидел девочку, а во-вторых, чтобы он не смел держать его, барсучка, на руках.

Тут в квартире появились новые действующие лица — самые, пожалуй, неприятные.

Два плотных молодых человека среднего роста вошли как хозяева, весело огляделись и даже, как показалось Тюшину, успели перемигнуться с железнодорожником, старухой, девочкой, младенцем, барсучком и лягушечкой. Потом они окинули Тюшина ироническими взглядами — теми, которые жесткими, лишенными сантиментов людьми обычно адресуются всяким интеллектуальным придуркам и прочим подобным бесполезным существам рода человеческого, и спокойно приступили к делу:

— Ну, рассказывай все, что знаешь!

— А что я знаю?.. — опешил Тюшин.

Во время всех этих событий, нужно заметить, равномерно нарастало его раздражение от понимания того факта, что весь этот спектакль, этот театр абсурда — от бывшей змеи-сотрудницы до молодых, но опытных дознавателей — устроен с одной-единственной целью: вывести его из себя, надсмеяться над ним для начала, а затем, может быть, и сотворить кое-что похуже... А потому вместе с раздражением нарастал и ужас Тюшина.

— Рассказывай, рассказывай! Нам все известно! — в соответствии с принятой ментовской логикой угрожающе подступали незваные гости.

— Пошли вон отсюда! Все!! — собравшись с духом и понимая, что шаткое равновесие ситуации бесповоротно нарушается, закричал Тюшин, — пошли вон! Подлецы, комедианты!..

И, как водится, проснулся.

«Что же такого страшного было в том сне?» — спрашивал себя Тюшин впоследствии. Ведь не резали его, не душили, — даже до битья дело не дошло.

Он попробовал было литературно записать сон, чтобы тем самым избавиться от него, но вышло как-то бледно, анемично. «К бумаге не прилипает», — решил писатель.

И все же, что ужасного-то?..

...Да, вероятно, то, что был этот сон обнаженной моделью нашей жизни — с ее воспоминаниями о кухонном детстве, с ложной любовью, о которой и вспоминать-то стыдно, с вечной необходимостью давать отчет каким-то людям, якобы имеющим некое врожденное право его требовать, с корыстолюбивыми нимфетками, младенцами-олигофренами, розовыми лягушечками, грязными барсучками, с непреходящими страхами, страхами и прочим, и прочим...

Когда Тюшин проснулся, над лицом его висел истощенный комар и никак не мог приладиться толком.

Взглянув на потолок высотой два пятьдесят пять, нависший над головой, на уродливое грязноватое облако, ползущее за окном, писатель вдруг заплакал, хотя никакой необходимости в этом не было.

Александр Кондратов

ИЗ КНИГИ «БУРА-ЭКСЫ»

ПРОЛЕГОМЕН

«Я помню чудное мгновенье» —
и — «с Божьей помощью уеб»?
Двуличье? Недоразуменье?
На Пушкина пустой поклеп?

Он был и бражкин, и пирушкин,
и так сяков, и сяк — таков.
В любви блядушкин душка-Пушкин
(но не порнограф, не Барков!).

Любя поэзии пирушку —
кто тень набросит на нее?
Читатель, нам примером — Пушкин!
(Свою любимую — уеб!)

ПОРИЦАНИЕ ПОРУЧНОГО ПОРОКА

Баб	«Рук	Так
нет,	трул —	тут
нег	три	сбит,
хат...	уд!» —	лют,
Мат	влез	гуд.
тут,	бес,	зуд.
там	пес	Сыт
мат.	грез.	уд!
уа —	Ход	«Стыд!
в пуд!	вниз,	Блуд!» —
Гуд.	ход	свой
зуд.	вверх...	суд
Как	— Бых,	дал
тут	твист!	люд,
быть,	...Эх,	чтя
люд?	грех!	уа.

САДИК ПО-КУЗМИНСКИ

Видик:	...В адик
садик.	цадик?
Цадик,	Гадик
педик.	педик?
Задик —	Следик —
кладик	вредик?
(педик	...Бредик!
Эдик).	ЛАДИК!
В садик-	Педик —
задик	Эдик.
педик	Педик —
следик!	цадик.

КОНСПЕКТ РОМАНА «ПОРНО»

Я — к ц.,	Я в п.
к ц. — п...	П. — е!
А ц. —	
не е!	О, е!
	Ее
Я — к б.,	е, е,
не ц:	ее!
«Б. — Д.	
Д. е!»	Я в п
	и в ж.
Б. — Д.	я б.
Д. П.	в ж. — е!

МИНЕТ (венку сонетов)

<i>I. Сонет</i>	<i>II. Жаннет</i>	<i>III. В лорнет</i>
Сонет: сюжет (скелет — макет).	Жаннет. Портрет: цвет- самоцвет!	В лорнет весь свет: помет (замет) примет пинцет.
Жаннет. В балет. В лорнет — корнет!	Браслет. Жакет. Нет, полусвет!	Ланцет анкет -- лорнет Жаннет!
Обед. корсет раздет...	Сует карет свет.	Балет.
Корнет минет Жаннет!	Этикет Весь свет — в лорнет!	Жаннет в лорнет балет.

IV. Балет

Балет.
Мотет.
Октет-
виньет!

Терцет.
Фальцет-
кларнет...

Нет, нет,
нет,
пируэт!

Нет,
менуэт:
в лорнет —
сосед!

VII. Корнет

Корнет.
Одет
в колет.
Стилет!

Брегет.
Аскет?
Кокет?

Деа
Поликлет:
атлет
корнет!

Жаннет:
«Брюнет!..»

X. Обег

Обед-
банкет!

Нет,
винегрет!
И нет
галет.

Омлет.
Рулет.
Лангет.
Паштет.
Ранет.
Шербет...

Клеврет-
клерет!

V. Сосед

Сосед —
эстет.
Клевет
клеверт.

Скелет!
Жилет.
Берет.
Фальцет.

Под цвет
манжет
цвет
спирохет!

В дуэлет —
поэт.

VIII. Брюнет

Брюнет...
Газет
завет —
в клозет!

Бюджет
монет —
в буфет
(кювет).

Билет —
в балет,
в свет,
в полусвет...

С Жаннет —
дуэт!

XI. Клерет

Клерет-
букет!
Плед.
Тет-а-тет...

Подсвет —
под цвет.

Корнет:
«Жаннет!
Хребет —
в кисет?

Пакет
надет,
лафет —
корсет!»

VI. Поэт

Поэт.
Берет.
Дуэлет
манжет.

Дублет
штиблет.
Вельвет...
Валет!

Нет, нет,
поэт
(как нет —
эстет).

В лорнет —
корнет!

IX. Дуэт

Дуэт:
Жанлет —
брюнет
корнет.

Жаннет —
в лорнет.
Корнет:
«Мой свет!»

Жаннет:
«Кокет!»

Корнет
в ответ
Жаннет:
«Обед!»

XII. Корсет

Корсет —
на-нет!
Корнет
раздет...

Жаннет
привет:
«Минет!»

«Минет?» —
Жаннет —
глазет...

«Клозет!
Хамлет!
Минет, —
о, нет!»

XIII. О, нет!

«О, нет?» —
корнет,
раздет,
— «Минет!»

— «Нет!»
— «Тет-а-тет!»
— «Бред, бред!»
— «Минет!»
— «Во вред...»
— «Секрет!»

Корнет
Жаннет:
«Минет!
Минет!»

XIV. Минет

«Минет!
Коль нет —
нет
и Жаннет!»

...Атлет
Корнет.
Жаннет —
минет...

И нет,
нет «нет»...

Минет,
сонет!
Сонет-
минет!

XV. Магистрал

Сюжет:
Жаннет
в лорнет
балет...

Сосег.
Поэт.
Корнет.
Брюнет.

Дуэт.
Обег.
Клерет.

Корсет.
...О, нет?
— Минет!

КЛАУМВИСУР

1. Факты акта

Она:
— Ого!
А он:
— Ага!
Она — того,
а он:
— Га-га!
Она:
— Ни-ни!
А он:

— Но, нно...
Она:
— Они!
А он:
— Оно!
Она тогда
ему — ее...
А он туда
в нее —
свое!

2. Согласие

Я — ее,
я — ея...
Ею я
у ея.

Е ее,
е, е, е...
Я ее
е, — ее!

3. Ночное бдение

Е,
е,
ее
е.
Е
ее,
е...
Е, е,
е ее,
е
ее,
е!

ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЕРКА

...7 ночей идет возня...
Похотливо 7-еня,
хохотливая 7-ерка
7-енит к 7-ейной норке.
«7-га!» — крики в темноте...
Хоть 7-ерка в тесноте,
не в обиде 7 проныр.

7 ночей отгрохал мир,
7 рассветов... На восьмом
7-афорит старший гном
всей 7-ерке: «СТОП, МАШИНА!»

Нет жены. В 7 аршинах
7 гномовых бород
(В-7 7-и закрыли рот),
7 слезинок покатилося:
«Ах, 7-я, 7 „я“ разбилось!»

Видно б падо всей 7-ерке
7 невест — по каждой в норке,
гномов 7, 7 жен, — по-русски!
7-икратная нагрузка
в-7 вредна, где рвется — тонко!
Человек — не 7-итонка
и перенесет 7 «я»
лишь тибетская 7-я.
7-иречь ж — не Тибет...

7 раз повторю тебе:
«7 мужей — жене издевка,
без просвета 7-дневка,
не протянешь 7-летки,
если 7 мужей... А детки?
Даже гномы в 7-дневку
в 7 ночей сгубили девку...»

*Мой совет в-7 девам прост:
важен уг, сов-7 не рост.
И давно известно в-7:
уг у карлы — наших 7!*

«БОРДЕЛЬ ЛЕ ДРОБ» (перевертень о пережитом)

Любовь Натана

Волос солов,
око —
лал...
О, то —

НАТА! Натан
ее
лапал,
еще

как
ее
лапал и лапал
Натан, —
еще
как!
Рвет, евр,
соки кос,
пуп
ее
лизал. Лазил,
хитр, тих,
и лизал. Лазил и
еще
лизал. Лазил
и дур гири, груду,
лапал.
Натан,
лапал, лапал,
еще и еще

лапал...
Но уду он —
шиш!
Тенет
УАУ
тесен, несет
оно, лоно...
«Оп!» — миг?... «ИМПО»
уау.
Лазил и лизал,
лапал и лапал...
А натану Ната на
шиш!
Нежен
Натан,
да ад
УАУ —
шиш,
тенет
уау!

Любовь Отто, киника

Отто,
киник,
а лег на ангела,
ЮЛЮ.
И — прет! Асса, асса!.. Терпи!
Тел переплет
да зад
как
лал...
Диво — вид! О, диво — вид!
Латал
ЮЛЮ,
еще
как
латал
ее,
ЮЛЮ,
киник
Отто!
Стонала... Но — тс!

Укатал. Атаку
вел как лев:
дуб — уа
латал
ЮЛЮ
мечем,
мором
латал
ее,
ЮЛЮ.
Мала? Деву ведал: «ам!»
Еще и еще
Отто,
киник,
латал
ЮЛЮ.
Еще и еще
ее
латал, латал,
латал...

Моя любовь

Я — слабее ебался.
На виду диван,
да ад, —
гомон... Но — мог!
Копал у ДЖЕМЬИ между лапок,
лапал

ее,
лапал,
яря
себя... Бес,
дуй, уа!
Или

мат там?	Сунь!.. Ну-с?
Еще	Хер — орех!
копал у ДЖЕМЫ между лапок,	А щель — леща
еще	Пустит, суп
лапал	УАУ
ее,	даст, сад
еще и еще...	оно, лоно...
А, — вот!.. О, готова!	Дуй, уа!

Любовь вялого Боба

Боб	пиш!
у курвы в руку	Бал слаб:
лично кончил.	Боб
Дала лад	у курвы в руку
АЛЛА,	лично кончил.
еще	А баба
как	(Или
мадам	мадам?)
АЛЛА	АЛЛА
дала лад	себе бес:
уау!	ало гола
Как?	она, но
Нога — загон	оно, лоно,
УАУ,	пусто... Вот суп:
еще —	Боб
куры рук.	у курвы в руку
	лично кончил,
А кусала, сука,	дал так, кат, лад
и думала: муди,	УАУ.
теребя, берет...	И течет, и
Пиш,	течет
мадам,	вода гадов
АЛЛА,	у курвы в руку...

Р — РАЗНОСТИ

Алка (суффиксалка)

Элка — целка (Элку жалко).	не дразнилка аль русалка —
Елка — телка. Нэлка — белка.	зря бутылку не доилка!
Милка — спалка, а Наталка —	
что вставалка — недавалка.	Обнималка, прижималка,
	танцевалка — заводилка.
Галка — грелка да бурчалка.	Не вертелка — раздевалка,
Стелка? Мелкая рыбалка!	волновалка-волховалка.
Нолка — пчелка, комсомолка...	
АЛКА — наша выручалка!	Возбуждалка-обещалка,
	пылка! В трюгалку пуссалка:
Челка. Щелка — что фиалка!	неумная хотелка,
Хохоталка, поддалалка, —	безотказная давалка!

Палку щелкою хваталка,
зажималка-запихалка:
Как моталка молотилка,
дабы палка не скучалка!

Белка! Прыгалка-скакалка!
Неспускалка, нескончалка,
содрогалка, поглощалка...
АЛКА — СОКОВЫЖИМАЛКА!

Сладкая жизнь (редубликация)

Любил Петров гуль-гуль
но Невскому топ-топ,
бутылочку буль-буль
по рюмочке шлеп-шлеп.

Еще любил цып-цып
манить, зовя «кис-кис»,

чтоб вечерком рып-рып
ручонкою вниз-вниз.

Гуль-гуль с цып-цып — будь-будь!
Бу-бух в постель, марш-марш...
А поутру — муть-муть:
на службишку арш-арш!

Погвиг Анисимова

Анисимов — с.
Анисимов — ппак!
Анисимов из...
Анисимов, — так!

Анисимов — шпок!
Анисимов — маг.
Анисимов — бог:
Анисимов — СМОГ!

Проблемный брахиколон

Фалл
мал?
Коль
встал,
стал
ал
фалл —
лал.

Есть
фалл?
Пусть
мал, —
в страсть
ал...
КТО Б
ДАЛ?

Страсти сладостраства

Монстр чувств —
пестр реестр!
Гирлянды дурынд:
майорш-командирш,
поповн-ехидн,
квакш, гейш-маникюрш,
боярш-паникерш...

Пикантш-музыкантш,
комедиантш, секретарш,
швейцарш, комиссарш,
призерш-бригадирш...

Аптекарьш, жонглерш,
гастролерш-книгонош,
патронш, билетерш,
учительш, курьерш.

Партерш-инженерш,
кастелянш, управдомш,
инструкторш-кликуш,
потаскунш-помпадуриш,

плакунш, казначейш,
имитаторш-милуш,
кондукторш, малярш,
ораторш-копуш...

Султанш-министерш,
литераторш, лифтерш,
гигант-парикмахерш,
редакторш-чинуш,

Аккомпониаторш,
премьерш-котюмерш,
профессорш, провизорш,
кассириш, прокурорш...

Реестр блудодейств
Тать девств.
Сладостраст.

Монстр чувств.
Монстр злодейств...
Отвратств страсти —
страсть!

Брахи-диалектика

Ах!	Так —
Бог —	жизнь:
Уд,	как
фалл:	фалл:
вмиг	кто
смог,	встал,
прыг —	кто
встал!	пал.
Не	Пал,
смог,	встал...
вял —	Все —
спал...	муть!
Ох,	Есть
плох,	фалл?
лег	фалл —
фалл...	суть!

«-ЕК» О ГОМИКЕ (цепочка)

Катышек,
пупырышек,
воробушек-подросточек!
Человечек-
сверстничек,
оладышек-монашек!

Лапоточек,
рыжечек,
в подарочек — пупочек!
Цветочек-
сосочек —
кусочек на часочек!

Молоточек-
камушек,
ножичек в замочек —
а следочек —
дождичек
в мешочек-совочек.

Кольшек —
в желудочек
чик-чик-чик без точек...

Гомичек,
разбойничек-
получеловечек!

Владимир Симонов

АНТИКВИС

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ

I

Месяца три назад на площади, где раньше была булочная, открылся магазин «Приобретаем старину».

Мощеную, а теперь заново мощенную брусчаткой площадь, неуютную до ремонта, с домом с кариаидами, у которых от речного сквозняка был вечный беспорядок то с платьем, то с фигурой, надолго оставили в разрытом состоянии, похожую на уголок военного города на мелкой черно-белой картинке отрывного календаря с почти обязательными — на обороте — стихами из азербайджанских поэтов. Ходить стало невозможно, и тетя Женя жаловалась, что сегодня обязательно упадет, да и мудро было не упасть, во всяком случае, удержаться от мысли о падении, бредя по скользким, шатким мосткам, то, растопыря руки, съезжая по обледелым кучам щебенки.

Но зато стало тихо, все перешло на пеший ход, пока не нагнали невесть откуда огромных — просто бронтозавров каких-то — экскаваторов и бульдозеров. Грязно-желтые, яростные, они снова принялись за истерзанную площадь, рыча, дымя и медленно замахаясь скрипучими клешнями то друг на друга, то на безобидных прохожих.

А булочной все гордились не случайно — из-за красивых изразцов с листьями и бугонами вокруг входа, хотя изнутри она была самая обыкновенная, с каменным полом в крапинку и мраморной плиткой в кассе, посреди которой, выскребая мелочь, пальцы покупателей оставили глубокую ложбинку.

И — вот вам. «Приобретаем старину». Изразцы ободрали, фасад перекрасили. Особенно возмущалась тетя Женя, ей вторила тетя Леля. Феликс же молчал: внутренне он был согласен, но ведь и всему свое время, все вокруг меняется, да и «Приобретаем старину» тоже звучало неплохо, а когда он прочитал в газете объявление, что «Нева. Арт Антиквис», то окончательно проникся и решил зайти.

Внутри «Приобретаем...» было пасмурно, как и за стеклами витрин, пусто и никакой особой старины (видимо, приобрести еще не успели). Больше всего магазин напоминал «канцтовары», только в дальнем углу стоял столик, худосочный, но за роскошным музейным шнуром, шелковисто провисшим между никелированных стоек.

Феликс не удержался и, медленно подойдя, сняв на ходу перчатки и скрестив руки внизу живота, как в церкви, когда отпевали маму — она настояла, а отец был так сломлен, что постоянно ходил с подернутыми

блестящей пленкой глазами и на все молча соглашался, — коснулся шнура костяшками, даже провел, перегнувшись и словно разглядывая, но тут же отступил, из приличия спросив, сколько стоит вещь — ценника еще не выставили. «Не знаю, я не из этого отдела», — ответила продавщица с необычайно худым лицом, пересчитывавшая тетради. «Но ведь там никого нет», — улыбнулся Феликс. «Детский мат». Конечно, он мог не пройти, но Феликс не зря был профессиональным психологом.

На мгновение оторвавшись от своего занятия, продавщица зыркнула в угол: «Не знаю, говорят...» — и назвала сумму. Феликс поблагодарил и, ошарашенный, вышел.

Впрочем, когда он вечером рассказал об этой вопиющей и немыслимой дороговизне соседу во дворе, тот только рассмеялся, и Феликс подумал, что ведь и правда — как посмотреть.

Да, профессиональным. Но вообще до своей настоящей профессии он так и не докопался. Шевелились внутри какие-то насекомые усики, улиточки сяжки, но на поверку все оказывалось не то, и, устроившись со времени переезда на Галерную в институт, Феликс так там и сидел, а когда подросла Катька и пошла в школу на Круштейна, круг, а вернее, треугольник — «бермудский», так Феликс шутил на работе — замкнулся. Все было рядом, рукой подать.

Институт помещался в старинном особняке, невысоком, с большим бульжным двором — так и мерещились толпящиеся у подъезда кареты, — окруженным глухой стеной с бюстами античных персонажей поверху. Задний фасад выходил в садик, скрытый продолжением все той же ограды, а в угловой двухэтажной башенке занимал мастерскую художник, выставлявший свои железяки ржаветь прямо в саду.

На работе Феликс ближе всего сошелся с переводчиками, постоянно дымившими на черной лестнице, и хотя и посмеивался над их возмущением, когда им приносили что-нибудь вроде «согласно договора», но они были славные ребята, и потом надо же все-таки отстаивать справедливость, пусть даже в ерунде.

Квартира на Галерной была большая, с изумительным видом на липы и на Неву, с деревянной лестницей, доставлявшей множество неудобств тете Леле и Ирине, из-за коляски, но Феликсу нравилась эта, с широкими ступенями и крепкими резными перилами лестница, она была своя — своя больше, чем квартира, чем двор с липами, между которых сушились на протянутых веревках — совершенно как у Цилле! — дамские панталоны: прабабушкины, бабушкины, мамины и дитя; своя — почти как Катька, с которой он ездил гулять взад-вперед по бульвару Профсоюзов, поправляя подаренное на день рождения кашне и улыбаясь, отчетго обозначалась глубокая ямочка на подбородке.

Оплетенная соломкой ручка коляски желтела в свете фонарей. Дочка сопела, полускрытая бахромой и кружевами, и ее хотелось съесть. В конце бульвара ломано темнели деревья Александровского сада, но до сада они не доезжали, а сворачивали в широкий, державный переулоч, выходящий к Неве, загроможденной льдинами. Небо над Васильевским было сизо-алым. Они сворачивали и по набережной двигались к дому.

«Арт Антиквис» между тем расширялся. У Феликса вошло в привычку заходить в магазин и наблюдать перемены. Кстати, что до привычек, то ему их в жизни не хватало, а стало быть, не хватало и второй натуры. Вот и приходилось выдумывать то одно, то другое — все эти приятные маленькие хлопоты, паузы, оправдания. Первой была трубка, которую

он по совету одного из переводчиков обкуривал с помощью пылесоса, потом пробежки по утрам в странной, подобранной совместно с тетей Женей и Лелей экипировке, потом — попытки быть строгим с женой, на что Ирина, растопырив по-кукольному короткие полные ручки, взирала презрительно-ласково и не реагировала.

В углу, где прежде одиноко стоял столик, чтобы обособить собственно «Антиквис», возвели помост, низенький, но все же возвышавший антикваров над прочими отделами. Стены обили синим бархатом. Только в служебное помещение так и не навесили дверь, а ограничились какой-то непотребного вида занавеской, в представлении Феликса напоминавшей занавес провинциального театра, где до сих пор дают Островского и водевили. «Не могли уж!..» — досадовал про себя Феликс.

Среди остальных отделов был уже упомянутый канцелярский, отдел всякой ерунды: псевдовьетнамских панно, мокроступов и радиоприемников, и — «Антиквис». Продавцов в нем было трое — явно главный, широкозадый, узкогубый, стриженный бобриком; молодой, со светлосальными патлами, постоянно почесывавший за ухом, и задумчивая девушка с безвольными славянскими губами.

Они то дружно исчезали, то так же дружно появлялись, сгруживались у прилавка и начинали тыкать в разложенные на нем бумаги, вполголоса о чем-то шипя.

Феликс ходил, поглядывал, и ему все чаще начинало казаться, что вот она, его истинная профессия или, наконец, правильно найденная привычка, хотя отношение к выставленной на безжалостное обозрение старине у него было двойственное. Сам он вряд ли решился бы что-нибудь приобрести, ведь все это были чужие и старые вещи, пахнущие пылью, и чтобы они стали действительно твоей стариной, должно было смениться несколько поколений, и, быть может, только дети или дети детей...

И все-таки телефоны с треснутым диском и лежащей рядом, отдельно, костяной ручкой и разрисованные фаянсовые цапли — манили, так что Феликс даже решил посоветоваться с одним из своих приятелей-переводчиков, конечно, обиняками, мол, один знакомый, которому поднадоела своя работа, хочет...

Кроме них, на черной лестнице никого не было. Приятель, с внешностью даже не татаро-монгольской, а какой-то таежно-шаманской, выслушал, поглаживая редкую бороду и слегка улыбаясь уголками губ, и, не поднимая глаз, но теперь уже улыбаясь глазами, начал издали, но постепенно предостережения его становились все грознее: «Если уж вы попали в эту машину, то... Там такие люди, что...»

Впрочем, в качестве знатока Феликс и сам уже успел оконфузиться, подарив Ирине акварельку, из дешевых конечно, чем-то похожую на Цилле: отбач, задрав хвост и выпучив глаза, удирала по сельской местности от преследовавшей ее осы. Ирина, однако, почти сразу заметила подозрительно раздутый собачий живот и высказала предположение, что та не столько убегает от осы, сколько мчитсь поскорее справиться нужду, — и все это с обидой, с закипающими слезами. Кончилось тем, что Ирину пришлось задабривать, акварельку повесили в сортире, а над Феликсом еще долго, ядовито посмеивались.

Площадь отремонтировали, бронтозавры вымерли. Расширяясь в коммерческом смысле, «Антиквис» становился все теснее. Этому способствовала въехавшая в большом количестве тяжелая мебель, жалюзи и двойные решетки на окнах, молчаливые милиционеры с обтянутыми тельняшками грудями.

Однажды вечером Феликс по обыкновению зашел взглянуть, не появилось ли чего новенького. Покупателей было мало, в отделе — никого. Милиционер курил в приоткрытую дверь, отчего особенно были слышны снова бегавшие по площади, раскатываясь с моста, трамваи, и Дворец Труда сумрачно заглядывал в щель, куда уплывал дымок милицейской папиросы.

Феликс разглядывал попугай, маленький, должно быть, детский, в хорошем состоянии и не очень дорогой, и непроизвольно думал, что хорошо бы такой Катьке, которая с упоением, под ритмичное хлопанье Ирины пиликала на своей четвертушке, но мысли эти мешали чистоте созерцания. В последний раз окинув взглядом вещь, Феликс медленно двинулся дальше вдоль прилавка. Милиционер, высунувшись, плевком погасил папиросу и вразвалку вернулся в зал.

За занавеской — ее так и не сменили — произошло мгновенное невидимое движение, и в отдел вышла девушка, которую Феликс видел впервые. Желтый свитер болтался на худых плечах, волосы, прямые, черные, падали на восковое лицо с родинкой у края губы.

Поскольку облик Феликса был явно неклиентурный, она скользнула по нему безразличным взглядом и, пройдя в смежный, совсем поприжавшийся в угол канцелярский, заговорила с продавщицей — той самой, у которой Феликс спрашивал про столик.

Разве мог он тогда знать, что это будет их самый счастливый вечер?..

Две кошки, дружно сгорбившись, лизали недоеденное, растекшееся по земле мороженое. С утра обещали некоторое солнце, было такое, но к вечеру опять затянуло, похолодало и пошел мелкий снег.

На брандмауэре, высоко, под самой крышей (мелькнула тень всегдашнего — как удастся?) было жирно выведено «Жак Татлян» и — сердце, и было тоскливо, что не дотянуться, не исправить, ведь он точно помнил, что не Жак, а Жан, хотя кому какая разница, да и память — пишущая машинка за стеной, когда Ирина брала халтуру, — выстукивала теперь иное, и Феликс с радостным отчаянием вспоминал, как позавчера пришлось выдумывать какую-то ахиною, чтобы выйти пораньше, да еще идти проходным, чтобы ненароком не встретить тетю Лелю по пути из новой булочной.

Раньше он любил этот скверик с фонтанчиком в полукруглой нише. Плети дикого винограда висели, как старая проводка. Но теперь нечего стало любить: от скверика осталась только скамья. Феликс примостился на ней с краю, откуда были видны большие квадратные часы над остановкой и дверь магазина. И даже если бы ему теперь сообщили, что он выиграл миллион, от чего раньше Феликса пробирал приятный холодок, хоть он и хватался притворно за голову, делая вид, что потешается над примитивностью вопросов, бездарностью участников и пошлостью ведущих викторины, — скверик вряд ли бы снова показался ему райским уголком.

Да, теперь он понял, что милицию ставят не зря — именно от таких вот, как он, маньяков. Теперь он ходил в «Антиквис» каждый день, понимая, что его не могут не запомнить, не заметить. В магазине стало словно еще теснее, некуда деваться. Он изучил ее всю, но каждый раз поражался заново, видя ее за прилавком или ее двойниц — в витринах Dior'a, хотя в жизни, если так рассудить, она была страшенькая, но даже из-за этого, насквозь поражающего изумления он не ходит не мог.

Дворничиха скребла лопатой по асфальту. Жуткий звук. Конечно, заметили; конечно, запомнили. И ему было стыдно себя, как-то неловко,

как когда он недавно ходил к лору — прочищать уши — и та, зажав ему нос, заставляла быстро повторять: «также, также, также»... То, иногда, он внутренне бунтовал — ведь существует же Декларация человеческих прав, значит, и он, Феликс, имеет право переходить улицу по зеленому светофору, право заходить, стоять и смотреть, удивляться и испытывать радость и страх.

Впрочем, что такое, собственно, радость? Это когда подходит пустой автобус, и садишься, ни о чем не думая, а просто радуясь, отдельными штрихами проступают какие-то мысли. Автобус плюс радость.

Да, это было, когда зимой ездили с Генрихом на кладбище к маме. А до того заходили в церковь, стояли слева, у оконца, за которым синели сумерки. Подходили, оставляли записки Богу живых, и, словно нарочно, образ расположился в уголку у оконца, через которое можно незаметно выскользнуть, выпорхнуть. Свечи падали, но почти незаметная старуха подправляла, и тускло блестело распятие.

Вообще на кладбище лучше ездить одному, как и слушать музыку, но Генрих не мешал — говорил что-то о заводе, но выходило так, что как будто и не о заводе, а о маме, распорядился термосом, сверлил, дыша на пальцы, и клей тек из просверленных для новой таблички лунок...

Он стал следить и раз видел ее выходящей по ручку с толстозадим, а в другой — ее провожал после обеда какой-то парень в шинели, с этюдником, и, нажимая звонок, она послала своему провожатому воздушный поцелуй. Феликс наблюдал это из телефонной будки напротив. Так кто же для кого — кто?! Она для Феликса — диоровская картинка? Для молодца с этюдником — Нелька? а он для нее — ветер?

Зуб на зуб не попадал. Потянулся с работы народ. Цилле! Цилле! Цилле! Феликс увлекся им между сигарами и бегом, но это увлечение не проходило, только если прежде ему доставляло удовольствие разглядывать карикатуры, где все было так знакомо, то сейчас жизнь навалилась, густо дыша в лицо, огромной карикатурой: горбились тупые, хмурые оборванцы, два звероподобных полицейских волокли упирающуюся шлюху, толстозадые девчужки шли — «Дружно!» — готовые обойти весь мир, и развевались юбочки, стояли, руки в боки, старухи в пудовых шлепанцах с ночными горшками, слезали с постаментов увечные натурщицы. Последним шел, ковыряя в носу и подтягивая помочи, мальчишка с дохлой крысой — за хвост. И каждый был в своем. По уши, замороженно свой.

Феликс взглянул на часы. Пора!.. И еще: он знал, что она садится на кольце троллейбуса, ходит в черном берете, когда холодно, и в черной широкой шерстяной повязке, когда потеплее. Так мало и так бесконечно много!

Недоброе предчувствие закралось, когда, подходя, он заметил, что «Антиквис», наподобие полузатонувшего корабля, освещен как-то лишь частью, хотя из дверей продолжали выходить, а главное, заходить люди.

Заглянув сквозь витрину, Феликс все понял. Доторговывал канцелярский, а в антикварном свет был погашен, помост огражден стальной ширмой — «по техническим причинам».

Животная определенность желания даже порадовала. Хотелось кофе. Он чуял его запах, видел маленькую, пузырящуюся по ободку чашку.

Кафе на Театральной раньше называлось «Снежинка». Добавили интерьера и открыли снова. Тут варили для театралов и будущих музыкантов, варили вкусно.

Робко начавшийся снегопад незаметно перешел в крупные сырые хлопья, залеplявшие очки.

Она сидела в углу, одна за столиком. Феликс даже испугался, как если б увидел экспонат из «Антиквиса» без охраны. Он не стал заказывать кофе и, понимая, что это дико, сел за тот же столик и молча стал смотреть. Она сделала движение — встать. Берет, во влажных бисерниках, лежал рядом, на стуле.

Уже несколько недель готовясь к разговору, Феликс обзапасся массой вариантов, но теперь было не до того, важно успеть. «Вы любите старые вещи?..» — взмолился он. Лицо у нее сразу поскутнело, но она не встала, а Феликс продолжал говорить, как тот профессор — он любил покупки, и вот недавно купил телевизор, и в первое же включение в кадре появился покойный профессор из их института, то есть где Феликс когда-то учился, и ведь будто специально подобрали — издавались, что ли? — с того света, сидя у камина, профессор говорил, разводя руками и словно сам подсмеиваясь над тем, что здесь называл серьезным и защищал с пеной у рта. «Вот вы не помните, наверно, такой мультфильм — „Ежик в тумане“?..» — «А вы тоже в тумане?» — спросила она, и тут он словно отелился и заулыбался, заулыбался, кстати, в институте его улыбку дамы в шутку называли чувственной.

II

«Там, зажги!» — тихо сказала она, не поворачиваясь. Спала, как всегда, у стенки, носом в коврик. Но зажигать было и не надо, просто она сонно перестраховывалась, хотя голос был дневной и сказано внятно, раздельно.

В комнате стоял уже светло-серый сумрак, так что, скосив глаза, он видел ее затылок, черные в сумерках волосы и острые, худые позвонки из-под сползшего одеяла. Сквозь решетку виднелось под крышей соседнего дома горевшее всю ночь ровным желтым светом окно без занавески.

Осторожно откинув одеяло, Феликс спустил на пол одну ногу, другую, сел, посидел чуть-чуть. Она вздохнула, немного пошевелилась и затихла. Он еще посидел, встал — скрипнули пружины, сделал шаг к столу, пошарил на ощупь и первым делом сбил лежавшие на краю очки. Они упали беззвучно. Феликс нагнулся, поднял. Не разбились. Палас пах по-детски, съедобно.

Он положил очки побезопаснее и снова стал шарить по столу, вглядываясь: салатница (ах, уж эти ее кулинарные порывы!), разнокалиберная посуда. Налил, чтобы не слышно, по краю, выдохнул, выпил и так же осторожно лег.

Теперь можно было лежать, пока все внутри устанавливается, разглядывать полуприщуренными глазами комнату — блики на боку и поднятой крышке рояля, который вообще непонятно как сюда втиснулся, букет на столе — подарок тети Лели.

Белел рисунок на стене: зайцы, прыгающие между цветами. Один знакомый говорил, что все дети в этом возрасте — гении. Боже, как это было давно, и слезы навернулись от тоски по этим прохладным, осенним, шуршащим прогулкам, по выставкам с зайцами в пустом фойе кинотеатра «Космонавт».

Вот только окно — какой-то совершенно не нужный фонарь на пустыре — мешало, но от молчавших вещей исходила такая тишина,

что он доверился ей и словно поплыл, несомый плавным течением, на спине, уронив на ласковый палас руку, зажавшую дужку очков. «Все будет хорошо, и никуда она завтра не поедет».

Окно скоро погасло.

На Галерную, на день рождения тети Лели мы ехали в первый раз — я, жена и дед.

Раньше я бывал исключительно на днях рождения тети Жени, а ее был в январе, на Васильевском.

Узкий двор, где почти вплотную стояли строгие, темные поленницы, укрытые тускло освещенным, но ослепительно искрящимся снегом. Попетляв между ними, причем все время было страшно, что все это снежно-деревянное вдруг рухнет, поднимались в квартиру на пятом этаже. Там жила тогда тетя Женя и тетя Леля с дочкой Ирой, еще подростком. «Пух!» — говорила тетя Мица, развезжая в кресле.

Перед тети Лелиным днем рождения дед заехал к нам, чтобы отправиться вместе. Отчасти по его просьбе я вез записи маршей — у Феликса был магнитофон. Дед хотел заказать такси, на самом деле попросту шикануть, но все решила погода — листва, май, щебет — и поехали на трамвае.

Мы с женой сели впереди, дед расположился на сиденье сзади. Чем ближе подъезжали, разговор сам смещался в сторону родственных воспоминаний. Я начал рассказывать про теток жене еще и потому, что она немного стеснялась — все-таки в первый раз, почти смотрины, и оттого часто смеялась, даже когда ничего особенно смешного не было.

Подправляя меня, дед, в свою очередь, вспоминал архивные анекдоты из семейной жизни. Этим он напоминал дядю Мишу, который, кстати, специально приехал на несколько дней из Казани — у тети Лели была крутая дата.

Трамвай обогнул сад со стелой, повернул на мост. Солнце ударило в окна, вспыхнуло на никелированных поручнях. Я невольно взглянул в сторону порта, в сторону этого слепящего света, но тут же зажмурился, отвел глаза: две высокие белые трубы — главные ориентиры этой части острова — высились над подворьем подлава, а ведь когда мы только познакомились с женой, была всего одна, и я банально подивился, как быстро летит время, но на деле оно летело еще быстрее — стоило переехать мост, и я перенесся с ночного Васильевского тети Жени на тети Лелину залитую майским солнцем площадь.

Показывать квартиру нас повели дружно, всей семьей. А до этого были шумные объятия в прихожей, лобызанья и слезы. Уж во всяком случае тетя Женя никогда не могла удержаться и сейчас тоже, пыхтя позади всех, застревая в каждой двери, утирала уголки глаз скомканным платком. Катка путалась под ногами.

Чем дальше, тем мне больше здесь нравилось. И сама квартира, похожая на запутанную шахматную позицию с антресолями, а до нее — шелестящим предисловием — двор и лестница с широкими, пологими ступенями и соседской утварью на площадках: лоханки, санки, палки от гардин. Все напоминало дачу, загород, такой закуток, мимо которого можно ходить всю жизнь, и не подозревая о его существовании. Жене, похоже, тоже нравилось. Она незаметно прижималась ко мне плечом, когда все скапливались у очередной двери и неожиданно, вместе с влажным мыльным запахом, вспыхивал свет, отражаясь в кафеле, который по случаю достал Феликс.

Потом, когда наконец уселись и началась тихая возня с салатами и пирогами, прерываемая просьбами, кашлями и морозным звоном фужеров, я заметил, что гостей, как таковых, и не было — одни свои, но стол, поставленный во всю длину большой комнаты, казался тесным: родня отличалась дородностью.

Место в центре занимал дядя Миша, и не только как нежно любимый младший брат, но и по праву неутомимого говоруна и анекдотчика. Человек цирковой, с просторной плешью, остаточными каштановыми завитками, липнувшими ко лбу и вискам, и маленькими, вечно смеющимися глазками, он одно время работал директором казанского цирка, но настоящей его ареной были банкетные столы, там он оттачивал свое искусство бобового короля, и, когда его находили в пироге, тот, кому так болезненно повезло, застывал с вылупленными глазами и разинутым ртом, поддетый очередной пронизательной шуткой дяди Миши.

Тетя Женя не уступала брату тучностью. Чтобы она могла войти в комнату, приходилось обязательно открывать вторую створку, лицо и руки у нее были сплошь в мелких темных родинках, но смеялась она, как и Михаил, заходясь до слез, откидываясь на спинку и отмахиваясь руками от накаляющегося смеха, и это она к каждому торжеству пекла и говорила, что получается все хуже, а получалось все лучше, — ардатовские пироги, Ардатов — так назывался тот приволжский городок, и вдруг — война, белый фартук сестры милосердия, и разбитая баржа с ранеными под Кронштадтом, сестра, тетя Леля, тоже была пловчиха хоть куда, но больше — из этого мира, потому и прижила дочку, говорили — в купе, говорил дядя Миша, но у него из-за вечной цирковой кутерьмы выходило не обидно, дочку, а дочка — внучку, и умерла позже сестры, хотя та доплыла, пусть вода в заливе, а до берега оставалось километра три, была в сентябре и холодная, грязная и лезла в нос и уши, и комиссар Кафельников был — уф, доплыла!..

Курили в комнате Феликса. За столом он больше отмалчивался, улыбался приплюснутыми овечьими губами, но, услышав про марши, оживился. Объявили антракт, и застолье стало шумно разваливаться.

В комнате у Феликса было прохладно, окна открыты, и загородом уже не пахло. Бежали по мосту трамвайчики, и здание Академии, залитое вечерним солнцем, похоже было на огромный песочный торт.

Феликс включил магнитофон, я заправил пленку, но звук не шел. Пришлось развернуть тумбу, и, протиснувшись в образовавшуюся между ней и книжным шкафом щель, Феликс присел на корточки и стал тыкать контакты. Поскрипывали бобины, беззвучно шуршала пленка. Время от времени показывалась недоумевающая голова Феликса.

«Ну вот, кажется, будет», — сказал он напряженно, возникшая в очередной раз, — губы сжаты, невидимые руки продолжали хирургическую возню, — и нырнул опять.

«Трам-там-та-рам!» — вдруг и, как всегда неожиданно громко, по комнате пронеслось мощное дыхание духовых и звон фатальных литавр, на мгновение все преобразив. Под потешные звуки марша преобразенцев и суконно-серьезные — семеновцев, закурили. Я из любопытства взял попробовать дяди Мишин казанский «беломор». Феликс мечтательно пускал дым в потолок и вполголоса задавал вопросы: что? кто? когда?

«Ну потише же сделайте! Что вы, право, как мальчишки», — возникла на пороге Ирина, кукольно округлив глаза и растопырив руки. «Да дайте же послушать, черт возьми!..» — вскинулся Феликс. «Нет, марш

Преображенского полка...» — сказал он, когда Ирина, снисходительно и ласково на него глядя, вышла, и вновь принял мечтательную позу, полузакрыв глаза. В последнее время он стал восторженно-криклив и как-то странно брезглив: замечал грязь там, где не стоило, скажем, на выключателе торшера. «Но ведь берешься же постоянно рукой», — успокаивала Ирина. Дядя Миша с дедом молча послушали любимое и незаметно исчезли, и теперь их голоса доносились из столовой вместе с обмирающим смехом тети Жени.

Перед тем как слушать вторую сторону, Феликс, извинившись, вышел и вернулся с графинчиком на корочках. Потом выяснилось, что мы абсолютно ничего не знаем о Цилле. С особенным, вкрадчивым видом человека, которому предстоит порадоваться заодно с другими чему-то, что им пока неизвестно, Феликс достал из стеллажа альбом...

Нет, что может быть гениальнее пляжа, где каждый самозабвенно погружен в себя, ни на кого не обращает внимания и ничего не стесняется: и бородач в полосатом трико, на мостках, тычущий пальцем вдаль с видом Колумба, и по-циркового задравшая ногу девица — носок оттянут, — обеими руками схватившаяся за ляжку, и визгливая собачонка на поводке у тихо писающего малыша, и слипшиеся пары. Упоительная, дивная пошлость! А рядом — фото: Вальтер, старший, в мастерской, с виду серьезный — бобр, сигара, очки — срисовывает какой-то гипс в окружении полуголых сиволапых шлях.

И снова — пляж, и обыватели, и мусор, и ничего не забыто, и мне вспомнилось, как Феликс, еще женихом, приезжал к нам на дачу. Вот уж где было раздолье для дяди Миши! Сидя на почетном месте за столом на веранде, он смеялся до слез, вытирая их платком, который разворачивал медленно, бережно, будто в нём завернута заветная краюха. «И вот смотрю, — осторожно приступал он, — какой-то молодой человек увязался за Иркочкой, а она уже километра на три в море... Вижу — выходят. Он весь синий и представляется: „Феликс“. Я полагаю, говорю, у вас, молодой человек, серьезные намерения...» И он грозил Феликсу пальцем. Сидящий рядом Феликс улыбался, как кот, которому чешут за ушами.

После обеда, когда стало попрохладнее, пошли на пляж. За невысокой плотинкой, с которой мы ныряли, ручей разливался, образуя запруды с обрывистыми песчаными берегами в темных лунках ласточкиных гнезд. Дядя Миша предлагал желающим пересчитать складки у себя на животе, предварительно сделав это сам. Все пробовали, и у всех вышло меньше.

День рождения Феликса был через месяц, и нас, конечно, пригласили.

Усадив деда в такси, мы с женой вернулись во двор и долго целовались в тени под липами — там, где она была гуще, и так, что я ободрал костяшки пальцев о кору, а через день в бывшем «Мире» был куплен подарок Феликсу — толстый альбом Цилле.

Еще не проснувшись, он почувствовал, по пустоте рядом, словно лежал на краю чего-то высокого, что она ушла. Осторожно подвинул локоть, шевельнул ногой — ушла.

Охватило тоскливым, муторным ужасом. Проснуться вот так — беззаконие! — посреди разворошенной чужой жизни, которую и знаешь-то, в общем, только с одной, маленькой стороны. Ему даже незачем было открывать глаза, чтобы восстановить эту комнату с ее лимитным, вечным неуютом: похожий на головку чеснока абажур, образок в углу

и будильник с отвалившимися колокольчиками. Петька отбил. Но он не хотел, хотя и проверил наличие подробностей, быстро открыв и закрыв глаза, — не хотел тянуться мыслью дальше, в сумрачную, недостижимую чужую память.

А его-то жизнь? Тут что-то не стыковалось. Феликс попытался вспомнить вчерашний день — то, что должно было быть: гости, пироги, дядя Рудя. (Он не знал, что вчера, незадолго до того, как мы собрались выходить, позвонил дед, взволнованный: «Феликс ушел. Тетя Женя прямо плачет. Столько всего наготовили!..») Но не вспомнилось — как можно вспомнить то, чего не было? — и стыдно не было тоже. Что стыдно не будет, он понял еще вчера, когда утром увидел грязь на выключателе, серую, с липким отпечатком пальца. Картинка больно и близко придвинулась, и грязный отпечаток из вещественного доказательства обернулся мыслью: я здесь, а что — я здесь, если меня здесь почти нет? А у нее был хороший усатый муж, по субботам и воскресеньям строивший дачу в Шапках, о которой она говорила с отвращением.

На электричку, слава богу, успела, в последний момент. А то пришлось бы толочься на вокзале, где она всегда теряла чувство уверенности и самообладания. И электрички до Шапок нет.

В поезде было тесно и холодно. Еще бы, если — в июне! — снег, даже ногти посинели. Хотелось спать. Тоже — ничего странного, после такой ночи. А хочет она ехать или нет, она и сама уже толком не понимала. Хотя всю ночь мучилась. Так вот, значит, так вот.

Мужик справа жался, приходилось постоянно отодвигаться, но все равно — успела, и то хорошо. Вот только денежку надо было ему оставить, что ли, или хоть записку.

И соседи дома как назло. Уже успели поругаться, а досталось мальчишке. Хорошо бы швырнуть тещин букет, подумал Феликс, подойти вот так, голым, к окну и швырнуть за решетку.

Но только мелькнула мысль, как он увидел: вот он встает и выбрасывает. И подкагила тошнота, замерло сердце, будто в груди — пусто и воздух ни туда, ни обратно. Что-то дикое творилось: вещи оборачивались мыслями, а мысли — вещами, своевольными и опасными, как утром бритва в трясушей руке, — обретали вещественную силу.

Буровя насквозь ненадежную тишину, зазвонил телефон. Захотелось спрятаться с головой под подушку. Соседка прошлепала по коридору и несколько раз оглушительно постучала. «Нету!» — крикнула, шмякая трубку. Под мышками пробежали холодные струйки.

И тут его взяло зло. Почему? Па-чи-му?! Сев, Феликс подождал, пока отпустит тошнота, качнулся к столу, вырвал цветы из вазы, капая, подошел к окну, с трудом протиснул — попробуй «швырни»! — сквозь решетку и толкнул. Букет, рассыпавшись, упал прямо под окном, будто положили, а потом убежали. Загадочное приношение усам.

В туалет он так и не отважился, решил дотерпеть до скверика. Заглянул в бумажник. Это называлось: деньги на торт. Да, в день изобилия. Дверь комнаты упиралась во входную, так что тут — без проблем.

...Холодина! Пока он шел до моста, казалось, что все на него смотрят, причем на ноги. Феликс не выдержал, скосил глаза: все в порядке, только как-то подозрительно поддувало. Точно — на правом носке, сбоку (прожег, что ли?) зияла дыра. Пришлось как можно ниже оттянуть брючину и так и держать.

У ларька за мостом пили пиво, негромко разговаривали. Феликс допил вторую кружку и, леденя мыслями, окончательно понял, что виноват и не есть ему больше ардатовских пирогов, но надо идти. Только вот Шапки — с какого вокзала: Московского? Варшавского?

Тоже, нашли черную лошадку! Он вечно злился, когда она так говорила, и она знала: потому что это выражение мужа, но она не виновата — само срывалось с языка. Как объяснишь?

От станции шла одна. Только бы не дождь, хотя у них здесь песок. Но, наоборот, прояснилось и потеплело. Во всяком случае, когда она поднялась из ямины, куда спускалась дорога, ей стало жарко и она стянула черную шерстяную повязку, вытерла влажный лоб. Теперь недалеко.

Но чем ближе она подходила, тем сильнее мучала досада. На себя, на все. Пусть свекровь варит ему эти ши-борщи, ей-то какое дело!

Две высокие ели, поворот. Дом открылся весь сразу — столбы веранды, большой нелепый сарай с недоделанной крышей. И огород.

Она замедлила шаг. Донесся стук молотка, и она будто увидела — как он сидит там на чердаке, на корточках. Свекровь с кастрюлей, накрытой полотенцем, показалась из-за угла и на ходу, подняв голову, что-то крикнула наверх.

ОСТРОВА ЗЕЛЕНОГО МЫСА

В прочие дни мы ходили кататься с дворца.

Ступени забило утоптанном снегом, так что только слегка подбрасывало, но кататься можно было.

Обледеневшие полосы выглядели на сером полотне лестницы темно-серыми, тускло блестящими, как если поелозить карандашом по оберточной бумаге.

Мама в полосатом платке приглядывала, прохаживаясь между колонн, чтобы согреться.

Катались на красных пластмассах-сердечках, похожих еще на попу и помидор. Крутило, но главное было не подсовывать пальцы — об этом объявили в метро.

Трамваи, еще ходившие вдоль Лебяжьей канавки, теперь редко перебирались через Кировский мост, поскорее сворачивали к кольцу на Конюшенной, а если и перебирались, то шли в обход — по Куйбышева, по пустынной Чапаева, по старой памяти позванивая на Монетных, и дальше — туда, туда...

Было скользко, и все ходили чуть покачиваясь, взмахивая руками и трясая головой, как китайские болванчики.

Вчера мальчишки отодрали от лесов широкую доску и стали кататься на ней. Но в доске оказались гвозди, они царапали лед, и кто-то пропорол руку.

Гвозди заколотили, с такой силой колошматя каблуками, как будто это гвозди виноваты, и продолжали кататься.

Конечно, на доске было веселее, чем на наших помидорах. Как-то раз я все-таки подсунул пальцы, но тут же выдернул. Ничего не случилось, только сердце захолонуло.

Снег вокруг дворца был серый, как небо, и чуть побелее — в Летнем саду.

Когда трамваи начинали ходить — у рабочих наступал перерыв, — мы тоже собирались домой.

Утро давило, как шуба, которой не было. В парадной — тьмища, черт ногу сломит. Все лампочки повыдергали. Черт-то, конечно, не сломит, а вот ему — гляди в оба.

Стародетский шел сгорбившись, упрятав нос в воротник.

Трамвая дожидаться не стал. Постоял, правда, немного. Потоптался, поглядел на кладбище за низкими широкими воротами, тихое, темное, на тетку в ярко освещенной диспетчерской, размахивавшую какими-то ведомостями, и пошел так.

Какая там шуба! Раньше шинелька на голое тело и — вперед. А теперешние вообще без шапок и рукавиц. Руки подоткнут в рукава, будто покрой специальный, или как в цирке клоуны, и выходит, как в рукавицах. И голову при этом кверху, гордо — вот, мол, я в тапочках по морозу. «По морозу босиком к милому ходила...» Перемелется! А ну как нет?

Ночью снился так называемый сон о квартире, но не страшный.

Он свернул на Средний. Перед академией солдаттики иссекали лед. Тоже — толку мало. Ледашки блестели, плевки. Хорошо с утра поразмяться, и не холодно им.

Часы на бане с одной стороны не шли. И пусть: кто подогадливей — разберется, обрадуется. И вообще, зачем на бане часы? Да. Впрочем, если подумать, может, здесь свидание кто назначит? Надо...

А повадку эту их мальчишечью он изучил по девчонке с лестницы. Имени не знал, но ходила она как раз так — осанисто — и с ним почему-то здоровалась.

Хотя теперь — какая она девчонка, началось-то года три, ни с того, ни с сего: так, на ходу: «здрасте!» — он даже опешил. А через три года, небось, и ухажеры появились, стала стесняться: увидит — и на другую сторону. И ему неловко: он бы сам перешел, но тогда опять же не разминуться. Словом, ерунда какая-то. А глаза у нее — желтые, как у волчицы.

Ладно, бог с ней, с баней. Он и так всегда выходил пораньше: пройтись, газеты проглянуть. И сейчас, в слепом свете фонарей, посмотрел на всякий случай. Но газеты висели старые — ключьями, с выцарапанными глазами. И ведь клеят же. Правда, странные какие-то расклейщики. В бахилах, капюшонах, рукавицах, лица не видать, как с гражданской обороны.

Пусть. За пазухой лежал сверток свежих. Прочитает в тепле. Плохо только, что Запрудный не понимал.

Отец меня еще тогда отговаривал, и, как я сейчас понимаю, правильно.

Просто это был какой-то микроб, вроде кори или ветрянки, постоянный внутренний зуд, но мне ужасно, непреодолимо, мучительно хотелось стать суворовцем или нахимовцем. Кем именно — я колебался, втайне все же склоняясь к синим нахимовским мундирчикам, да и само здание училища так великолепно голубело в солнечные дни на другом берегу Невы.

Сам кадровый офицер, отец, однако, проявил совершенно непонятное мне упрямство и даже, когда разговор заходил о моем будущем, держался более мягко, увещевал, а не приказывал, как обычно.

Может быть, тут сказалось то, что он был хоть и военным, но врачом, а это несколько иная, чуть более интеллигентная среда — об этом я мог

судить по его курсантским стихам: «Мне душно в кубрике матросском...» — по навещавшим его приятелям, их шуткам и напиткам. Но закатывал же он, уже после демобилизации, телефонные истерики, стоило мне забыть поздравить его с каким-нибудь военным праздником, хотя бы с прорывом блокады, в котором он ни сном, ни духом не участвовал и в Ленинграде тогда еще и не жил.

Компромисс нашелся сам собой. Учился я в спецшколе, и каждый год, месяца за два-три до выпуска, имея на прицеле наиболее перспективных, к нам приезжали вербовщики из Военного института иностранных языков, что в Москве. К чисто военному, таким образом, лестно примешивалось и нечто дипломатическое. Разговоры с этими плотными, лысоватыми мужчинами происходили по-мужски, тет-а-тет в кабинете директора.

Состоялся такой разговор и со мной, и с моим приятелем Дягловым, и мы дали согласие.

Дома, в школе пошли разного рода намеки и обиняки, но я относился к ним как бы между прочим (отец больше не противился, приняв мой выбор с каким-то благостным одобрением, когда молчаливо-серьезным, когда выражавшемся в довольном похохатывании). Единственной занозой, болезненно отравлявшей радужную даль, засела у меня в памяти медицинская комиссия, проходимая всеми в положенный срок согласно уставу. Там была толкучка, воняло хлоркой, и надо было становиться на чмокавший под босыми ступнями зеленый губчатый коврик, за которым сидела старуха с «беломором» и быстро оттягивала всем трусики.

Здесь нас было немного, никаких ковриков, и, не успев оглянуться, мы получили результаты освидетельствования.

В Москве — поселились на квартирах у родственников, которых у меня было даже больше, чем в Ленинграде, но, впрочем, это не суть важно, потому что уже на следующее утро нам с Лешей позвонили, сообщив, что на период экзаменов мы будем жить в институтских казармах, где надо быть к десяти тридцати, вещи и все прочее.

Сдав вещи в каптерку, мы вошли в душно гудящий актовый зал, но едва успели усесться, как все вдруг разом стихло и (до сих пор не могу себе этого объяснить) нас вместе со всеми словно подбросило — только стулья, откинувшись, загрохотали, и мы, дружно, всем скопом проорав нечто вполне уместное, получили разрешение сесть.

Погода стояла прекрасная, и мы с Дягловым предпочитали, поскольку готовиться особой нужды нам не было, сидеть во дворе, рядом со стендами, изображавшими способы отдания чести. Однажды совсем рядом с нами по плацу прошел старичок генерал — начальник института — и, остановившись посреди плаца и тоже, по-видимому, радуясь хорошей погоде, негромко, но внятно сказал: «Из кривого сделаем прямого...»

За краснокирпичными стенами между тем, лежа на и под другом, наши соседи по комнате вслух долбили биографии Герцена и Гоголя, а потом, обессилев и раскрасневшись, падали, раскинувшись, на койки и кто мечтал о скором ужине, кто вспоминал родные места. Я никого из них не помню.

А в канцелярии разносила по кабинетам бумаги Линда. Удивительно уже само по себе то, что имя это придумалось у нас с Дягловым мгновенно и без вариантов: — Линда! — словно искра проскочила. «Сосуд наслаждений» — не знаю более точного образа. Глянцевитая и шелковистая, в простеньком, лопающемся на ней платье. Как тянучка.

Не знаю и что тайлось в этом сосуде. Думаю, ничего особенного. Было даже непонятно, замечает ли она, облизанная сотнями взглядов, замечает ли она их, замечает ли нас. Словом, это была классика, и мы облизывались.

Шел дождь. Леша подо мной, кажется, дремал. Соседи долбали Чернышевского.

Я глядел то на потолок, то в окно и думал, что не мы одни и вообще мы не одни, но было одиноко, а главное, пытаюсь читать взятый на случай переводной роман, все время утыкался в одно и то же место — и никак не шло дальше, — где она мгновенно разлюбила его, когда гуляла под дождем по набережной и он плюнул в Сену.

А на завтра опять распогодилось, и, сидя между стендами, мы с Дягловым всерьез обсуждали план побега. В невысокой и тоже красного кирпича стене было выщербленное, уступистое место, где в сумерки, забрав вещи или черт с ними, можно было...

Впрочем, обошлось без индейств. Мы даже успели написать сочинение, получить за него пятерки и долго объясняли краснокожему офицеру в канцелярии, что хотим забрать документы.

Бумаги наши он таки выдал, но руки не пожал и только посмотрел в спину. В тот же день мы дали инфарктную телеграмму родителям: «Передумали поступаем филфак» — и на завтра укатили обратно в Питер.

Адью, Линда!..

Военкомат доживал последние дни. Уже на подходе к нему Стародетский чувствовал это так же несомненно, как и то, что военкомат погибнуть не может.

У трансформаторной будки, плотно вжавшись между ней и стеной, мутно виднелась старуха, как часовой, уперев клюку впереди себя. На вешалке в гардеробе Стародетский приметил лишние, незнакомые шинели — немного, но опытному долго ли разобратся. Спрашивать не стал и, пригладив перед зеркалом жидкие, зачесанные назад волосы, медленно пошел вверх по вытертой красной дорожке. Из круглых тусклых окон под потолком падал крутлый тусклый свет. Последний раз, когда был в кабинете у военкома, заметил, что и кабинет как-то поголеу: только торчали на столе три толстых карандаша в стаканчике с олимпийской символикой.

Раньше было веселее: призывы, медкомиссии, пахло хлоркой, галдели призывники, и чем больше галдели, тем легче было разглядеть, кто на что горазд, что кого ожидает, кто гоношится попусту, а кто молчит не зря.

Никицихина с выкаченными глазами стояла, расставив ноги, и Запрудный тыкал перед ее низеньким курносым лицом какую-то записку.

— Вы мне схему нарисуйте, Валерьян Василич, названия, — не в первый, похоже, раз повторяла Никицихина.

— Так я ж тебе схему и рисую, милая ты моя, — сказал Запрудный, увидев входящего Стародетского, и подмигнул ему: — Садись на Маяковской, а выходишь на Гостином, на Сенной.

— С Маяковской — на Сенную? — теперь Никицихина влоботорта обратилась к Стародетскому. Тот раскладывал на столе газеты. Помялись немного, но ничего.

— Значит, одну остановку проехали, — Валерьян Василич уже начинал выходить из себя, но ему это как будто нравилось, — переходишь к Гостиному, Казанский-то собор ближе к Неве, ну?

— Спасибо, — сказала Никищихина прочувствованно, всеми своими веснушками.

— А теперь забирайте вашу конструкцию, — Запрудный сунул бумажку Никищихиной, и та, выходя, но постоянно оборачиваясь и приостанавливаясь, не умолкала:

— У меня тетка когда-то на Гороховой жила, на одной площадке с Союзом композиторов, брак неудачный, через Москву сделали обмен, переехали в какой-то город, сейчас не вспомню, как она — в Казахстане столица-то еще?..

— Ну ее к ляду! — выдохнул Запрудный, как только за Никищихиной щелкнула дверь. — Пойду покурю. Лицо его, и без того медное, горело, и ярко белела над верхней губой скобка седых усов — словно пил пиво и забыл вытереть пену. — Да, — вдруг без перехода и с каким-то уже совсем иным выражением обратился он к Стародетскому, стуча о ладонь папирсой, — слушай: сегодня иду утром, а на столбе, возле катка, объявление, мол, потерялась собака, кобелек, хромает, одно ухо болтается, трусоват. Все наружу — лишь бы нашелся, а?!

И уже в дверях:

— Сегодня ж комиссия. За границу. Ну, это быстро, там их человечков пять-то и пропустить, шмендриков.

Снова я оказался в Москве уже с женой, когда она была беременная.

Сильно метелило и пока ехали, и все остальные дни. Но жене хотелось в Москву, она буквально бредила этим: заснеженными московскими переулками, сугробами, театрами, и мы поехали.

Однако гулять по городу, по заснеженным переулкам было тяжело из-за сугробов, из-за постоянно — как ни повернись — летящего в лицо и до боли в веках заставляющего щуриться снега. Поэтому решено было начать театральную кампанию.

Созвонились с родственниками-театралами, молодой парой, которые когда-то жили у нас в Ленинграде, и сама-то эта встреча уже почти забылась, и обещания — как только окажемся в Москве, поводить по театрам — тем более, так мне казалось.

Но нет. Реакция на звонок последовала моментальная, будто виделись только вчера, и через день мы уже пили кофе на кухне у Оли с Сашей, обсуждая, куда и на что.

Я рад был их видеть, как радуешься постепенно проступающему из безликой полутьмы снимку. В данном случае снимок был цветной: Ольга запомнилась розовым пятном, Саша — черным, и такими же, только — вот они, родинки, усыпавшие Олино лицо, вот она, внимательная Сашина бровь, — смеющимися и деловитыми, они проявились близко, отчетливо и домашне.

Собственно, обсуждали они, да мы и не вмешивались, разве пользуясь уютным правом высказать свои пожелания, даже если они тут же подымались на смех.

Все неувядаемо-бессмертное было категорически отброшено с самого начала. Когда же из поредевшего репертуара осталось лишь два варианта, а стороны становились все непримиримее и чуть не дошло до жребия, Вера жалобно сказала: «Давай лучше туда», — и мы мирно принялись допивать кофе.

Увидев толпу, я понял, что если мы вообще попадем, несмотря на все заверения, звонки, договоренности и клятвы, — это будет просто чудо.

Милиция дежурила у главного и служебного входов. По-прежнему мало, и оттого вся сцена еще больше напоминала эпизод неведомых народных волнений. Ощущалась напряженность.

Мы подошли робко, сбоку, боясь, что толпа затянет и тогда наш поход бог весть чем может кончиться.

Внимание у меня в подобных ситуациях мгновенно рассредоточивается, но именно благодаря этому я, наверное, и заметил рядом со служебным входом небольшую, никем не пикетируемую и не охраняемую дверь без таблички.

В этот момент она приоткрылась, некто похожий на рабочего сцены впустил из метели возникшую парочку и, воровски оглянувшись, снова прикрыл заветную дверцу.

Взяв Веру под руку, я быстро, чтобы не растерять на ходу куража и попасть в мелькнувший, слаженно нелегальный ритм, подошел к двери, кашлянул и дважды громко постучал.

Сработало. Однако народу внутри было не меньше, чем в воскресной электричке, под ногами — шоколадное месиво, и нам пришлось еще изрядно подождать, причем я все время непроизвольно искал глазами то розовое, то черное, прежде чем, разрешив свалить пальто в какой-то каптерке, нас запустили в зал.

В зале было невероятно душно, настолько, что даже не понять — то ли так душно оттого, что зал крошечный, то ли зал такой крошечный из-за невероятной духоты.

Публика, довольная, роптала. Вконец перекошенный Янковский метался по сцене. Пожарные свисали гроздьями, и я подумал, уж не началось ли.

Но вот свет стал медленно гаснуть, из глубины медленно выступила фигура в шинели, и под любимые звуки — «В лунном сиянье...» — действительно началось.

...Кто-то рядом снял рубашку. Краем глаза я постоянно следил за Верой и, когда увидел, что ей плохо, встал и за руку потянул в выходу. Мы шли, качаясь в темноте, наступая на чьи-то возмущенные ноги, кого-то отталкивая и извиняясь, а когда наконец оказались на безлюдной улице — ни толпы, ни милиции, ни родственников, — дружно перевели дух, совершенно счастливые.

На до обеда у него было две статьи. Одна приглянулась фотографией: старая актриса в молодости с ямочками и ресничками. Другая привлекла заголовком: «Русский японца одной левой одолеет». В ней тоже имелись фотографии, но какие-то не того.

Газеты, неожиданно для Стародетского, вдруг предстали ему совсем в ином свете, чем раньше. Из гладкого монолита они превратились в нечто сквозное — сквозь них ему виделась и собственная жизнь, и угасающий военкомат, и девочка с лестницы, и даже Запрудный. Они требовали внимания и сметки, вызывали разные чувства: неожиданной гордости, а иногда и неожиданного унижения, но это всегда было интересно, а потому — приятно.

Актриса, и в этом крылось потаенное удовольствие, напоминала (а поди кто догадается!) официантку из Дома офицеров, где прошлым ноябрем им выдавали почетные бляхи за Кубу и Индонезию.

Он пришел пораньше — мало ли, неувязки, — и долго охорашивался перед зеркалом, не для особого марафета — что ему? — а потому, что уж больно шикарное было зеркало (кстати, недавно читал, как с череповецкого завода угнали вагон зеркал). Старая работа.

Все здесь немного напоминало военкомат, но, включая эхо доносившихся с галереи голосов, было не в пример великолепнее. Пахло столовой.

На галерее толпились морячки-интернационалисты, покашливали и переминались. Кое-кого он знал.

Повспоминали. Начальство не спешило. Прибежал ответственный, смотрел на часы, говорил: «Уже выехали, выехали» — и снова убежал. В столовой, где и намечалось мероприятие, двигали столы и стулья. Стародетского направили в разведку.

Он, степенно сложив руки за спиной и «кхе-кхе» — вошел в столовую. Никто не обратил на него никакого внимания. Двое в тельняшках тащили ящик с водкой.

Он заглянул за голубую пластмассовую перегородку, на кухню, и нос к носу столкнулся с официанткой. Оба отпрянули. Официантка смотрела на Стародетского и «хлоп-хлоп» хлопала ресницами. Цель разведки стала неясна. Стародетский медленно развернулся и вышел.

«Порядок», — доложил он, вернувшись к своим.

Прочитав статью, он ничего не понял, даже — почему такое название. А вот про японцев — в точку. Просто никогда не приходило в голову, и теперь стало приятно, словно сам додумался.

«Зачем русскому, — рассуждал автор, — поднимать ногу выше головы, если японцу это сделать легче?» Верно! И дальше: «А теперь попытаемся суммировать и, так сказать, изложить основные принципы русского стиля (который, кстати, набирает все большую популярность на Западе). Во-первых: все подручные средства хороши, но не будь слишком агрессивен, иначе можешь получить по голове...» Ну, насчет агрессивности это не про него, а вот подручные средства — мысль: скажем, поставить в каждой парадной лопату, как бы между прочим, или вот ящички из-под картошки, если они крепкие и уголки обиты железом...

«Слыхал, куда их? — спросил, входя, Запрудный. — На острова Зеленого Мыса. Это где?» — «Не знаю», — ответил Стародетский, снимая очки и с трудом вникая в вопрос Запрудного. «Э-эх! А все читаешь. В Африке, сбоку там, в океане. Доктор сказал». — «В Африке, сбоку, — машинально повторил Стародетский и подумал: — А ведь там, небось, хорошо. Лежи — тихо, тепло — как на процедуре».

Сразу много-много знакомых вокруг, включая хозяина — театрального работника. Периодически они сливались, становясь незнакомыми, и я понимал, что это сон.

Сон происходил в мастерской работника, которую он недавно приобрел под офис, но по-прежнему работы — масло, акварель, все небольшие, чаще пейзажи, валялись ничком и навзничь на диванах, креслах, на полу.

Особенно красивой и удивительной была коллекция средств самозащиты. Одно из них — хитрую штуковину — хозяин показал мне, демонстрируя способ применения, когда мы столкнулись на зыбком повороте, прозрачно и бесследно поглощавшем присутствующих. Нечто вроде острого как бритва топорика, выскакивающего при нажатии кнопки. Тут я как раз не удивился, поскольку знал давнюю слабость владельца к перочинным ножичкам с перламутровыми ручками в форме рыбок.

Они плавали вокруг, и хотя мне нужен был электрошок, я первым заметил наводнение. Акварелька, изображавшая лесное озеро, плава-

ла — каплей в капле — в большой блестящей луже, выступившей посреди зала.

К тому же, кажется, начиналось и землетрясение. Хрустальные подвески бра и нескольких дам все сильнее подрагивали. Крики, давка, попытки подтереть воду и спасти имущество.

Я единственный не впадал в панику, понимая: опасности никакой нет, происходящее мне просто снится.

Она возникла, когда все стали собираться в театр, выходя из булочной, располневшая, но узнаваемая, в синих рейтузах и блузе, подпоясанной тонким ремешком. Не виделись мы целую вечность, и я был уверен, что не увидимся еще ровно столько же, но разговор завязался мгновенно и легко — словно фокусник продергивал сквозь кольцо свои пестрые платки.

Ехать в театр надо было на троллейбусе — из мрачного ангара с глухими воротами. Мы сели, продолжая без умолку болтать. Замелькала за окнами пасмурный бульвар с голубями, львами и фонарями в форме тех и других.

И вдруг, на повороте, троллейбус занесло. Он натужился, закрипел, едва не срываясь в кипящее внизу море, беззвучно бьющееся об Эльсиноровы скалы. Я оглянулся на свою спутницу — ее не было.

Я вышел и пошел к театру, томимый недобрим предчувствием. Да нет, вспомнилось мне, мы ведь так и договаривались, что я поеду на трамвае, потому что нога приболела и насморк, а она — догонит, пойдем пешком.

Времени до начала оставалась уйма, и я двинулся обратно, вглядываясь в идущих навстречу.

Амфитеатр обрывисто уходил вниз. Полутьма. Тип бегал по сцене, рядом — дамочка. Оба махали руками, и он то подтягивал белые брюки, то ерзал плечами в черной попоне пиджака.

Вид его подействовал на меня как запах нашатырного спирта. Сон начал стремительно мелеть, и я снова понял, что сплю, но на этот раз с ужасом, ведь это означало, что мы разминулись и я уже точно никогда больше не увижу ее.

Я плакал и чувствовал, что плачу, что подушка — мокрая. Урчало в животе, и я слышал, что урчит, как скрипят и хлопают двери во дворе. Я просыпался.

Минутная стрелка часов над военкоматом как застряла. В доме через улицу, где помещался магазин «Оптика», поблескивали очки, надетые на черные бархатные головы без глаз.

Докурив сигарету до фильтра, я трясущейся рукой прикурил от нее новую. Тоска. Накуриться бы до тошноты, чтобы из нога пошла кровь. Может, поможет?

Еще у меня были кое-какие справки о старых травмах, о двух правосторонних пневмониях, о последствиях операции.

Вся надежда — на терапевта и хирурга.

Да, в этот раз они меня достали. Повестки я, конечно, выбрасывал, но когда позвонили на работу — тут уже было не отвертеться.

Может быть, я и преувеличивал, все вполне могло окончиться службой в каких-нибудь экзотических странах, но мне было все равно. Я не хотел. Не мог и не хотел. К тому же теперь я знал, что обыкновение писать ночью в ботинок новичку распространяется и на экзотические страны.

Когда я уходил, Вера спала, свесив выпроставшуюся из-под одеяла руку.

Получив карту обследования, я двинулся в свой невеселый путь по пустынным коридорам военкомата, ориентируясь на стрелки из ватмана: лор, терапевт, окулист. Зрение у меня было стопроцентное.

Эта комиссия чем-то напоминала ту, давнюю, что мы проходили с Дягловым. Народу согнали всего человек пять-шесть, не считая вызванного по ошибке однорукого старика, и отобрать, кажется, надо было троих.

Терапевт и хирург разве что чуть дольше повозились со мной, беголо просмотрели справки и выписали «годен». Все они явно были раздражены (или мерещилось?), что их согнали сюда из-за каких-то пяти человек. Они позевывали, были благодушны, но непреклонны.

К двери «невропатолог» я подошел, как к открытому самолетному люку: внизу — леса, озерцо блеснуло. «Заходите».

Войдя, я неверной походкой двинулся к столу, за которым расположился лысый подтянутый старик. Сидевшая в углу девица посмотрела на меня с интересом. «Явный астеник!»

Дальнейшее: поднесение пальца к носу (мимо), «глазами за молоточком» и — тем же молоточком по колену (причем нога моя как-то сама собой подсакивала чуть не до потолка) было формальностью. «Не годен», удовлетворенно вывел в карточке старик, и, едва удерживаясь, чтобы не побежать, не полететь, я направился к главврачу — завизировать решение комиссии.

Оформляя бумаги, Стародетский мельком отрывался взглянуть на неудачника. Но по виду тот, как ни странно, казался доволен. Нет, он точно был доволен, да еще, небось, сам и закосил — теперь такие умники пошли. «Женаты?» — «Да, да, женат». Вот и поехал бы с женой, молодые, подзаработали, а главное, сбоку от Африки, тепло...

Помнится, уходя, я оставил развал: вчерашний чай на столе, разбросанные между чашек фотографии: почему-то взбрело на сон грядущий вытащить свадебный комплект. Вера даже хотела надеть фату, но я отговорил.

Поэтому, когда, сняв пальто и со счастливой улыбкой промывчав: «Живем!» — распираемый изнутри рассказом с подробностями, особенно про невропатолога — какой он был надутый и глупый, и похожий на дятла, я снова вошел в комнату, то едва узнал ее — так все было прибрано, как перед гостями. Даже Вера казалась принарядившейся.

«Представляешь!..» — начал я. «Пойду чай поставлю», — сказала она, поднялась и вышла. Я сел на кушетку, совершенно без сил и снова и снова с наслаждением вспоминая, как иду по коридору, перечитывая блаженное корявое «не годен».

Вера принесла чайник, достала сервизные чашки. «Ну?» — «Так представляешь?» — и я начал рассказывать. Вера слушала молча, хрупая печенью.

Она сидела спиной к окну, и я почти не видел ее лица, но вдруг почувствовал, что слова повисают в воздухе, как дурацкие улыбающиеся космонавты, и что вообще все словно не сейчас происходит, а вспоминается: «А жаль, что тогда не поехали», со слезами в голосе, и мне стало классически ясно — пелена упала с глаз, что что-то, чего еще час назад я мог при желании избежать, теперь обязательно произойдет, случится, и Вера это знает наверняка.

«Темно», — сказала она.

Трамвай ушел прямо из-под носа, и, как назло, когда Стародетский, уже решившись идти пешком, отошел от остановки метров на сто, подошел еще один, но бежать было уже поздно.

Запрудный ускакал раньше, сославшись на дела, так что досиживал он в одиночестве. Комиссия тоже быстро свернулась, и можно было спокойно почитать. Он перечел статью об актрисе со странным все-таки, издевательским каким-то названием — «Ее медведичка, ее», снова ни хрена не понял, и это сильно подпортило настроение.

Трамвай обогнал его, но, повернув на Девятую, Стародетский увидел, что, немного отъехав от остановки, он встал и народ, правда немногочисленный, высыпал и двинул пешим ходом — видно, серьезная поломка. Так что нечего было расстраиваться.

Теперь он, в свою очередь, обогнал трамвай, мельком взглянув на возившегося в кабине вагонновожатого и спокойно, даже как будто теплее стало, пошел по Девятой, напевая «ее медведичка, ее».

Но у Малого «первый» снова нагнал его. Теперь он тащился пустой, даже на расстоянии воняло жженым, искры летели из-под тормозных колодок.

К конечной остановке они подошли одновременно. Водитель зачем-то открыл и с грохотом захлопнул двери. «Проверяет», — подумал Стародетский.

Уже совсем стемнело. Дети катались на санках с бункера, с темной ртутью отливавших горок. Над речкой подымался пар, стелился по мосту.

Зато в парадной была целая иллюминация. За день поменяли все лампочки.

Стародетский вызвал лифт и, пока тот спускался, осмотрел нижнюю площадку — куда бы пристроить лопату.

ВЕСНА СВЯЩЕННАЯ

Что обычно бывает на поминках? — Ну, то и было. Только один сумасшедший все твердил, что, мол, здорово нагрелись на «Поле чудес», но ведь его (их?) уже давно никто не смотрит.

А с утра к нам протек Сей. Протечка меня и разбудила, а так бы спал и спал. И снилось мне, что идет дождь, накрапывает, но когда я все же открыл глаза, то увидел полосатую сгорбленную спину Сонниного халата и голые лодыжки: став на колени и чертыхаясь, она пыталась пристроить тазик между стеной и батареей. Капли звонко звякали о дно. На потолке, в углу уже расплылось прилично. Ничего не оставалось, как идти разбираться к Сему.

Еще раз взглянув на пятно, похожее на...на...на... и на облако, смахивающее на собаку, я стал подыматься к соседям в расчете застать Сего или супругу, у которой брал книжки.

— Не может быть! — сказала она нервно, пытаясь внутренне разозлиться, и я вдвойне тягостно ощутил себя понятым и общественным обвинителем в одном и, увы, собственном лице.

— Нет, пойдемте, пойдемте, посмотрим, — и, хотя у нее все равно ничего не получалось (я имею в виду — разозлиться), мне почему-то самому уже почти не верилось и в протечку, и в пятно-собаку, и в Соню с тазиком.

По моим расчетам, течь должно было в углу их детской комнаты.

— Давайте, давайте — посмотрим!

Мы сдвинули коробки, колонки — увлечение родителей, и действительно — тускло лоснилось на паркете влажное пятно.

— Да-да, сейчас позвоню в аварийную, — засуетилась соседка, прижимая руки к груди, — у меня тут как раз телефон записан...

Я, тоже обрадованный, стал спускаться, но Соня уже залезла в душ.

Мужик со шведками стоял в геометрическом центре двора и лущился таким природным довольством выходного погожего утра, что даже его вопрос: «Ну чего, ребята не подошли?» — не показался мне странным.

Солнце косо пересекало двор. Пристроившись у трубы, Джим делал свою положенную лужу. Она перетекла через бугорок и, длинной тонкой стружкой добравшись до люка, звучно низверглась в него. Никакого нарочитого натурализма. Просто собачникам чаще остальных приходится глядеть под ноги.

Хотя голова и побаливала, но мне это неожиданное вторжение понравилось своей непреложностью, словно меня посвятили в рыцари, и, продвинувшись с теневой половины на солнечную, я спросил:

— Ребята?

Крутя шведки, мужик стал рассказывать:

— Ну, Витаська нажрался, хозяин то есть, а машины — нет. А? В соседнем дворе...

Причем говорилось так, словно я забыл, а он напоминает.

И тут я вспомнил. Недели две назад мы с Джимом выходили вечером, поздно. Во дворе было уже темно, но лампочка над парадной не горела. Двое, в каком-то подобии спецодежды и кепках, прицепив фонарь к бамперу «москвича», орудовали над ним молча и умело. Никуда не торопясь. Абсолютное спокойствие. Один, расстелив тряпку, полез ковыряться вниз.

Наутро — «москвич» стоял где стоял — мы нос к носу столкнулись с двумя милиционерами, которые с лентой входили во двор и, подойдя к машине, спросили:

— Давно стоит?..

Помолчали, обошли кругом.

— Да, тут уже взять нечего.

И, милицейскими глазами взглянув на злосчастный автомобиль, я понял, что — точно, остался один кузов, колеса да лобовое стекло, а внутри — пустехонько...

— Ладно, подожду, — сказал мужик. — Погода хорошая.

Соня, видно, решила хорошенько отмокнуть.

— Эй! — крикнул я, хотя знал, что все равно не услышит.

Джим побежал на кухню пить, а я вылил тазик, положил тряпку, чтобы не так барабанило, и присел покурить.

Последнее время насчет сигарет мы договорились: от каждой купленной пачки я брал себе четыре шути и складывал в коробочку из-под записной книжки с палешским переплетом: черный фон и колокольня. Сейчас там лежали две — длинная и короткая. Взяв длинную, я подвинул пепельницу и закурил.

Будет что рассказать Соне. Раньше я рассказывал ей не все. Много, но не все. А теперь решил все — и жить стало легче. Но странное было чувство с этим случаем — не вины, а словно втянули тебя против воли

в скверный анекдот и даже придали тебе этим какую-то значительность. Довольно мутрно.

Капли мягко шлепались в тряпку, журчал душ. Темно-сизые облака собирались на небе.

Я не люблю звук резко открывающегося сверху окна.

Прошлой осенью, в воскресенье Соня наткнулась в соседнем дворе на самоубивицу. Впрочем, непонятно, кто и что, потому что Соня очень волновалась и рассказывала сбивчиво, все время повторяясь. Посередине двора, в луже у люка. В халате. Вниз лицом. Поджавшись, как спящая.

Но как бы там ни было, я не люблю этого звука, тем более что сверху часто высыпают окурки и прочий мусор, и, когда мы с Джимом сворачивали и над нами с треском распахнулась рама, мы поскорее свернули под арку.

Очень хорошо, когда только что кончился день, но земля возле замка уже просохла, с Невы дует по всем переулкам, пасмурно, и кажется, что людей на улицах меньше: то ли нет такой толчеи и ленивых перекуров у входа в институт, и люди — красивее.

В переулке училища лежало на мусорном бачке пальто с драным меховым воротником, из которого наполовину торчала дохлая кошка того же цвета. Возникали предположения.

Но я шел спокойно. Главное, земля просохла, а с утра успел перехватить соседку, столкнувшись с нею в дверях — так же можно и инфаркт заработать! — и содержательно поговорил насчет протечки.

Ее, конечно, морочили: старший инженер представлялся по телефону женщиной, а в конторе оказался усатым мужчиной, но она хлопотала, и я ей верил.

Уходя, я сказал:

— Ничего, два раза встретились — встретитесь и третий.

Соседка как-то особенно задумчиво поглядела на меня своими темными глазами и ответила:

— Не знаю. Два раза — случайно, а третий должен быть намеренно. Вы завтра утром будете дома? Впрочем, они всегда приходят так шумно...

Да — они очень всегда шумели, как завоеватели, как разрушители, а уж если собирались варить или менять калорифер... Феро, тули. Мне припомнился наш латинист, как он однажды пришел после чествования на кафедре и все присаживался на край стола и болтал протезом, откидывая короткую серую челку. Но зато когда они уходили, оставив в ванной кучу грязи, на душе становилось светло и покойно.

У музея мы догнали трех мухинок с парнем, чьи ботинки чем-то выдавали его связь с милицией, и Джим пару раз погадил на сыром газончике. Вода в глинистых лунках здесь стояла долго.

Пока он занимался своим делом, я разглядывал стоявший у обочины старый пикап «шевроле» — такие обычно десятками взрываются в американских фильмах.

Опять стало накрапывать. Проститутки по-воробыному жались под навесом гостиницы. Малявы. Некоторых я помню еще в их школьные годы: лыжи, темные утра у Гагаринского садика, мокрые от снега и пота черные тренировочные. Впрочем, уже тогда имелись — формы. А теперь попробуй подъедь к такой, предложи зайти попить чаю. И от их беззащитности и правоты мне стало горько.

— Да бери же! Ты вообще можешь что-нибудь сделать просто?

Не знаю, как насчет простоты, но глупее я себя давно не чувствовал. Да еще эта продавщица со своим кошачьим взглядом из темного ларька.

Каждый день чему-нибудь понемногу удивляясь, я понемногу перестал удивляться всему. Но — «Толстовская», с этакой будуарной этикеткой, которую венчал суровый лик.

— Бери! — уже на пределе, тихо, отворачиваясь, сказала Соня.

Впрочем, если подумать серьезно — какое тут кощунство: что Ему до каких-то безвестных немецких винокуров, и наоборот?

Соня, в сиренево-черном, была сегодня на удивление хороша. Праздновали День памяти памяти и мы решили прогуляться, тем более что жизнь становилась все более пешей.

На углу Сей, на котором был новый китайский плац со скидкой, внимательно читал газету. Повсюду вяло плескались красно-бело-голубые флаги. Город ремонтировался, и даже темная личность, косо совкупившаяся со стеной подворотни, казалось, принимает в этом участие.

Соню тянуло дурачиться. У проходного толстуха торговала с лотка, но весь товар не помещался, и шампанское и узкогорлые бутылки с итальянским сухим рядом стояли в окне подвала.

— Украдем? Ну кому она нужна, одна всего — этой? И она надула щеки.

— Соня, — сказал я строго, — а недостаца? а бедная толстуха?

— Разберутся, — лениво ответила Соня. — И мужик все равно в подвале сидит, зырит.

Памятник-бюст смотрел на дом, где когда-то жил, но его никто не замечал.

На скамейках сбоку сквернословили подростки.

Подседа восточная компания и начала говорить по-своему, но и это тоже почему-то коробило.

Голуби что-то выклевывали на небритых газонах.

Сюда приходили пить то, что продавали там.

Двор был больничный, и ледяной синевой горело окно операционной на втором этаже.

— Открывай! — сказала Соня, и я полез за открывашкой. Мы тоже взяли там.

Я невольно, как на входящих в транспорт, приглядывался к восточным. Их было трое. Самый молодой, которого я мысленно окрестил Зурабом, был одет богаче других, говорил громче других, но видно было, что это — от агрессивной юношеской стеснительности. Чхеидзе (второй мой крестник) выглядел много беднее своих спутников: засаленный пиджак в полоску, щетина на впалых щеках. Он был похож — как же это тогда случилось? — тоже какая-то восточная кутерьма, в шашлычной с цыганами, в Москве, куда мы ездили с женой. С нами за столиком сидел пожилой армянин, речь которого состояла из сплошных комплиментов. Он плакал, вспоминая о семье. Потом то ли он вступился за жену, то ли она за него, то ли оба накинулись на официанта. Цыгане в драку не полезли.

— Зураб, сходи купи мне киви, — сказал Чхеидзе. Опорным словом для перевода было «киви». Зураб медленно встал.

— Ой, смотри! — и я посмотрел на Соню. Она замерла и остановившимся взглядом глядела на по-прежнему ярко синевшее окно во втором этаже, откуда, дурным сном, показалась полосатая штанина, а вслед за ней и хохочущий дядька, оседлавший подоконник и явно собирающийся изобразить парашютиста. Внутри у меня захолонуло.

Зураб по-собачьи подбежал и заметался под окном, размахивая руками. Чхеидзе произнес что-то гортанно краткое, но не изменился в лице. Подростки улюлюкали.

Невидимая нам борьба продолжалась: белое колыхание, женские руки. Звучно шлепнувшись, тапок упал рядом с Зурабом на асфальт. Это решило дело, и сопротивление было прекращено.

Я принес еще пива. За больничными корпусами виднелся голубой шпиль колокольни в лесах, причем леса кренились в одну сторону, а шпиль — в другую.

Хлеба в доме не оказалось, и я с удовольствием отправился в булочную. Хорошо ходить в булочную после пива, когда только что кончился дождь, и выглянувшее солнце поднимает над асфальтом и крышами пар, и кажется, что оно может длиться вечно, это путешествие.

Я шел, жмурясь, и думал, как они ничего не значат, эти «знатоки», без своего интеллигентного балагана, свечей и зеркал. Пристанет: «Ну хочешь, я тебе скажу, сколько на Мадагаскаре китайцев живет?» Смех.

Навстречу переходила дорогу одна из маляв, которую я давно заметил. Неудачный, видно, был день. Черные, переливчатые клешни раздувало ветром. Ало припухлый, напомаженный рот. Проходя мимо, мы старались не смотреть друг на друга. Что смотреть — и так все ясно.

Возвращался с горячим батоном я через скверик. Там, где тропинка сворачивала, в кустах, сидя на пустом ящичке из-под картошки, дремал мужик, всклокоченный, в кирзовых сапогах.

В саду заиграла музыка. Мужик шевельнулся, приоткрыл глаза и снова задремал. Он победил.

Ры Никонова-Таршис

НАТЮРМОРТ

Лев лев и лев

1964

ОКТАБРЬ 1917

Октябрь
октябрь и
октябрь

1969

* * *

К о р а б л ь ?
Ж у р а в л ь

1969

* * *

Шелест
мук
шонких
как шонк

1970

1970

раз два
раз два
раз два
раз два

1970

* * *

Подумать только и.
Подумать только у.

1970

* * *

Тур выстрела
тур смерти
тур жизни
исполнил он

1970

* * *

т е л ь
б е л ь
м е л ь
и т . д .

1971

* * *

Р
Р

1971

* * *

в е д
р о

1971

УХАЖИВАЮЩЕМУ ЗА ВОЛОМ

Ухаживающий за волом!
Балалом!!!

1972

* * *

Ну
что сказать по поводу электро-
проводки

она экономична
отлично

уснащает светлый быт
и завывает построение клещей

1973

ПОЭМА 40 А

40 А

40 А

40 А

40 Б

40 А

и т. д.

1973

* * *

птицы щецепчут
волны жужгут
жгут нереальности
птицы вплюют

1975

* * *

Ползают мухи ритма
по
плоской
поверхности мха
Музыкантов звериные пальцы
опять
забрели
за пределы рха

1976

* * *

Ели ело ел елевен ест ешерс
Еле лив славу ляву аванс сам
Еле или еле ил милый мил
Еле сел и ДОБЫЛ
и ДОБЫЛ и ВЫМЫЛ
Ясли ел
если ель яли мель и мел
Вымок ком
ком комка — камень

1976 — 1977

ЖАБРЫ ВЕРЛИБРА

Да
листва золотая округла
доупругла её тулота
витиеваты ветвей
ветра взапыль погружалибр
1977

* * *

кольцом улыбка-бка
ноготь — ножом
гибшая гибка
же обожжён
1977 — 1978

* * *

15 Я — помню 14 чудных = мгновенье 1
1981

СТИХ, УЯСНЯЮЩИЙ ПРОЦЕСС ЛИТЕРАТУРНОЙ РАБОТЫ

	а	в	г	е
+	б	д	ж	м
	<hr/>			
	аб	вд	гж	ем
—	б	вд	—	м
	<hr/>			
	а	рж	е	

1981

БУМАЖНЫЙ АНГЕЛ

Приготовьте себе бумажные крылья с бахромой
наденьте
продемонстрируйте себя Господу
и если понравится
работайте ангелом

1983

ГНЕЗДО

— ... О...
— ... О...
— О...
— О.
1995 — 1996

a

b

C

d

e

Александр Казанский

ВАРИАЦИЯ НА ТЕМУ 66 СОНЕТА ШЕКСПИРА

Я так устал. Давно б вселился в склеп
Жильцом смиренным. Только б не глядеть
На этот мир, который столь нелеп,
Что Богу не с руки о нем радеть.

Здесь гордости кремень источен в пыль,
Из мощи немощь выжимает сок,
Кошунство служит вере что костыль,
Развратом с девства сорван поясок.

Ложь смотрит прямо, искренность — хитро,
Ум всюду остается в дураках,
Зло благодушествует, мстит добро,
Мерзавцев носит слава на руках.

Но друга те же горести гнетут:
Я не хочу быть Там, когда он — тут!

* * *

Он столь же строг, сколь и витиеват,
Равно блудлив и свят, умен и пылок,
Он, словно вешний лист, теплом объят,
Мерцает дрожью всех своих прожилок.

Телесно-выпукла его строка,
И божьего на ней не стерто знака
Скупым переложеньем Маршака
И щедрым переводом Пастернака.

Не раз внушал мне темный гений мой:
Сей драгоценной формы нет дороже,
Чтоб заповедно-дивной глубиной
Вместить всю боль любви моей, — но все же

Любовь бесформенна, как тьма и свет.
Прости-прощай, шекспировский сонет!

* * *

Стрела, как сон, слетает с лука —
И ядом проникает в кровь
Хмельное отрочество звука,
Его зазорная любовь.

* * *

Воздыхающие, пропавшие,
Шелестящие всласть листья,
На ветвях вольнодумно гостящие,
Были перисты и густы.

И сентябрьская, брачная, поздняя,
Цвета матового стекла, —
Над листвою, в листве и сквозь нее —
Золотистая млець текла.

* * *

Т.

На березы и на клены ты
Погляди, душой светла:
Нежной стужей спеленуты
Их дремучие тела.

Упадают лист за листиком,
Мрут на скатертях дорог.
Поневоле станешь мистиком.
Я прозрел — и я продрог.

Хорошо, что держишь под руку,
Благо, что не до грехов
Взбалмошному ветру-отроку,
Он ведь из чужих стихов.

Даже время к нам по-своему,
Кажется, благоволит:

В мире сделать нас изгоями —
Пальцем не пошевелит.

Вот оно, людское счастьеце,
В рамке бледной синевы.
Затихая, к сердцу ластится
Шепот чахнувшей листвы.

Листья, листья-подзаборники!
Завтра шумно будут мечь
Непроспавшиеся дворники
Их скоробленную жечь.

Все еще смычки о скрипочках
Грезят, просят небылиц,
А октябрь-цыган на цыпочках —
Нам, своим цыплятам, — цыц!

* * *

Я верю в тайную свободу
И в то, что смерть, ища ответов,
На чистую выводит воду
Всех — и, тем более, поэтов.

Ну, а пока с судьбою вздорной
Дружу, ей предан с потрохами, —
Твержу кому-то все упорней
Почти в слезах... почти стихами:

Мол, оттого так сердце сжалось,
Что вспомнило и полюбило.
А на поверку оказалось...
О боже... так оно и было!

Ров Проворов

ИЗБРАННЫЕ МАНИФЕСТЫ, ПРИКАЗЫ, ПОСТАНОВЛЕНИЯ И Т. Д.

манифест 2

противобукв

1. К концу буквы вот что нам есть сказать.
2. Проворов: отказ
формирование значимого участка из свойств фактуры.
размещение предметов и материалов.
телевидимость и радиослышимость электричества и
производных веществ.
3. Филиппов: взрыв
буква, как среда-территория особенных качеств, отличных от
намеренно человеческих
анализ графики, размещения и канцелярии.
4. Вместе: боковое отношение к типографии.
случайность.
дегуманизация.

Игнат Филиппов.
Ров Проворов.
зима
1995

приказ 4

реставратор враг.

Природа действует.
Мешает реставратор.
К примеру: книга отсырела.
Проблема:
Уничтожена вербальная информация — осталось — только
изобразительность.
Что делать.
Принять информацию № 2, что естественнее.
Но реставратор не соглашается, что противоестественнее.
Далее если рассматривать живопись или штукатурку, то есть
изобразительность — как таковую, то позиция такова:
реставратор — изображение
природа — постизображение или неизображение вовсе.
Вывод один — реставратор враг.
Необходим расстрел, как метод антиреставрации.
1995

приказ 6

перевод запрещен.

Надо запретить переводить литературу.

Заумь и прочее достаточны в звуке или изображении.

Там стоят.

Традиционная литература — буква, слово, текст — имеют только значение.

Значение требует перевода.

Перевод значения — имеет быть.

Звук и изображения — нет.

КАРАНДАШ — предмет — далее слово — рисунок — звук.

В ином языке — предмет — и далее иное слово — иной рисунок — иной звук.

Нарушены 2 компонента слова.

Естественно текста-более, буквы-менее.

Вне компонентов нарушения — неправилен перевод.

Перевод и литература, как значение — анахронизм.

Надо запретить перевод, а далее запретить такую литературу.

1995

перформанс № 5

**постановление № 14
ГАЗЕТЫ УНИЧТОЖИТЬ**

почему газеты надобно уничтожить.

потому что

1. газета носитель неточной и консервативной знаковой системы — вербального языка (текста) — то есть газета фальсификатор действительности.

2. газета пропагандист неверного понятия об информации.
информация всё.

3. газета застывший дизайн.

а. консерватор внешней формы (прямоугольник)

б. консерватор шрифта и его комбинаций

в. консерватор цвета

г. консерватор материала (бумага)

д. непрофессиональная фотография и коллаж

е. диктатура пространства и фактуры

из всего выше напечатанного делаем вывод

что

газета работа неправильная и за зря

что

газета не функциональна и не надобна

и

что

ГАЗЕТЫ НЕМЕДЛЕННО УНИЧТОЖИТЬ

17 сентября 1995

природная канцелярия ИГНАТА.

Игнат сделал книгу.

Теперь вместо печати-сделанной-используется-
несделанная:

кора, камень и другая природная деятельность.

Изобразительные перспективы канцелярии естественно
расширены.

Такие новые печати менее организованны и менее — знаки.

Введен метод абстрактной печати и **апечать** — лишь иная
книга Игната. Но там есть расширение далее.

Канцелярия же природная — как последующий шаг к полной
дегуманизации и действительная поэзия — возможны.

1994

постизображение. позиция 2.

Текст или иное в книге изобразительно на плоскости.

Такова традиция САМОизображения.

Традицию надо нарушать. Соответственно разрушать
изобразительность.

Каковы новые позиции книги.

ПОСТкнига или механическая работа со стопкой бумаги.

Разрывание-складывание-распиливание-продырявливание
и тому подобная конкретика требуют нового названия.

Антилистание, где совершенно иная позиция

рассматривания книги. Рассматривание здесь происходит
насквозь, сбоку, поперек и далее — варианты.

Объект-книга в позиции антилистания — есть посткнига и как
одно из постизображения, возможно последнее.

1996

БЫВАЕТ ЛИ «НЕРУССКАЯ» ТОСКА?

Интерес к слову „тоска“ — я подчеркиваю, именно к слову: постараемся поменьше говорить о переживании, постараемся не апеллировать к собственному — и к вашему, не сомневаюсь — плачевному опыту — особый интерес к этому слову неуклонно возрастает по мере погружения в поэзию Анненского: ведь это, очевидно, одно из главнейших его слов, о чем говорит хотя бы тот факт, что у него имеется не менее четырнадцати стихотворений с „тоской“ в заглавии — от сравнительно традиционно звучащих „Тоски кануна“ или „Тоски вокзала“ до более экзотичных „Тоски медленных капель“ или „Тоски белого камня“. И самое последнее стихотворение Анненского, стихотворение-эпитафия, его „последняя трагедия“, посвящено именно ей, Тоске, „недоумелой“ и странно веселой „моей Тоске“, которая, как полагает поэт, одна только и останется меж нас, когда „восковой в гробу забудется рука“ и „травы сменятся над капищем волнения“.

Пытаясь понять, что же это такое „тоска Анненского“, анализируя, в частности, его переводы, все более убеждаешься в том, что, даже независимо от тех новых оттенков смысла, которыми обогатил это слово Анненский, оно — уникально русское, и адекватные аналоги ему в других языках едва ли отыщутся. Отнюдь не претендуя на полноту и окончательность, попробуем хотя бы почувствовать, из чего складывается эта специфичность, как исторически она формировалась: предлагаемый ниже текст написан на основе послесловия и примечаний к большой работе о „тоске Анненского“, но имеет, как кажется, и самостоятельный интерес*.

Начнем с того, что „тоска“ заглавий Анненского восходит, скорее всего, к „Сплинам“ Бодлера — четырем стихотворениям под идентичными именами, занимающим центральное место в композиции „Цветов зла“. Поэзия Анненского многими нитями связана с поэзией Бодлера. Как признавался сам Анненский, его формирование как поэта происходило в значительной степени под знаком того „нового трепета“, который, по слову Гюго, Бодлер внес в поэтическую речь. Знаки более или менее явного влияния Бодлера в изобилии обнаруживаются в стихах Анненского: это и многообразно варьируемая тема „отравы-дурмана-одури“, с характерным ответвлением в виде мотива „аромата“, и особое внимание к зеленому цвету, связываемому как раз с вышеуказанной темой, и несомненный параллелизм композиции первого сборника Анненского „Тихие песни“ и „Цветов зла“ (причем, что характерно, этот параллелизм обнаруживается в большей степени в „тексте заглавий“ книги Анненского, чем в тексте самой книги), и целый ряд менее существенных переключек, каждая из которых в отдельности могла бы, пожалуй, сойти за случайную, не будь этого интенсивного поля их взаимоиндукции. Тем более поучительно присмотреться повнимательнее к „Сплинам“ Бодлера и к их переводам на русский язык: несомненность влияния и зависимости делает еще контрастнее обнаруживаемые различия, которые оказываются связаны отнюдь не только с разницей поэтических систем двух поэтов, но коренятся, возможно, в глубинной несостыковываемости двух „языковых картин мира“.

Сплин — слово английское, введенное в употребление во Франции романтиками и ставшее особенно популярным после 1830 года. Оно обозначало „модное чувство подавленности и скуки“¹. Непосредственными предшественниками Бодлера были Ф. О'Недди и О. Барбье, также озаглавливавшие свои стихотворения „Сплинами“. У Бодлера это слово вообще имеет исключительно заглавный характер и непосредственно в поэтических текстах не встречается. Кроме четырех „основных“ „Сплинов“ было еще три: так перво-

начально называлось предшествующее „Сплина“ в книге Бодлера стихотворение „Надтреснутый кокошол“, а также стихотворения, в окончательном тексте „Цветов зла“ именуемые „Веселый мертвец“ и „De profundis clamavi“. Характерно, что Бодлер в разных публикациях (1851, 1855, 1857 годов) словно бы тасует разные стихотворения, оставляя инвариантным само заглавие „Сплин“, причем, обязательно нескольких пьес одновременно, как бы указывая тем самым, что здесь следует большее внимание уделять как раз „поэтике заглавий“, „тексту заглавий“, а не вопросу об адекватности имени — кроме того, это еще более способствует трансформации „сплина“ в своего рода „жанровое слово“. Добавим, что заглавие раздела, содержащего все эти стихи, — основного раздела „Цветов зла“ — это „Слнш и идеал“; наконец, Бодлер именует „Парижскими сплинами“ цикл своих стихотворений в прозе. (Ту же эволюцию в сторону „жанрового“ слова проделала — под влиянием „Спинов“ Бодлера — и „Тоска“ Анненского, с той, однако, существенной разницей, что она сама является главной героиней стихотворений этого „малого жанра“, тогда как Бодлер избегает „черной дыры“ аутореферентности: центральное место в „Сплинах“ (как и вообще в „Цветках зла“) занимает не сам Spleen, а Eppui-скука. В этом различии рельефно проявляется глубинная связь Бодлера с рационалистической традицией, связь лишь фальсифицируемая надорванной поэзией Анненского.)

„Тоска“ является, очевидно, одним из наиболее точных русских синонимов „сплина“. Слово это, естественно, и становится одним из ключевых в переводах „Спинов“ на русский язык, причем, замечательно, что, неизменно апеллируя к „тоске“, русские переводчики подставляют ее в разные места французского текста, сигнализируя тем самым скорее об универсальности самого переживания, о „тоскливости“ „сплина“ как такового, нежели о тех или иных несомненных лексических эквивалентностях — и одновременно наглядно демонстрируя размытость и универсальность семантики русского слова „тоска“. Конспективный анализ этих соответствий поможет нам точнее понять русскую поэтическую „тоску“, поможет почувствовать как ее зависимость, так и отличия от „тоски“ французской, тем более, что среди переводчиков Бодлера не последнее место занимает сам Анненский.

Он же и открывает наш экскурс: первый „Сплин“ переведен Анненским прозой в статье „Что такое поэзия“, и, хотя в самом переводе искомого слова нет, но, комментируя его текст, Анненский говорит о „тоскующей душе поэта“, которая „тоскует в своем потревоженном одиночестве“. Действительно, в тексте первого „Сплина“ нет ни одного слова, которое могло бы в переводе сойти за „тоску“ (ennui, angoisse, douleur — см. далее). Тем не менее, в переводе Альвина Дрова в камине „поют и тоскуют“ (без всякого на то основания), а у Эллиса „тиха ...тоска“ сиротливого духа поэта и даже старые карточные любовники — валет и дама пик — болтают у него „с тоскою сожаленья“ (у Бодлера „causent sinistrement“ — зловещающая болтовня). И это отнюдь не единственный пример того, как „злоупотребляют“ русской „тоской“ переводчики, пытаются воспроизвести по-русски мрачную атмосферу „Цветов зла“: лексически не мотивированная „тоска“ переполняет переводы Альвина („Алхимия грусти“, „Танец змеи“, „Большая муза“ и др.), у Эллиса она же появляется не только в первом „Сплине“, но и в „Призраке“, и в „Неисцелимом“, и даже Вяч. Иванов, весьма щепетильный как раз в вопросах „тоски“, допускает такую же вольность в переводе стихотворения „Человек и море“.

Во втором „Сплине“ в переводе Эллиса в центре оказывается „Тоска, унынья плод“, принимающая „размеры страшные бессмертья“. У Бодлера здесь „l'ennui, fruit de la mort incuriosite“ — то есть та самая Скука-Eppui, которая в виде „утонченного чудовища“ появляется уже во Вступлении к книге. Эллис непоследователен: ведь во Вступлении он (как и В.Левик, например) останавливается именно на „Скуке“ в качестве русского имени се monstre delicat, нарушая тем самым очень важное для понимания структуры „Цветов зла“ единство словоупотребления (скука-ennui для Бодлера — своего рода термин). Эта непоследовательность, обусловленная глубокими семантическими различиями русского и французского языков, проявляется в переводе следующего же за Вступлением стихотворения „Благословение“: бодлеровский monde ennue Эллис передает как „мир тоскующий“, а отнюдь не как „мир

скучающий", как того требовало бы строгое соблюдение „терминологического“ единства. В этой „небрежности“ с Эллисом в данном случае солидарен и В. Левик („унылый мир тоски“): „мир скуки“, „мир скучающий“ были бы по-русски излишне приземлены. (А. Альвинг, впрочем, не долго думая, останавливается именно на выражении „мир скучающий“, но его-то как раз в избытке семантической чуткости трудно упрекнуть: его переводы местами почти пародийны.) Во Вступлении русскую Скуку выручала прописная буква, поддерживал весь текст этого стихотворения, посвященного как раз изложению не столь будничного толкования данного слова. Во втором „Сплине“ Левик угадется „точнее“, чем Эллису, передать образ Бодлера. В его интерпретации приведенное выше выражение звучит как „скука... пресыщенья... отравленный плод“. Но двумя стихотворениями раньше, в „Надтреснутом колоколе“ (бывшем „Сплине“, напомним) Левик вновь вынужден совершенствовать же, что и прежде подстановку: его „тоска бессонницы ночной“ приблизительно соответствует именно *ennui* оригинала — в то время, как Эллис здесь „берет реванш“: „... изныв от скуки“. Наиболее богатый материал для сравнения дает последний „Сплин“. „Тоска“ проникает здесь либо в первую строфу русского текста (Андреевский: „гнетет усталый дух болезненной тоской...“; Анненский: „тоска в груди проснулась...“), либо в строфу заключительную (Левик: „мутная тоска“; Чежегова: „смертная тоска“; Вяч. Иванов: „Тоска-Царица“). Особняком стоят Альвинг и Эллис: если у последнего „тоски“ вообще нет, то первый явно переусердствовал — у него „тоска“ возникает не только в первой („и тоскует наш ум“) и последней („Тоска победила ее“) строфе, но, без особой на то причины, и в строфе четвертой („так тоскливо и больно умеют стонать...“). Соответственно в последней строфе у Андреевского появляется „Скорбь“, а у Анненского „Мученье“, тогда как для первой строфы Левик, Чежегова и Вяч. Иванов предлагают соответственно „гнет на сердце“, „унынье“ и „постылую тягу“. У Бодлера же в первой строфе — все та же „скука“ („longs ennuis“), а в последней — „l'Angoisse atroce, despotique“ — наиболее, пожалуй, близкий французский аналог русской „тоски“. Дублирование „тоски“ в первой и последней строфе перевода Альвинга (чего удалось избежать другим переводчикам) не только чисто лексически не совсем корректно, но и смазывает тонкую оппозицию *ennui* и *Angoisse* у Бодлера, тем более принципиальную, что оба эти слова очевидно относятся к одному семантическому полю „сплина“². В данном стихотворении у *ennui*-скуки подчеркнут момент экстенсивности, длительности („longs ennuis“; ср. также стихотворение „Разрушение“ с его „plaines de l'Ennuï“ — „равнины Скуки“ — „пустыни мертвые, где скука...“ (Эллис); первоначально у Бодлера было еще характернее: „les steppes de l'Ennuï“ — „степи Скуки“, со своеобразным „русским“ подтекстом). Скука в четвертом „Сплине“ маркирует целый комплекс средств, выражающих протяженность, монотонность, однообразие — „тоску повтора“ по Анненскому. В то же время Тоска-Angoisse, благодаря своей „внутренней форме“ (*angustia* — теснота, см. далее), главенствует в не менее важном для данного стихотворения семантическом поле „ограничения“, „сжатия“, интенсивности вообще. К этому аспекту структуры четвертого „Сплина“ наиболее чуток Вяч. Иванов, несколько неожиданно, как может показаться на первый взгляд, замещающий „longs ennuis“ на „постылую тягу“.

Небрежность Альвинга, однако, отнюдь не случайна: в отличие от *ennui* и *angoisse* „тоска“ может быть одновременно как „экстенсивной“, так и „интенсивной“, как сжимающей, сдавливающей, так и ноющей, тянущейся. Мы еще не раз столкнемся с тем, что неточности и даже недоразумения перевода оказываются проблесками каких-то глубинных смыслов: ошибка в данном случае не генерирует новый смысл, но как бы ненароком приоткрывает нечто тщательно камуфлируемое и становящееся жутковатым в этой своей императивности.

Обратим особое внимание на „Мученье“ Анненского, замещающее Тоску-Angoisse Бодлера. Это слово (в форме „муки“) составляет весьма важный узел „текста Тоски“ Анненского: здесь, в этой подстановке „тоска-мученье“ — пуск и выявляемое в переводах одного и того же стихотворения разными авторами — мы впервые обнаруживаем его причастность этому тексту. (Мы увидим далее, что это вовсе не прихоть Анненского, но языковая чуткость:

„мука“, „боль“ оказываются весьма существенны и для того „глобального“, надязыкового „текста Тоски“, который мы здесь пытаемся „читать“.) Анненский вообще упорствует в нежелании идентифицировать свою „тоску“ с *angoisse*, предпочитая из французских вариантов именно *ennui* (бодлеровский *ennui*, конечно). Так, в переводе стихотворения Бодлера „Reversibilite“ Анненский следующим образом передает первые две строки оригинала: „Вы, ангел радости, когда-нибудь страдали? / Тоска, унынье, стыд терзали вашу грудь?“. У Бодлера перечисление „отрицательных эмоций“ начинается тоской-*angoisse*, а заканчивается скукой-*ennui* („*Ange plein de gaiete, connaissez-vous l'angoisse, / La honte, les remords, les sanglots, les ennuis...*“). „Стыд“ Анненского точно соответствует бодлеровскому „*honte*“; „унынье“ можно соотнести с „*sanglots*“ — буквально „рыдания, всхлипывания“; бодлеровские „угрызения совести“ находят отзвук в глаголе „терзать“ у Анненского. „Страданию“, таким образом, оставлена только одна возможность — „*angoisse*“, тоска (что подтверждается и воспроизведением первой строчки в конце строфы: Бодлер повторяет „...*angoisse*“, а Анненский — „...страдали“; с Анненским в данном случае солидарен и Элис: в его варианте в начале и конце первой строфы повторен вопрос „ты знаешь ли муки?“.) А сама „тоска“ у Анненского вновь становится эквивалентом *ennui*. Конечно, дословный поэтический перевод — это „круглый квадрат“, но Анненский с его особой чуткостью именно к структуре переводимых текстов не мог не уделить повышенного внимания ключевым (лейтмотивным) словам книги Бодлера — и он вновь, как и при переводе четвертого „Сплина“, воспользовался для отражения *ennui* не „скукой“, но „тоской“, соблюдая тем самым „терминологическое единство“. А саму „французскую тоску“ (*angoisse*), не столь принципиальную для Бодлера, Анненский заменил „страданием“, вполне синонимичным „Мучению“ его варианта четвертого „Сплина“, что позволило и здесь выдержать определенную последовательность. Говоря о переводе Анненским четвертого „Сплина“, нельзя не отметить лишь у него появляющееся и ничему в оригинале не соответствующее эмфатически-дейктическое „так“: „Так низок свод небесный, так тяжел“, — непосредственно предшествующее появлению „тоски“ и как бы ее своей невыразимостью и акцентуацией „разыгрывающее“. Невыносимая тягота небосвода так или иначе передается всеми переводчиками этого стихотворения, но лишь Анненский использует здесь столь много значащее для него „так“ — слово, тесно с „тоской“ спаянное.

Не менее наглядно демонстрирует Анненский „синонимичность“ своей „тоски“ и скуки-*ennui* в переводе сонета Верлена „Томление“: „тоска“ первого варианта последней строки („и беспредметная, но адская тоска“) в окончательном тексте перевода сменяется „скукой“ („и скука желтая с улыбкой inferнальной“).

Скука-*ennui* — специфически французский „термин“ для описания „мировой скорби“: именно это слово постоянно использует Шатобриан, характеризуя своего разочарованного Рене (а вслед за Шатобрианом и Сенанкур, и Нодье, и Мюссе, и многие другие³). Любопытно, что и Пушкин поначалу именно „скукой“ склонен обозначать эту „романтическую депрессию“, явно ориентируясь при этом на французские образцы, а для „тоски“ прибегает совсем иной смысл. В самом деле, в начале „Евгения Онегина“ тоска — это почти исключительно „тоска любви“ (ср. „Опять тоска, опять любовь“, „Прошла любовь, явилась муза... Пишу, и сердце не тоскует“, „Слова тоскующей любви“, „Тоска любви Татьяну гонит“ и т.д.). Здесь Пушкин следует сентименталистской традиции, которая, в свою очередь, перенимает некоторые особенности фольклорного словоупотребления. Анализ изобилующих „тоской“ текстов, скажем, Недединого-Мелецкого и его современников показывает, что в конце XVIII — начале XIX века поэтическая „тоска“ — это в первую очередь „тоска по кому-то“, то есть нехватка кого-то, чувство обездоленности, лишенности и жажды этот пробел заполнить. При этом „тоска“ возникает чаще всего в связи с любовными переживаниями (тогда как иные „слабые состояния“: грусть, уныние, меланхолия — гораздо раньше эмансипировались от чисто любовной тематики⁴). В то же время, подыскивая определение для вполне — с нашей точки зрения — „тоскливого“ состояния духа Онегина, когда тому, кстати, как раз и надоели любовные похождения, Пушкин именно тоски-то

(которая для него еще в значительной мере „тоска любви“) и избегает, останавливаясь на достаточно колоритной „русской хандре“. Это состояние духа Пушкин характеризует прежде всего „скукой“ („Ему наскучил света шум“), утробностью, томлением („Как Child-Harold, угрюмый, томный...“, „Томясь душевной пустотой“, „Я был озлобен, он угрюм“ и т.п.) — но не „тоской“, которая непосредственно перед описанием онегинской хандры и сразу вслед за этим описанием однозначно трактуется как „тоска любви“ (об этой „любвонной тоске“ говорится в строфах XXXIV и LIX, а „хандра“ посвящены строфы XXXVII-XLV). Недвусмысленно отдает Пушкин предпочтение „скуке“ в качестве обозначения „болезни века“ и в „Спене из Фауста“ („Мне скучно, бес... Вся тварь разумная скучает.“), а также в параллельном ей письме Рылеву („Скука есть одна из принадлежностей мыслящего существа.“)⁵. Учитывая не ослабевшую еще в это время для Пушкина связь „тоски“ и „любви“, предпочтение отдаваемое им „скуке“ не следует, по-видимому, интерпретировать исключительно как „прозаизацию безотчетной тоски“⁶: скорее наоборот, здесь влияние более, на тот момент, метафизической, менее приземленной, чем русская „тоска“, тоски-скуки французской — *ennui*. Пушкинская „скука“ как бы „переведена с французского“ — если видеть в *ennui* адекватный аналог той „тоске“, которую уже так хорошо знает Пушкин („Дара напрасного...“, „Путешествия Онегина“ и „Воспоминания“ (ведь именно так и считал, напомним еще раз, Анненский, последовательно переводя „тоской“ *ennui* Бодлера, у которого этот „изящный монстр“ в полной мере реализовал свои метафизические потенции).

Действительно, пушкинская „тоска“ после 1825 года становится все менее похожа на галантные чувствования щеголей или читательниц Ричардсона — достаточно далека она, впрочем, и от демонической „мировой скорби“. Его „тоска“ теперь — это утомительный звон однозвучного колокольчика, „однозвучный жизни шум“, это полночные „змеи сердечной угрызения“. Разве что „тоска“ „Путешествия Онегина“ вполне адекватно замещает „хандру“ и „сплин“ первой главы, не имея уже ничего общего ни с „ревнивой тоской“ Ленского, ни с „тоской любовных помышлений“ Татьяны (заметим, что „тоска“ „Путешествия Онегина“ — это все же не совсем пушкинская, а скорее онегинская „тоска“ — потому она и оказывается ближе к романтическому стандарту). И как бы ставя точку в этой маленькой главе „текста Тоски“, касающейся взаимоотношений русской „тоски“ и французского *ennui*, Набоков, переводя „Путешествие Онегина“ на английский язык, именно это, совсем не английское, но столь, как мы убедились, уместное в разговоре о „скачающем денди“, слово *ennui* — употребляет для передачи въздыханий ленивого и нелюбопытного „русского путешественника“: „Тоска!“. Круг замыкается: если Пушкин первоначально понимает „скуку“ именно как *ennui* и *spleen*, а затем осторожно передоверяет часть их качеств „тоске“, то Анненский уже уверенно и однозначно переводит *ennui* Бодлера „тоской“, а бодлеровский „Сплин“ трансформирует в свою „Тоску“, и, наконец, Набоков уже онегинско-пушкинскую „тоску“ переводит как *ennui*, совершая единственно правильный „обратный перевод“ и восстанавливая необходимый параллелизм (употреблением еще оцутимо французского слова в английском тексте, как Бодлер некогда использовал английское слово *spleen*, именуя свои французские стихи). И последний штрих, небесполезный для полноты этой паутины взаимосоответствий: саму пушкинскую „скуку“ (родственную *ennui*) Набоков переводит на английский как *spleen* („наводит скуку и томление“ — „*cast spleen and languishment*“).

То, что русская „тоска“ в начале прошлого века была еще вполне безобидна и прочно привязана к „любвонной меланхолии“, сказалось на переводе еще одного слова, на этот раз немецкого, не менее тесно связанного с „текстом Тоски“, чем *ennui*, и оказавшего не меньшее влияние на формирование специфически русской „тоски“ — *Sehnsucht*. Так же, как *Spleen* у Бодлера и Тоска у Анненского, это слово стало именем целой группы стихотворений Гете и Шиллера, как бы открывая мировую музыкальную тему „поэтики заглавий“. Чуть позже мы увидим, что в XX веке перевод *Sehnsucht* „тоской“ (в том числе и предромантической *Sehnsucht*, *Sehnsucht* Шиллера и Гете) стал делом обычным (а для Вяч. Иванова, например, вообще единственно

возможным). В 1811 же году название знаменитого стихотворения Шиллера „Sehnsucht“ было переведено Жуковским как „Желание“, а отнюдь не как „Тоска“, тогда как при переводе того же Шиллера Жуковский свободно употребляет такие словосочетания как „тоска по милому“, „тоска о минувшем“ (также в связи с погибшей любовью) и т.п. Впрочем, и у Гете Sehnsucht — это еще вполне земное переживание, нередко связанное с любовными перипетиями (хотя настойчивое приращение этому слову „жанровой“ окраски по-своему отчуждает, абстрагирует, отерминологичивает его). Но уже у его младших современников, у немецких романтиков, Sehnsucht и впрямь становится одним из „главных слов“, превращается не только в символ, но и в термин, приобретает поистине глобальную значимость. Именно в unendliche Sehnsucht — „бесконечном томлении“, пробуждаемом „рычанием страха, трепета, ужаса, скорби“, видит Гофман „сущность романтизма“ (для нас безразлично, что „скорбь“ здесь у Гофмана — это Schmerz, т.е. „мука“, „боль“). Гофман противопоставляет это „неясное томление“ аффектам, выражаемым словами, для него это невыразимое переживание, „предчувствие чудесного мира духов“, мука (Schmerz), в которой только и „продолжаем мы жить“⁷. С ним согласен и Уланд, который, раскрывая смысл романтического отношения к миру, также не обходится без вездесущей Sehnsucht: „Лучшие силы души тянутся с бесконечной тоской (mit unendlicher Sehnsucht) в бесконечную даль... Дух человека, устав от неопределенно-блуждающего томления, соединяет вскоре свои страстные желания (seine Sehnsucht) с земными картинами, в которых ему все же чудится отблеск сверхъестественного... смутная тоска (jene dammernde Sehnsucht) по бесконечному“⁸. (Обратим внимание, что современный переводчик вновь, как некогда Жуковский, подменяет немецкую „тоску“ — „желанием“, правда, лишь единожды. С точки зрения „читаемого“ нами „текста Тоски“ это не рядовая переводческая небрежность, но сигнал некоего подспудного тока: пара „желанье и тоска“ весьма значима для Анненского, она появляется в „Тоске мимолетности“, в черновике „Моей Тоски“, в трагедии „Фамира-кифаред“ и т.д.; именно эта пара замыкает „текст заглавий“ первого сборника Анненского „Тихие песни“: две последние песни этой книги — это „Тоска“ и „Желание“.) Наконец, для Ф.Шлегеля тоска-Sehnsucht становится одной из определяющих категорий целой философской системы, излагаемой в его „Развитии философии в двенадцати книгах“: „Томление (Sehnsucht) — это неопределенная склонность к чему-то, нельзя даже сказать, что произвольная, ибо она слишком неопределенна... Томление (Sehnsucht) в его изначальной форме — это неопределенное бесконечное влечение, неопределенная деятельность... Стремление в безмерную смутную даль, томление по неведомому благу...“⁹. Резко антиромантически настроенный Гегель в практически одновременно с курсом лекций Шлегеля написанной „Феноменологии духа“, явно полемизируя с теми, кто „так беден, что... лишь томится по скудному чувству божественного вообще“, отдает „движение бесконечной тоски“ (die Bewegung einer unendlichen Sehnsucht), чья „сущность есть недостижимое потустороннее“, ускользающее, вернее, уже ускользнувшее — раздвоенному „несчастному сознанию“, способному лишь на „устремление к мышлению“, на „музыкальное мышление“, остающееся „диссоциирующим перезвоном колоколов или теплыми клубами тумана“ и „не доходящее до понятия“¹⁰. Та же романтическая установка критикуется им в образе „прекрасной души“, которой недостает „силы сделать вещь и выдержать бытие“. Ее „действие есть томление (das Sehnen), которое... только теряет себя“; она „истлевает внутри себя и исчезает как аморфное испарение, которое истлевает в воздухе“¹¹. (Ср. также „опустошение веры“ просвещением, когда та превращается в „чистое томление“ (ein reines Sehnen), чья „истина есть пустое потустороннее“. Любопытно, что Г.Г.Шпет последовательно переводит Sehnen как „томление“, оставляя за Sehnsucht именно „тоску“.) Гипостазировав романтизм в рамках своей системы в виде „несчастливого сознания“, „опустошенной веры“ и „прекрасной души“, Гегель вполне адекватно использует понятие „тоски-Sehnsucht“ для их описания, добросовестно сохраняя при этом основные романтические характеристики этого „термина“, в частности, бесконечность, неопределенность, аморфность.

Эти новые оттенки немецкого слова, открытые и освоенные немецкими

романтиками, оказали важное влияние и на трансформацию русской „тоски“. Новизну и специфику романтической Sehnsucht, неадекватность обывденных русских слов этому термину еще достаточно остро ощущает Н. Станкевич: он неоднократно в своих письмах прибегает к вклиниванию в русский текст непосредственно немецкого, непеределенного слова, опасаясь утратить в более вялой и еще слишком окрашенной любовью „тоске“ или неопределенно-статичном „томлении“ ту устремленность („тягу“), напряженность и, главное, позитивность, что столь вятно звучат в немецком оригинале. Да и сам факт иноязычности стилистически был адекватен стремлению к особой метафизической возвышенности, которая была явно не передаваема плоскими и земными русскими словами — недаром даже значительно более простые с переводческой точки зрения слова, такие, как *Jenseits* - потустороннее или *Schonseeligkeit* - прекраснотушие премухинские лотобудры тоже сплошь и рядом норовили оставить без перевода¹². *Sehnsucht* появляется у Станкевича, например, в письмах Неверову от 20.05, 2.06 и 11.06 1833 года, Т.Н. Грановскому от 8.05.1838 года, М.А. Бакунину от 9.02.1838 года, Л.А. Бакуниной от 20.01.1837 года. В последнем Станкевич, в частности, подчеркивает „невыразимость“ этого чувства, его „мучительность“ и, что особо значимо для нас, его „такость“: „...такое мучительное чувство, такое *Sehnsucht*, которое я Вам не могу выразить“¹³. (Ср. также письмо В. Боткина А.А. Бакуниной от 31.07.1839 года: „Впрочем, в моей душе вам было бы нечего читать — одно *gemachtiges Sehnen* — больше ничего“.) Если Станкевич и пробует „перевести“ *Sehnsucht* — то это будет скорее „страстное влечение“ (вспомним „желание“ Жуковского), чем „тоска“¹⁴. Но уже Тютчев в „Бессоннице“ и особенно в стихотворении „Тени сизые смесились“ без колебаний использует именно „тоску“ в качестве, по существу, эквивалента немецкой *Sehnsucht* („Кто без тоски внимал из нас / Среди всемирного молчанья / Глухие времени стеланья...“ / „Час тоски невыразимой... / Все во мне и я во всем!“).

Романтическая эволюция немецкой *Sehnsucht* во многом параллельна (антипараллельна, точнее) эволюции французского *ennui*: обе „тоски“ обретают философское измерение. При этом *ennui* не делаются отчетливо демоническими чертами (особенно после Бодлера; впрочем, ведь и по поводу скуки, переведенной русским Фаустом с французского, охотно разглагольствует у Пушкина не кто-нибудь, а Мефистофель). *Sehnsucht* продельвает противонаправленную эволюцию, покрываясь „ангельским“ глянцем. И к обоим этим несовместимым полюсам одинаково близка оказывается, как это ни парадоксально, русская „тоска“, с легкостью присваивающая себе черты как одного так и другого романтического „термина“. Характерно, что ни один из почти двух десятков немецких переводчиков Бодлера, подыскивая для бодлеровского *ennui* наиболее адекватную замену и весьма подчас значительно расходясь со своими коллегами (здесь и *Langeweile*-скука, и *Ueberdross*-пресыщение, и *Verdrossenheit*-досада и даже попросту *Depression*) — ни один не вспоминает о тоске-*Sehnsucht*, наглядно демонстрируя тем самым несоизмеримость *Sehnsucht* и *ennui*¹⁵. В то время как, переводя *Sehnsucht* Гофмана или Гете, русские поэты точно так же не чураются „тоски“, как и переводя *ennui* Бодлера или Верлена — столь же наглядно эту „несоизмеримость“ игнорируя, поскольку в их распоряжении имеется „общий знаменатель“ русской „тоски“.

Sehnsucht точнее переводить, пожалуй, как „томление“, но при этом существенно смягчаются „тяга“, „беспокойство“, „желание“ немецкого образца (ведь *Sehne* по-немецки — это „тетива“: зримый, овеществленный — совсем по-Анненскому! — образ тяги, натяжения). Поэтому, когда именно последние оттенки представляются русскому переводчику более важными, он все-таки предпочтет „тоску“, которая в значении „тосковать по кому-либо или чему-либо отсутствующему, стремиться к ним“ эти оттенки сохраняет (не ограничиваясь более, как во времена Жуковского, любовной тематикой). Более того, Вяч. Иванов, весьма тесно связанный с немецкой романтической традицией, уверенно и безапелляционно использует только „тоску“ как единственно возможный эквивалент *Sehnsucht* (и наоборот). Так, одним из основополагающих для его мировоззрения произведений является стихотворение Гете „*Seilige Sehnsucht*“, одна из строчек которого, „*stirb und werde*“, становится лейтмотивом всего его творчества. Название этого стихотворения (а это не просто

название, но наименование ключевого для Иванова переживания) он всегда переводит как „Святая тоска“, а отнюдь не как „Блаженное томление“, как это делает, например, В.Левик¹⁶. И Пастернак в знаменитой „Песне арфиста“ именно „тоской“ передает гетевский *Sehnsucht*: „Nur wer die Sehnsucht kennt, / Weiss, was ich leide...“ — „Кто знал тоску, поймет / Мои страдания“ (Мей использует в этом месте „свиданья жажду“, стараясь удержать те же оттенки значения, но в такой прямолинейности утрачивая ту „неопределенность“ и „бесконечность“, что отличают немецкую *Sehnsucht*). Примечательно, что в другой „Песне арфиста“ из того же „Вильгельма Мейстера“, где в оригинале имеется лишь „боль“ и „мука“ (*die Pein, die Qual*); русские переводчики настойчиво трансформируют их в „тоску“: „Так бродит ночью и днем / Кругом меня тоска“ (Тютчев); „С тоской наедине... Так крадется ко мне тоска...“ (Пастернак). Аналогично поступает и Жуковский при переводе гетевского „Утешения в слезах“: „...was mich, den Armen, qual“ превращается под его пером в „...что понял я с тоской“. Среди полудюжины французских слов, заменяемых переводчиками Бодлера единственной русской „тоской“, мы обнаруживаем и вполне аналогичное немецкому мучению-*Qual* — мучение французское *torture* (Эллис, „Мечта любопытного“).

Не менее характерно последовательное использование Набоковым синонимов боли, муки, страдания при переводе „тоски“ Евгения Онегина на английский язык (причем исключительно „тоски любви“ — для других разновидностей пушкинской „тоски“ Набоков, как мы увидим, весьма аккуратно подбирает иные английские эквиваленты): „опять тоска, опять любовь“ — „again the *ache*, again the love“; „пишу, и сердце не тоскует“ — „I write, and the heart does not *pine*“; „слова тоскующей любви“ — „the words of *aching* love“; „тоска любви Татьяну гонит“ — „the *ache* of love chases Tatiana“; „в тоске любовных помышлений“ — „in throes of amorous designs“ и т.д. „Тоска“ трактуется — и Жуковским, и Тютчевым, и Эллисом, и Набоковым, и Пастернаком — как синоним „сердечной муки“, что вполне адекватно „тексту Тоски“ Анненского (с „главой муки“ в нем); вспомним, что и сам Анненский поступает вполне „симметрично“, отождествляя бодлеровскую *Tosku-Angoisse* с Мученьем, поскольку собственно „тоска“ зарезервирована в его переводах за *Ennuis*-Скукой. Наконец, само романтическое понятие „мировой скорби“, аспектами которого являются и *ennui*, и *Sehnsucht*, и *spleen*, — и тоска — звучит по-немецки как *Weltschmerz* — буквально, „мировая боль“.

Sehnsucht оказала тем большее влияние на русских поэтов и критиков, что, как мы уже говорили, превратилась у немецких романтиков в философский термин. Но история „тоски“-термина не заканчивается первой половиной XIX века. Эстафету романтиков перенимает М.Хайдеггер, который подчеркивает в „тоске“ тот же момент размывания граней, раз-граничения — а, значит, в какой-то мере и раззнакования: „Глубокая тоска, бродящая в безднах нашего бытия, словно глухой туман, смещает все вещи, людей и тебя самого вместе с ними в одну массу какого-то странного безразличия. Этой тоской приоткрывается сущее в целом“¹⁷. (Как странно: и у Хайдеггера, и у Гегеля — отнюдь, вообще говоря, не склонного, в отличие от своего экзистенциал-коллеги, к поэтической образности — „тоска“ погружена в „туман“. А если к этому еще добавить строки весьма вольного переложения Анненским стихотворения Лонгфелло: „Но дальше, чем дождь от тумана, / Тоска от печали едва ль...“, и его же „Последних сиреней“: „Дождя осеннего тоскливей и туманней...“ — то „туман тоски“ предстает перед нами почти универсальной мифологемой...).

Характерно, что комментируя цитированное выше место работы Хайдеггера „Что такое метафизика“, В.Бибихин вполне резонно ссылается на тютчевские строки из стихотворений „Бессонница“ и „Тени сызье смесились“: хайдеггеровская „тоска“ оказывается ближе к поэтическому претворению шлегелевских отвлеченностей, нежели к ним самим, что как нельзя более уместно в отношении философа, для которого язык поэзии говорит о бытии больше, чем язык философии и который сам невиданно поэтизировал философский дискурс. Солидаризируясь с Анненским (и с Гофманом), Хайдеггер, описывая тоску как предчувствие переживания сущего в целом, упоминает и „скуку“, и „страх“. Точнее, „ужас“ — *Angst*, этимологически родственный

сжимающей сердце тоске *anxietas-anxiety-angoisse* (см. далее): „Ужас... состоит... в тайном союзе с открытностью и смиренном творческой тоски“. Обратим здесь внимание на эпитет „творческая“, напоминающий нам о поэтических обертонках „тоски“, очень важных для понимания „Моей Тоски“ Анненского и нечуждых, как мы увидим, и Пушкину. Впрочем, здесь мы опять попадаем в лапы всемазывающей русской „тоски“, уравнивающей в переводе то, что в оригинале отнюдь не эквивалентно: „творческая тоска“ Хайдеггера — это, естественно, *die schaffende Sehnsucht*, а вот та туманная „тоска“, приоткрывающая сущее в целом, „бродящая в безднах нашего бытия“ и т.п. — это вовсе не *Sehnsucht*, а *Langeweile*, скука, наиболее частый аналог бодлеровского *ennui* в переводах „Цветов зла“ на немецкий язык. Хайдеггер имел в виду разные понятия, разные переживания — в русском переводе для них нашлось одно и при этом в обоих случаях вполне адекватное имя; только такая „небрежность“ и позволила столь кстати помянуть Тютчева. Более того, как мы увидим, даже хайдеггеровский *Angst* (по Хайдеггеру, всего лишь „состоящий в родстве“ с *Sehnsucht*) может трансформироваться все в ту же русскую „тоску“.

Универсальность всех этих описаний, самой этой связки „тоска-скука-страх-боль“ указывает на то, что и Анненский, и Хайдеггер, и Бодлер пытаются описать, уловить фундаментальное переживание, фундаментальное определение поэзии и мира в целом. Ведь неслучайно „тоска“ Хайдеггера, так же, как и „тоска“ Анненского — это именно погранично переживание, переживание границы (как и „тоска“ Шлегеля, и „тоска“ Улаанда, и даже „тоска“ Гегеля). (Ср. у Анненского такие стихотворения, как „Тоска кануна“, „Тоска мимолетности“, „Тоска вокзала“, уже в заглавиях эту пограничность фиксирующие.)

Благодаря этим своим десигнификационности, дереализационности и пограничности, столь важным для экзистенциалистских построений вообще, „тоска“ становится своего рода категорией экзистенциальной философии. Эта философия предприняла глобальную атаку на классический терминологический багаж, отказываясь от старых терминов и подвергая терминологизации слова обыденного языка: „тоска“ в стороне не осталась. Это выбивание из-под философии общеевропейского греко-латинского фундамента играет подчас злые шутки с переводчиками, рельефно демонстрируя глубинную неперево-димость (а значит и нетерминологичность) новых понятий-переживаний. Так, в комментариях к „Мифу о Сизифе“ А. Камю, С. Зенкин вполне справедливо характеризует появляющуюся в тексте перевода С. Великовского „тоску“ (*angoisse*) как „слово, получившее смысл термина... и широко используемое в экзистенциальной философии XX века“¹⁸. Однако, содержащаяся в этом же примечании ссылка на Киркегора по меньшей мере двусмысленна: его книга, на которую С. Зенкин указывает как на источник термина „тоска“, называется „*Begrebet Angst*“ — буквально „Понятие страха“, как и переведено это заглавие в вышедшем недавно по-русски одномомнике, а вовсе не „Понятие тоски“, как сказано в комментарии. Недоразумение (которое полностью исчезает, если перевести комментарий обратно на французский язык: как указано самим С. Зенкиным, при составлении примечаний им использованы французские комментарии Л. Фокона и Р. Кию — „особенно“ как раз комментарий к „Мифу о Сизифе“) недоразумение связано с тем, что французским аналогом датского *Angest* (и следующего ему хайдеггеровского термина *Angst*) является этимологически им родственное *angoisse*, по-русски чаще всего переводимое как „тоска“: если по-немецки название упомянутой книги Киркегора звучит как „*Der Begriff Angst*“, то французская версия — это как раз „*Le Concept d'angoisse*“. И французское (вполне адекватное) название книги Киркегора уже можно перевести (вполне адекватно) как „Понятие тоски“. Соответственно и в том месте „Мифа о Сизифе“, где нас остановила *toska-angoisse*, немецкие переводчики (Г. Г. Бреннер и В. Раш) предлагают в качестве ее эквивалента отнюдь не *Sehnsucht*-тоску, но *Angst*-тревогу, страх. Так же, как именно *Angst* заменяет *Angoisse* — „Тоску-Царицу“ четвертого „Сплина“ Бодлера в переводе Ст. Георга — этот этимологически и семантически естественный вариант служит своего рода подсудным основанием для совершенно нестандартного преобразования Эллисом того же самого бодлеровского персонажа в „призрак Ужаса“: это своего рода инверсия того смыслового соскальзывания, что наблюдается вблизи „Мифа о Сизифе“.

Русская „тоска“ вновь оказывается „слишком широка“, она не просто родственна страху (в чем еще раз можно убедиться в ходе анализа текстов Анненского), но уже почти поглощает его в своем всесмазывающем тумане.

В этом плане корректнее (вернее, иллюзорно-спасительнее) перевод А. Руткевича, который в том же месте „Мифа о Сизифе“ использовал в качестве эквивалента *angoisse* — „тревогу“, слово, как бы совмещающее некоторые стороны как „тоски“, так и „страха“. (Неточность перевода и плавное перетекание оттенков смысла при движении от датского и немецкого слова к русскому через французское и наоборот, как бы ненароком толкающее комментатора и переводчика на подмену „страха“ „тоской“, а „тоски“ — „страхом“ в перспективе глобального „текста Тоски“ (и даже одной его анненской части) представляется отнюдь не бессодержательным: недоразумение оказывается поразительно — и подозрительно — уместным.)

Однако, из всех французских аналогов именно *angoisse* является, по-видимому, наиболее близким к русской „тоске“. Об этом свидетельствуют прежде всего опыты переводов соответствующих французских текстов. Мы видели, в частности, что, несмотря на сложности, связанные с *ennui*, многие русские переводчики именно „тоской“ заменяют *Angoisse* Бодлера в четвертом „Сплене“ (см. также „Мечту лобознательного“ в переводе Петрова, „Непоправимое“ в переводе Левика и т.д.).

Имеется поистине уникальный образец такого текста: французское стихотворение Тютчева, который в „Бессоннице“ и ряде других стихотворений дал глубочайшие и тончайшие примеры русской „тоски“ и немало способствовал развитию ее метафизичности (с оглядкой на Германию, на *Sehnsucht* — тем любопытнее его „экскурсия“ на „ничейную землю“ третьего языка). У Тютчева *angoisse* появляется в перечислительном ряду с однозначно по-русски трактуемыми *effroi*-страхом и *tristesse*-печалью (чем еще раз подчеркнуто, кстати, промежуточное положение „тоски“ — по крайней мере *tоски-angoisse* — между этими переживаниями): „*Comme en aimant le coeur devient pusillanime, / Que de tristesse au fond et d'angoisse et d'effroi!*“. Это сочетание, наряду с явным небезразличием самого Тютчева к „тоске“ делают вполне убедительным перевод С. Соловьева, который, нарушив синтаксическую конструкцию, сохранил столь важную для Тютчева семантику всех трех обозначающих переживания слов: „Как любящую грудь печаль и ужас гложет, / Как серада робкое сжимается тоской!“. При этом Соловьев выделил для „тоски“ особый глагол, заставил ее „сжимать сердце“, чего буквально в оригинале Тютчева нет — зато у самого слова *angoisse* имеется соответствующее значение („стеснение в груди“), этимологически к тому же мотивированное.

Этот оттенок смысла, развернутый переводчиком, очень важен для еще одной терминологической ипостаси слова „тоска“. Дело в том, что „тоска“ — это не только философский, но и психиатрический термин, причем в описании так называемой „витальной тоски“ подчеркивается именно „стеснение в груди“. „Витальная тоска“ — это русскоязычный термин, являющийся переводом введенного К. Шнайдером понятия „*vitale Traurigkeit*“, буквально: „витальная печаль“ (именно так, отступая от сложившейся в русской литературе традиции, но формально точнее этот термин и переведен в изданном не так давно „Руководстве по психиатрии“). Эта терминологическая рассогласованность позволяет определеннее почувствовать дистанцию, разделяющую „тоску“ с ее немецкой сестрой *Sehnsucht*: последняя никак не могла бы подменить *Traurigkeit* в немецком наименовании депрессивного переживания — она излишне „энергична“, даже можно сказать „мажорна“ для этого. С другой стороны *Traurigkeit*-печаль лишена свойственных *Sehnsucht* беспредметности, бесконечности, той „ляги“, что Гейне назвал „зубной болью в сердце“, а Ап. Григорьев, вторя ему, выразил еще „эффектнее“: „Сердце ноет, ноет, ноет, / Словно зуб большой“. В „Цыганской венгерке“ тот же Ап. Григорьев уже непосредственно соотносит это „занывание сердца“ с „тоской“: „Что же ноешь ты мое / Ретиво сердечко... Я у ног твоих — смотри — / С смертной тоскою“. („Тоска“ появляется и в третьем из наиболее знаменитых стихотворений Ап. Григорьева из цикла „Борьба“: „Душа полна такой тоской...“ — появляется, снабженная тем, еще более десигнифицирующим ее „определением“ „такая“, которое буквально липнет к „тоске“.) „Ноющее сердце“ — это очень распрост-

раненный, восходящий, видимо, к фольклору образ. Ср. у Ю.Нелединского-Мелецкого в весьма в свое время популярной песне „Выйду ль я на реченьку“ с ее своеобразной сентименталистской фольклорностью: „Часто милая твердила: / Сердце поет у нее. / Я услышал, — и зануло / Сердце тотчас и мое... ..Сердце поет, изнывает, / Страсть мучительну тая...“ Это „занывание сердца“ включено здесь в достаточно богатый синонимический ряд, все члены которого так или иначе встречаются нам либо в самом „тексте Тоски“ Анненского, либо в белом обзоре иноязычных аналогов главной героини нашего повествования: горе, горесть, мысль стремится, злая грусть, томный дух, страдает, мучительный — и, наконец, она сама собственной персоной: „Лучше век в тоске пребуду, чем его мне позабыть“. Более того, В.И.Даль, раскрывая в своем словаре оттенки значения слова „тоска“, дает в качестве одного из его синонимов „воюку сердца“ — равно как, впрочем, и „стеснение духа“. („Стеснение“ же является по И.Срезневскому важным смысловым компонентом древне-русского „тѣска“.)

Русская тоска-стеснение так же, как и тоска-занывание, обнаруживается отнюдь не только в словарях. Неизвестно, базировался ли Пушкин на своих славянских интуициях или находился под влиянием французской лексики, но для него ассоциация „тоски“ как раз со „стеснением“ более чем естественна. Вспомним почти дословно повторенный в VI главе „Евгения Онегина“ отрывок из пушкинского же переложения „Orlando furioso“ Ариосто: „И неотступная тоска, / Как бы холодная рука / Сжимает сердце в нем ужасно“; вспомним, как сжимается „сердце, полное тоской“ у Ленского; наконец в „Воспоминании“ этот компонент значения слова „тоска“ вызывает почти физические ощущение невыносимости: „В уме, подавленном тоской, / Теснится тяжких дум избыток“. Мы видим, что два достаточно удаленных семантических момента, два различных мучительных переживания, „занывание“ и „стеснение“, будучи объединяемы русской „тоской“, в других языках поляризуются: и *angoisse*-тоска тяготеет к „стеснению“, тогда как *Sehnsucht*-тоска — скорее к „заныванию“ (так же, как, впрочем, и ее оппонент *ennui* — „постылая тяга“). Это нечто совсем иное, чем „нейтрализация оппозиции“ или „медиаторная функция“ в структуралистском духе — под вопрос ставится сама знаковая, сам смысл как таковой, причем совершается это в недрах языка, а не на его заумной периферии.

Но с определенностью соотнося в структуре значений слова *angoisse* депрессивные переживания со „стеснением в груди“, французский язык на самом деле лишь перенимает эстафету у языка латинского, в котором этимологически родственное слово *ango* (*anxi*) как раз и означало одновременно „тревожить“, „беспокоить“, „испытывать тоску“ и „стеснять“, „сдавливаться“. Не случайно сходный со шнайдеровской „вигальной печалью“ симптом, который в русской медицинской литературе именуется „предсердечной тоской“ и характеризуется тем же „субъективным чувством напряжения... в области сердца“, по латыни звучит как „*anxietas praecordialis*“¹⁹. Характерно, что *angustus* означает по латыни попросту „узкий“, „тесный“, а *anguis* — это „змея“: не та же ли это самая „змея сердечная“, угрызения которой в „Воспоминании“ Пушкина упомянуты непосредственно перед „теснящей“ и „сдавливающей“ тоской — язык проговаривается в стихе, сохраняя в своих глубинах схемы связи слов, моделирующие некие фундаментальные переживания. Немецкий язык воспроизводит ту же связь „стеснения“ и „тоски-тревоги“, но уже не в одном слове, как его французский собрат, а в двух разных, хотя и родственных: *Angst* — страх, тревога и *eng* — узкий: потому и уместна оказывается подстановка *Angst-Angoisse* в давящей атмосфере четвертого „Сплина“ Бодлера-Георге.

Английские наследники латинской „змеи“ — это *anguish*, *anxiety*, *anger*. Все они формально достаточно удалены от русской „тоски“, отражая лишь отдельные компоненты семантической структуры этого слова. Обратим внимание прежде всего на слово *anguish*, которое переводится как мука, боль, в особенности боль душевная. *Anguish* становится наиболее естественным английским эквивалентом бодлеровского *angoisse* — в „Непоправимом“, в „*Reversibilité*“, в четвертом „Сплине“²⁰. Именно это слово (со своеобразным этимологическим намеком на возможный французский источник „сердечного стеснения“ у Пушкина) употреблено Набоковым при переводе цитированных

выше строк VI главы „Онегина“: „ревнивая тоска“, сжимающая сердце, превращается у него в „jealous anguish“, а „полное тоской“, сжимающееся сердце Лейского — в „the heart contracted, full of anguish“. (Набоков при этом сохраняет последовательность в употреблении синонимов „боли“ для „любвонной тоски“, каковой у Пушкина является и эта, сжимающая сердце.) На том же „змеино“ по своей этимологии слове останавливает свой выбор Набоков и для воспроизведения „тоски сердечных угрызений“ из VI же главы, живо напоминающей „змеи сердечной угрызения“ „Воспоминания“: „in anguish of the heart's remorse“, — замыкая тем самым очередной круг соответствий. Может показаться непоследовательностью, что при переводе столь же недвусмысленно сцепляющих „тоску“ и „стеснение“ строк из „Путешествия Онегина“: „Какой волшебною тоскою / Стеснялась пламенная грудь“ — Набоков отступает от своей этимологической находки, используя для „тоски“ более тривиальный английский аналог „yearnfulness“: „With what magical yearnfulness / My flaming bosom was compressed“. Здесь, однако, угадывается более серьезная подоплека: тоска „Путешествия“ — это уже отнюдь не „тоска любви“, каковой она и была по преимуществу в основном тексте Романа, это не та „тоска“, которая противопоставлена „позии“ в I главе („пишу, и сердце не тоскует“), а, напротив, тоска творческая. Для такой не-любвонной, творческой тоски Набоков и вынужден прибегнуть к другому английскому слову, лишенному того значения боли и муки, что устойчиво ассоциированы переводчиком с пушкинским любвонной тоской — и столь явном в „гнетущем“ anguish — жертвующим при этом этимологическим подтекстом. Это подтверждается тем, что и в рамках самого Романа, в том лирическом отступлении IV главы, где редкая здесь нелюбвонная тоска напрямую соотносена со стихами: „тоской и рифмами томим“ — Набоков употребляет по сути то же самое слово, что и в смутившем нас месте „Путешествия“: „haunted by yearning and by rhymes“.

Не перечисленные покамест переводы „тоски“, которые можно обнаружить в словарях: английское melancholy, французские tristesse и douleur (Эллис и Альвинг, например, в своих переводах Бодлера неоднократно подменяют именно последнее слово „тоской“; см. „Vrai“, „Semper eadem“ и др.), немецкое Gram (вместе с упомянутым выше Traurigkeit) — точнее передаются такими словами как „скорбь“, „печаль“, „уныние“. Аналоги русской „тоски“ разделяются, таким образом, на три большие группы: в одной из них акцентируется семантика нехватки, тяги, стремления, томления (сюда же относятся, по-видимому, и „поэтическая тоска“); в другой преобладают тревога и беспокойство — и даже страх и мука; наконец третья тяготеет к смысловому полю „слабых состояний“ — горя, уныния, скорби. Русская „тоска“ объединяет все эти семантические тенденции, изрядно при этом редуцируя их остроту: это как бы ослабевающая тяга-Sehnsucht, замирающее беспокойство-angoisse, блекнущее горе-Traurigkeit, ноющая и стесняющая, но не разрывающая боль-anguish. В дополнение к этим трем смысловым направлениям, в которых развертывается содержание „тоски“, в русском слове подразумевается еще и четвертое, которое вполне точно передается синонимом „скука“ и с которого мы, собственно, и начали наши поиски. Русское „наводит тоску“ говорится как раз про что-то однообразно-нудное („есть ли что-нибудь нудней...“ — „Тоска вокзала“ Анненского), неинтересное — ср. у Карамзина, например: „чтоб красавиц лишь заставить / От скуки и тоски звать“. Возгласы „тоска!“, рефреном повторяющиеся в „Путешествии Онегина“, также определенно относятся к „скучной“, приевшейся герою жизни и природе. Мы видели, что почти каждый из этих смысловых оттенков более или менее явно преобладает в том или ином месте „Евгения Онегина“ (тоска-боль, тоска-томление, тоска-скука) — и Набоков всякий раз использует другое английское слово для адекватного перевода одного и того же русского слова в разных контекстах. И это не общее место переводческой практики, но глубинная непереводаемость именно этого слова: „тоска“.

В таком „дроблении“ одного слова на несколько утрачивается, конечно, таинственно многозначительная смысловая аморфность оригинала — и одновременно его неуловимая глубина: обещание глубины, скрытой в единственности русского слова, распадающегося на несколько английских — то самое неуловимое обещание, что и составляет особую, лишь по-русски сохраняемую

прелесть Пушкина, который, будучи „проснен“ переводом на логически более вышколаченный язык, и впрямь может становиться, как с удивлением заметил Флобер, „просто плоским“: еще бы, если одно и то же слово по-разному переводить в разных контекстах — что, как мы убедились, непреодолимо даже для такого мастера, как Набоков, поскольку заложено в самых основах языковой картины мира: русской с одной стороны и английской (французской, немецкой) — с другой. Тот же Набоков не в силах воспроизвести тонкую тавтологичность, парадоксально сцепляющую простонародность и заемную, но внутренне мотивированную литературность в хрестоматийном обращении Татьяны к няне: „Ах, няня, няня, я тоскую, / Мне тошно, милая моя“ — то сцепление, что опять-таки является одной из важнейших черт „милого идеала“ любимой пушкинской героини, „русской душой“ и плохо знавшей по-русски одновременно. По-английски утрачена оказывается не только эта тавтологичность, но и вообще связь с пушкинским лейтмотивом „любовно́й тоски“ (ache and anguish по-набоковски). Tatiana Набокова обращается к своей nurse со словами совсем иного „репертуара“: „Oh, nurse, nurse, I feel dismal, / I am sick at heart“ (хотя в обратном переводе связь восстанавливается: to be sick — это значит „болеть“, а русская „болезнь“ хорошо помнит свое происхождение от „боли“; русский язык даже в обратном переводе спрессовывает, агломерирует распыляющиеся в „раздельной ясности“ английской речи смыслы). Обратную в каком-то смысле картину мы видим в русских переводах Бодлера: разные и подчас принципиально не идентичные для него слова вполне адекватно передаются одним единственным русским словом „тоска“. (И о той же страшной, истощающей силе русской „тоски“ „проговариваются“ небрежности русских переводчиков Хайдеггера и Камю.)

Вернемся, однако, к „тоске-скуке“. Предпочтение, оказанное Набоковым французскому слову *ennui* при переводе „тоски-скуки“ „Путешествия Онегина“, имеет дополнительное основание в том, что именно скука (*ennui*) и самому Пушкину поначалу казалась метафизичнее и даже демоничнее, чем тоска, слишком прочно еще ассоциированная в то время с любовью или нехваткой. Французско-немецкая переориентация русской культуры в тридцатых-сороковых годах прошлого века переломила эту наметившуюся было тенденцию „приоритета скуки“: условно говоря, ангельская *Sehnsucht*, наложившись на демонический *ennui*, и породила специфически русскую „тоску“; точнее, этот культурный сдвиг способствовал активизации уже заложенных в слове „тоска“ недожизненных потенций, обогатив его к тому же и новыми, заимствованными возможностями.

„Скучность“ „тоски“ — четвертый основной компонент в структуре значений этого слова — как бы выделяет в чистом виде ту особенность деформации трех ее остальных компонентов, что была отмечена ранее, а именно, их нивелирование в „тоске“ (особенно в сравнении с европейскими эквивалентами), впрыскивание в них яда однотонности, размывание их смысловой определенности — и, как следствие этой нарастающей неопределенности, все большее впадение в неопределимость. „Тоска“ воистину „туманна“ — смысл соответствующих пассажира Гегеля и Хайдеггера проясняется, как это ни парадоксально, лишь в русском переводе. В том же направлении действует и сама поливалентность смысловой структуры „тоски“, совмещение в этом слове очень разных смыслов, в других языках, как правило, разномысленных по разным лексическим гнездам. „Тоска-печаль“, „тоска-стремление“, „тоска-мука“ и „тоска-скука“ по-немецки, по-французски, по-английски будут, скорее всего, выражены разными словами, единого интегрального имени, подобного „тоске“ в этих языках нет. Эта неопределенность и неопределимость, „туманность“, „такость“, которую вполне можно считать пятым важнейшим компонентом семантики „тоски“, в какой-то мере наличествует и в *Sehnsucht*, но там это лишь неотчетливость цели „стремления“, а не аморфность смысла самого слова (ср. у Ф.Шлегеля: „... это неопределенное бесконечное влечение не направленное на определенный предмет, но имеющее бесконечную цель... предчувствие бесконечного величия и блаженства“²¹).

Семантика русской „тоски“ формировалась под очень сильным воздействием иностранных слов. Ассимилируя западные влияния, русское слово размывает их границы, размягчает, в какой-то степени даже обесмысливает.

Эта „ничтожащая“ сила „тоски“ была как бы предуказана в колыбели самого этого слова: этимология предполагает его связь со словами „тощий“ („скудный“, „пустой“) и „тщетный“: а этимология не изглаживается полностью, язык следует путем, загаданным в истоке, да ведь и мы еще вполне явственно различаем соответствующую „внутреннюю форму“ (не говоря уже о не менее характерной цепочке тоска-тошно-тошнить) — так же, как немцы слышат „натяжение тетивы“ в Sehnsucht, а французы „стеснение“ в angoisse: какая, однако, разница!.. В семантической структуре слова „тоска“ чувствуется какая-то странная и неожиданная параллель с „замираниями“ Анненского, с напряжением и сгущенностью его предпереломного мира — расплывающимися в „финале“ произошедшего „события“. Не здесь ли — одна из возможных разгадок интуитивно ощущаемой адекватности этого слова — этой поэзии, разгадка назойливого возвращения тоски в заглавия и тексты стихов Анненского.

Таким образом, тоска — это не только переживание обесмысливания мира, когда „сердце пусто, празден ум“, когда все смещается „в одну массу странного безразличия“, когда от бесконечного повторения (от „тоски медленных капель“, от тоски однообразного узора обоев — от „тоски повтора“) испаряется смысл у некогда столь значимых слов, действий, впечатлений; но и само слово, „тоска“ становится как бы моделью этого переживания, опустошая свои смысловые ипостаси, смещая собственные смыслы, а не вещи и не людей в аморфную, трудноопределимую — „такую“ — массу. И в то же время именно десигнификация, совершаемая в „тоске“ и тоской — это, может быть, и не сам прорыв, но хотя бы намек на него, не сам Свет, но просвет, ответ, мерцание: тот фонарь Анненского, что „мигает, ... тоскуя“ — мы встаем на грань, с которой неминуемо сорвемся, не ожидая и даже, пожалуй, и не желая чуда — сорвемся: в тоску.

Возможно, нарисованная здесь картина отражает какие-то глубинные свойства русской культуры, служит неожиданной моделью того, как вообще происходит процесс заимствования (и, в конечном счете, фальсификации) западных влияний, которые накладываются на до конца так и не заглашаемые русские корни. Но в случае с „тоской“ (и только ли в этом случае?) мы сталкиваемся на самом деле с двусмысленным процессом: ведь размывание и смешение более точных и дифференцированных понятий сопровождается удивительной поэтизацией самого слова „тоска“ — становясь размытым и многозначным, оно превращается почти в некое „имманентно-поэтическое“ слово, происходит внутренняя поэтизация самой речи (а с ней и всего мироощущения) — почти уже независимо от сопряженности с тем или иным конкретным поэтическим текстом. Утрата точности, дефицит артикулированной четкости, столь болезненные для русской истории, для русской мысли, оторженность от юридической определенности слова-понятия, наущно необходимого в этой без-законной стране, этому вне-законному народу — оборачивается не только рассеиванием, но одновременно и спрессовыванием смысла, какого-то иного смысла, уплотненного до предметности, до бытия — в слове, которое не просто тоньше и глубже выражает некое переживание, но уже и само формирует его, тянет за собою, вытаскивая из безыменной тьмы, создает его не как мое или чье-то, но как переживание-бытие. Беззаконность и недифференцированность становятся своего рода предпосылками трансформации слова в сторону сгущения в нем иных, до конца не высказываемых значений, слово перерастает почти как знак: вот цена русской поэзии. Страшная цена, если вдуматься — на этом фоне теряют всякий смысл (не говоря уже о корректности) рассуждения об адекватности судьбы и слова; не все ли равно — чем и за что уплачено: скорее, зеркала, отражение друг в друге, когда уже невозможно угадать, где оригинал, а где копия — двойник, глядящий из зазеркалья, отражением которого твой мир на самом деле и является. И кощунственная логика чудовищного текста: не потому ли такова судьба русских поэтов, что по этим счетам, по счетам слова, должны платить в первую очередь именно они?

Слово становится загадкой: вот в чем смысл странного построения стихотворения-загадки „Моя Тоска“ Анненского, все „содержание“ которого можно свести к замечательно емкой констатации: „моя Тоска — это моя тоска“ — слово преодолевает себя как логос: нет ли и здесь аналогии с той склонностью к

умолканию, тягой в немолту, что так присуща нашей культуре, с той детской обидой на неисчерпаемость мира словами — ах, вот зы как: ну тогда я ничего и не скажу больше — с тем, что мой инземный уже приятель в сердцах обзвал „привычкой русских молчать и загадочно улыбаться“ — вместо честной вербализации своего отношения — так же, как со смертельной детской обидой: „ну, бросим стихи, и все“ — в знаменитом письме Маковского навсегда умолкает Анненский, оставляя после себя „одно недоуменье“ — одну тоску.

И еще один важный аспект: „тоска“ явно „интимнее“ своих неславянских собратьев, интровертированное, что ли: и тревога-angoisse, и томление-Sehnsucht в большей степени обращены в мир, это переживания контакта с миром а в „тоске“ этот контакт смазан, приглушен: тоска — моя, и ничего более. Еще Пушкин оговорился, что „сердечная тоска“ ямщицкой песни (наряду со сменяемым ею „разгулем удалым“) — это „что-то родное“. И недаром оба эти такие „родные“, такие русские состояния духа — разгулье и тоска — возникают у него в пути, на „зимней скучной дороге“, которая за беспредельностью однообразных пространств и неисчислимостью промежуточных станций перестает быть „путем куда-то“, превращаясь в протяжность саму по себе, хоть как-то защититься от невыносимой безмысленности которой можно лишь смирившись и сроднившись с нею. Не от этой ли „родственности“ тоски русскому человеку вкупе с такой же „родной“ покорностью и пассивностью идут эти дикие, должно быть, на западный взгляд уменьшительно-ласкательные суффиксы для этого все же отнюдь не приятного переживания вроде „тоскечушка немала“ народной песни. Ведь и Анненский признавался, что, кажется, не на шутку любит этого „зверя с зелеными глазами“, и последнее его слово было о ней, „близкой ему“ Тоске — это и было тем единственным, что он надеялся и страшился оставить после себя: не тома Еврипида, не статьи о Достоевском и Гоголе, и даже не „Кипарисовый ларец“ — а вот это неопределенное и неопределимое слово.

Эта „интимность“ сказалась, по-видимому, и в том, что связь „тоски“ с любовными переживаниями и в послепушкинскую эпоху еще ощущалась в восприятии этого слова (и прежде всего в поэзии). Даже у Тютчева, искушенного уже не только в сентименталистской *Instesse*, но и в романтической *Sehnsucht*, полную эмансипацию „тоски“ от „любви“ нельзя считать совершившимся фактом: рядом с „тоской невыразимой“ слияния с природой и „отчаянной тоской“ рвущегося к свету (к Богу) человека у него возникают и вполне банальные словосочетания типа: „с какой тоской влюбленной“, „с каким блаженством и тоской“, „еще томлюсь тоской желаний“. Да и у Ап. Григорьева с его ориентацией на городской фольклор, а не на Ф. Шлегеля „занивающая тоска“ — это в первую очередь тоска любви и потери. В этой перспективе не вполне ясное акцентирование Анненским именно „безлюбости“ своей Тоски в финальном стихотворении („Моя ж безлюбая дрожит как лошадь в мыле“) — финальным и для поэзии, и для жизни Анненского — и для „текста Тоски“, причем не только его „текста Тоски“, но и некоего глобального текста, поскольку огненные это слово никогда больше так звучать не будет — безлюбости смертной тоски Анненского приобретает новый и странно глубокий смысл: Текст Тоски замыкается окончательным ее отказом от любви, отречением от тепла, от человечности, от переживания вообще: в своем стремлении стать „всем“, „тоска“ остается ни с чем, остается „ничем“, квинтэссенция зияет пустотами — все конечно, мы слишком широко раскрыли эту дверь, и просвет обернулся провалом, немотой, той самой безыменной тьмой: все жертвы, адекватность которых была и так-то весьма сомнительна, оказались попросту ни к чему. Слишком долгая, „игра“ с нею даром не проходит: она истощает нас, истончает последнюю ниточку, связывавшую нас с миром — уже и не „любовь“, не „горюшко“ и даже не „тоскечушка“ с „судьбинушкой“ — ничего, кроме этих самых „ни к чему“, „ни с чем“, „ни о чем“ — и что может быть „роднее“, по правде говоря? Недаром в этом последнем стихотворении, в этой последней „Тоске“ так много говорится о смерти, недаром она своей обессмысливающей себя цикличностью дает „осязаемый мыслью“ образ той „черной дыры“, в которую она засасывается: и теперь уже бесповоротно.

ПРИМЕЧАНИЯ

* Основная часть работы „Тоска Анненского“ публикуется в „Митингом журнале“, ряд относительно самостоятельных извлечений из нее будет, по-видимому, вскоре опубликован в журнале „Russian Studies“; одно из примечаний к этому тексту, посвященное сопоставлению „тоски“ Анненского и „тоски“ Вяч.Иванова, вошло во вступительную статью к собранию стихотворений последнего в „Библиотеке поэта“.

1. A.Adam, комментарии в кн. С.Baudelaire. Les Fleurs du Mal. Paris: Ed. Garnier Fieres, 1961. P.261

2 К.А.Knauth. Invarianz und variabilitat literarischer texte. Amsterdam: Verlag B.R.Gruner, 1981. S. 101.

3. Н.Котляревский. Мировая скорбь в конце прошлого и начале нашего века. СПб, 1898.

4. См. содержательное обсуждение релевантных семантических полей сентименталистской литературы этого периода в работе: Е.Л.Калакуцкая. Лексико-семантическая тема „уныние-меланхолия-задумчивость-забвение“ в русском языке и культуре второй половины XVIII. // Логический анализ языка. Культурные концепты. М. Наука. 1991. С. 142-147

5. См. С.А.Фомичев. Сцена из Фауста.// Временник Пушкинской комиссии 1980 г. Л.: „Наука“, 1983. С.21.

6. С.А.Фомичев. Указ. соч. С.32.

7. Э.Т.А.Гофман. Крейсериана. Житейские воззрения кота Мурра. Дневники. М.: „Наука“, 1972. С. 42-44.

8. Л.Уланд. О романтическом. // Литературные манифесты западноевропейских романтиков. М.: Изд. МГУ, 1980. С. 160.

9. Ф.Шлегель. Эстетика. Философия. Критика. Т. 2. М.: „Искусство“, 1983. С. 152, 185.

10. Г.Ф.В.Гегель. Феноменология духа. Соч. Т. 4. М.: Изд. соц.-эк. л-ры, 1959. С.116.

11. Там же. С. 353-354.

12. См. „Переписка Н.В.Станкевича“. М.: ред. и изд. А.Станкевича, 1914. С. 383, 384, 454, 460, 723 и т.д.

13. Там же. С. 507.

14. Там же. С. 229.

15. T.Keck. Der deutsche „Baudelaire“. Heidelberg: Carl Winter Universitat Verlag, 1991. Bd. 2. S. 148—165.

16. Подробнее о „тоске“ у Вяч.Иванова см.: А.Е.Барзах. Материя смысла. В кн.: Вяч.Иванов. Стихотворения. СПб: „Академический проект“, 1996.

17. М.Хайдеггер. Время и бытие. М.: „Республика“, 1993. С. 20.

18. А. Камю. Избранное. М.: „Фабр“. 1993. С. 570.

19. В.А.Гиляровский. Психиатрия. М.-Л.: „Медгиз“, 1938. С.89.

20. См. прозаическое переложение „Цветов зла“ на английский язык, где акцент сделан как раз на смысловой адекватности: S.Baudelaire. Poems. Introduced and edited by F.Scarfe. Harmondsworth: Penguin, 1972.

21. Ф.Шлегель. Указ. соч. С.184.

Все забыть? Ну, давай, сгорим!
 Был беспечным ты, был счастливым я...
 Не кончайся, дождик ночной!
 Погляди, у капель одна семья —
 Полноводный плен ледяной.
 И когда так близко — не разберешь,
 Это уголь жжет или лед.
 Ты куда? Куда ты меня зовешь? —
 О, пускай, осторожность врет!
 Заходиться будет мое в груди
 Сердце — рыжий зверек ничей.
 Улыбайся, хитро смотри, следи
 Как все зябче мне, горячей.

* * *

Иногда доходили до нас бананы
 Или манго мякоть лизала небо...
 Вы далёко, милые сердцу страны,
 Где и солнце на небе крутолобо,
 Где подкладкой — пенистый шум прибой,
 Где атолла хрупкие створки в соли
 Океанской. Пятница — у ковбоя-
 Робинзона. Сладкой двойной неволе
 Позавидуем, цвет ее шоколадный
 Представляя, ночи, от звездной ртути
 Чумовые... Спутник послушный, ладный,
 Все отдать готовый немой минуте
 Пониманья телом другого тела.
 А душа стремилась, душа хотела...
 Но, крылатой, ей не найти опоры, —
 Вот теперь и тычется неумело
 В плечи, губы, складки чужие, поры.
 Умирать мы будем в раю, кораллам,
 Иголкой звездам, конькам подводным
 Поцелуй воздушный даря. Лишь в малом
 Можно быть удачливым, благородным.
 И пока в руке, как песок согретый,
 Я держу ладонь твою, не пускаю,
 Что-то есть, я верю... хотя про это
 Не дано нам вызнать, прижатым к краю.

* * *

Не волчонок — волчок, дичок,
 Жизнь — детсадовский пустычок,
 Марка с зубчиками

молочными...

Ты ночами неправомочными —
 Как дитя мое престарелое,
 Тело к телу ложится, белое.

Вот кто не был мечом запретным
 Тем архангельским отлучен.
 Спи в Эдеме ветхозаветном,
 Правь нагой свой, безгрешный

челн.

Ни добра, ни зла — только тени...
 Терпеливейший садовый

Опекает свои растения,
Видит, как созревает плод.
Тут, где волки, олени, лани,
Чем-то сделавшиеся
одним,
Не умеют свои желания
Отличить от привитых им, —

И на ветке дичка такое
Зреет яблочко золотое, —
Тут, где можно все —
лишь не тронь
Сердцевины, набухшей в зернах
Черных страхов и бед упорных,
Тут — все держит твоя ладонь.

* * *

Когда уже все невозможно...
Предательство крови самой
И времени... Жутью подкожной
Я все-таки чувствую: мой!
Не надо бояться, не надо!..
Два тела... Не будет иных?
Пока еще топчется стадо
Усталых телец кровавых,
Пока еще... Но неживая
Телесность преодолена,
И любит тебя, раскрывая
Объятья свои, тишина,

И там, за плечами, свобода,
Затылок обдав холодком,
Готовит к черте перехода,
Не спрашивая ни о ком.
Что ей до оборванной нити,
До вырванной с мясом твоей
Души — у моей! — Отучите
Быть жителем щедрых полей,
Аркадских, и утлое тело
Впечатывать в смертную плоть
Всего, что дышало, хотело
Продиться еще, побороть.

* * *

От Арктура до Альдебарана,
Знаешь ли, не так уж длинен путь.
Только странно, странно, странно, странно,
До чего нетрудно обмануть.
Отвернувши голову, не плачут
По линияло-русым волосам,
Встречу назначают — наудачу.
Расстаются... впрочем, знаешь сам.
Вот теперь я ничего не значу:
Коротаяю время по часам.
Только звезд, двоящихся невнятно,
Свет сплетен в зеленоватый жгут.
Кто на жизнь твою роняет пятна,
Кто, боясь твердеющих минут,
В трубку шепчет: приходи обратно,
И кому тебя не отдадут?
Если есть «езда на острове чудный»,
Пусть укажут эти — в вышине.
На корме — фонарик изумрудный...
В дальней Фуле,
В снежно-зимнем льне,
Будет жарко, милый, как в июле,
Будет трудно,
Сладко верить мне.

РИТУАЛ

* * *

Валик зеленый аллеи еловой,
 Талый, заплаканный лед.
 Все не решишься на жалкое слово,
 Бедный мой, праведный Лот!
 Шли так же рядом, должно быть, и гостю
 Чудному праотец не
 Знал, что сказать, лишь покалывал остью
 Взгляда, волнуясь в волне
 Чувства нездешнего: там, за звездой,
 Там, за ресничной тесьмой,
 Кто ты? Кого, дотянувшись, открою —
 Первый, последний, восьмой,
 Сотый?.. Отдай все свои поцелуи
 Воздуху. Сдавливай ртом
 Нежность торопящуюся. Люблю и
 Знаю, что это фантом.
 Что же испытывать! В этом бессонном
 Сне не хвататься же за
 Крылья, ладони горячие, с лоном
 Схожие, губы, глаза!
 В этом бессилии, в этом стремленьи,
 Ставшем, как столб соляной,
 Может быть, только молчанье — прощенье,
 Счастье, спасенное мной.

* * *

По дощечкам. И я за ним:
 Домик няни, аллея Керн.
 Пэтэушник ли, серафим
 Среди тощих снегов, каверн
 Ледяных, пятен бурых луж?
 А в душе как огонь, фалерн:
 Обнаружь меня, обнаружь!
 Разве голоса проводок
 Может накоротко замкнуть?
 Так наивен любой предлог:
 Притянуть его, обмануть.
 Вот охота! Какая жуть!

Утонувший в снегу сапог.
 Красноватая лип кора
 И увечная мощь стволов.
 Говорил про себя: «Пора,
 Как до края дойдем бутра...»
 Предвещанье, чудесный лов.
 Лишь мгновенье, пока оно
 Еще держится на шкиве...
 Превращайся, вода, в вино,
 Сердце, радуйся в львином рве.
 Говори же!.. Мне все равно,
 Раз стрекало на тетиве.

* * *

В ту минуту, понимаешь, в ту минуту,
 Когда встретились глаза,
 Я подумал, я почувствовал: ему-то
 Будет нечего сказать.

Не бывает лучшего. Как славно!
 Взгляд не знает сам: он чей, зачем?
 Папироска пышет своенравно.
 Подойди — не съем!
 Это как бы два таких сосуда —
 Между ними жгутик трубочки стальной:
 Буль-буль-буль — Офелия, Гертруда!
 Страстью захлебнуться, сладкою слюной.
 После третьей рюмки за твои ресницы
 Прохожу свободно, словно на балкон.
 Не коснуться только, не присниться,
 Потому что все и так лишь сон.
 В общем, в этом мире, ко всему готовом,
 Есть такие точки — чувствуешь — лишь ткни
 Взглядом, ставшим телом, сделавшимся словом:
 И — одни!

В АВТОБУСЕ

Белесые наши огни
 Скользят по раскисшему краю
 Обочины. Взглядом проткни
 Тот мрак за окном! Умираю,
 И каждым твоим становлюсь
 Холодным ростком отверделым,
 Равнина — дремучая грусть,
 Душой овладевшая, телом.
 Как в лужах болотных торчат
 Кусты, растопыривши сучья?!
 Опять тобой этот зачат
 Страх, лютая нежность паучья?

И что тебе в том, что сидит
 Там сзади — шестой или пятый
 Ряд? Лучше уж тахикардит,
 Чем бешеный пульс виноватый.
 Ну вот, человек — что же с ним
 Мне делать теперь? — Непонятно.
 Укутанным мраком одним,
 Как эти белесые пятна:
 Бегут друг за другом, скользя
 По лапам еловым, по кочкам
 Ближайшим. Но дальше нельзя
 Ни вместе им, ни в одиночку.

* * *

Вот пространство любит кого, кому
 Подчиняется этот вертлявый мир,
 Отступает хаос в пустую тьму, —
 Ритуальных звезд командир
 И ветвей еловых анахорет,
 Хозфор бенгальских огней, шутих,
 Со свечой подмигивающей — бред,
 Даже ветер как будто стих.
 А ответным взглядом он словно стул
 Придвигал поближе... Теплее, в лад —
 Горячо... Лишь крови мешает гул.
 Я, обняв бы вечность, с тобой уснул,
 Безотчетный Орест, Пилад!
 Мне вот тоже, знаешь, упрямый бог
 Не дает покоя. Словесный хлам,
 Как гвоздики вянущие, в венок

Заплетать велит. Но все легче нам —
И вдвоем не сбиться с кривых дорог,
Если главное — пополам.
Колет хвоя, мертвый цветок гниет,
Воск стекает медленно на ладонь.
Но всего дороже мне этот лед,
Что во взгляде тает, или огонь.
Знаю, знаю, знаю — он не поймет.
Лишь мгновенье... не проворонь!

* * *

Между нами словно налипший листик,
Словно веточка хвойная. — Помнишь ту?
Сколько свойств мы знаем, характеристик
Западания в пустоту!
Вот и этот способ, ресничноокий
И пугливоглазый — как за стеклом.
Жаль, что только пьяная грусть в итоге
В скучном номере нежилом.
Жаль... Пусть даже движенья в танце
Так точны его. Антураж.
В этой жизни долгой мы иностранцы,
И язык все равно не наш.
Этот... Как он владеет телом, —
Словно вещь, своей, одной!
Что душа бы твоя хотела
От игрушечки заводной?
В понимании проблесковом,
Да, мы видим, но что, скажи:
Лед растаявший, ставший словом
Фетиш мякоти тела, лжи?
Вот и хвойные те ресницы,
И тропинок сырых лассо —
Это нам с тобой вечный снится,
Двойниковый, прощальный сон.

* * *

Как по нашим костям изнывать
Будут хвойные и молодые.
Смерть — такая большая кровать,
Всё найдем в ней, уснувшие, ты и
Я. А здесь пусть мигает, слезясь,
Одинокая звездочка. Встретим,
Когда ляжет в морозную грязь,
Когда как-то опомнятся эти.
С книжных полок достать, отряхнуть
Пыль. Мы все, да, мы все виноваты,
Если вспомнить вагонный тот путь,
Хлопья белые тающей ваты,
Налипающие на стекло.
Подступило... пока отлегло.

И нам лежать, обняв друг друга, срок
 Такой, что не останется причин
 Мне у тебя выпрашивать глоток
 Тепла, тебе краснеть за свой почин.
 В той глубине нет страха, нет пропаж —
 Не предавай сон необъятный наш!

* * *

Игра так и останется игрой,
 Дух легких слов не облечется в плоть,
 Пока ты, как трагический герой,
 Себя не пожелаешь побороть,
 Пока ты неосознанной виной
 Своею тайной, словно царь Эдип,
 Мир оскверняешь. Вот теперь со мной,
 Со мной — и я... я безнадежно влип.
 Но, соблазняя, помнить надлежит,
 Что с двух сторон заточенный стилет
 Убьет двоих. Куда же денем стыд?
 За давностию, разве, спишем лет?
 Иль я не сторож брату своему?
 Иль жить не страшно, вечером домой
 Идя, вливаясь в липнущую тьму?
 Что я наделал! Боже, Боже мой!

* * *

Разве теперь ты будешь губами другими
 Говорить ей: «Люблю тебя! Навсегда!»
 Как легко ложится одно на другое имя,
 Обещания перетекают, словно между камней вода!
 И страшнее всего, что ничто ничего не значит,
 И иного нет доказательства, кроме жалости и вины.
 Ты не лгал тогда, и все остается у нас, иначе
 И сегодняшние твои уверения не верны.
 В оправдание нечего мне сказать. Я тебя бы снова
 Попросил у Бога и верил бы также. Лишь
 До конца впитал каждый миг бы того земного,
 Огневого счастья, которым не утолишь.

* * *

Люблю тебя — и, значит, виноват
 Во всем, во всем, во всем, во всем, во всем,
 Что претерпел мой окаянный брат,
 Что пережил я сам. Перенесем
 Обиду и тоску, и боль, и боль,
 Но только не конечную — прости! —
 Вину. Прости! Остаться мне позволь,

И снова сердце стискивай в горсти.
Во всем свободны, но свобода — грех,
Когда своих еще не понял сил.
Я виноват за всех, за всех, за всех,
За то, что не услышал, как просил
Ты подождать, что, крыльями не дав
Обзавестись, с карниза за собой
Увлек. Ты прав во всем — ты прав, ты прав,
Хотя всего лишь мыслим вразнобой.
Но если мною вызванный обвал
Живой любви не остановит свет,
То я пропал, пропал, пропал, пропал,
Пропал, да и тебе спасенья нет.

* * *

Я болен — не бросай меня в печали.
Ты, только ты способен мне помочь...
Пусть против воли, но предназначали
Друг другу нас отчаянье и ночь —
Та, первая... И я спросил у Бога,
Жить дальше или лучше умереть?..
Он не ответил. Но хотя б немного
Еще побудь... немного... Жизни треть
Ушла на ожидание в пустыне
Тоски — тебя. Обрушены мосты.
За каждую ресницу жизнью ныне
Плачу — за что же так они густы!
И сердце, сердце просится сорваться
В воспоминаний омут ледяной
Затем, что было вольно надыграться
Порхающему счастью надо мной.

* * *

Вот, я люблю, но тот, люблю кого,
Не тот, кого люблю я (не паяца!).
Все описал заранее Превос,
И нам осталось только повторяться.
Ты был, ты жил, ты двигался, твой рот
Сам открывал таким признаньям двери,
Таким словам, таким... что я вперед
Смотреть боялся, веря и не веря.
Ну, а когда до позвонков, до жил,
До кровяных телец, собою, пряным,
Ты пропитал меня, ты обложил,
Не выдержала тонкая мембрана.
Ложь — то, чему уже не прорасти
Под спудом страха нашего и боли,
Не сделавшейся правды травести,
Трусливая победа силы воли.

Артур Кротов

БЕСЕДЫ

День начался — кончился. День кончился — начался. Жизнь — милицейская мигалка — не синекура, но ультрафиолетова. А в осеннем остывающем солнце, кажется, ультрафиолета не хватает, как, впрочем, и в октябрьском хмуром небе — ультрамарина. «Ультрафиолетовенько», — выдыхает Енька (звали которую ясно, что по-другому, но как-то легче было сократить ее настоящее имя до уменьшительно-ласкательного суффикса, да на том и остановиться, удовлетворенно), когда так случилось, что случилось так: мы встретились почти случайно в одном месте, которое находится метров за двести до того места, где договорились встретиться не случайно, чтобы вместе пойти дальше, и в общем-то совсем непонятно, зачем случилось так, что встретились раньше. Мы встретились там, и оттуда совсем недалеко до — куда идем — до кафе, где по воскресеньям, после шести обычно немногочленно и можно спокойно сидеть и пить кофе, дожидаясь того, другого, который опаздывает, но обязательно придет, только чуть-чуть позже назначенного времени, но не уйдет, подобно многим другим, чужим, незнакомым, тем, что образуют невнятный, раздражающий, но непрменный фон человеческой жизни; тот, кто придет, он останется рядом, сядет за тот же столик, заведет механическую игрушку разговора. Тот другой (другая, другие), значит, все-таки не совсем другой, но и он точно так же, как все, неизлечимо болен (больна, больны) своей смертью, избежит которую разве что константа-рыболов с мостика, по которому, про себя с ленцой отметивший, что ноги девушки (Еньки), прошедшей мимо, необычайно красивы, и тут же забывший об этом, потому что для вечности нет ничего мимолетнее красивых ног.

— Вот козел! Я-то знаю, куда он смотрит!

— А куда он смотрит?

— Он смотрит на мои красивые ноги.

— Хм, у тебя действительно красивые ноги?!

— Ну конечно же, у меня очень очень красивые ноги!

— У тебя безумно красивые ноги!

— У меня безусловно красивые ноги.

— Более того, твои ноги красивы не только безусловно, но еще безглагольно и бесприлагательно, независимо от того, молчишь ты или говоришь.

— Это точно?

— По-моему, очень точно.

— А точное время всегда точное?

— Оно...

Первым продавцом на Земле был Змей, а первой покупательницей — Ева. Она надкусила приобретенное яблоко, и время по щекам потекло, а в рот не попало. Зато теперь здорово: можно мучиться, «оттягиваться», пить кофе-пиво-вино-и проч., радоваться жизни, встречаться за двести метров до, с Енькой, чтобы все равно дойти, и только

там, куда пришли, осознать, как хорошо все кругом; и как замечательно, что есть этот кофе, этот столик, и пусть те боги, которые хранят нас. — хранят нас; а то время, которое время, — время; а та сигарета — ее закурю чуть позже. Как здорово, что можно сказать «чуть позже» или «чуть раньше», или «встретимся во столько-то». Ведь действительно встретимся, если, конечно, ничего не произойдет, а даже если и произойдет, то что нас остановит? кто? Пойдем до самого конца, поползем, если нужно, на животе, но доползем, уткнемся лбом в холодные кирпичи стены, всё, пришли: здравствуй, Другой Друг.

Другой Друг сидел за столиком, откинувшись на спинку стула, лениво рассматривая посетителей, которые в этой кофейне явно были к месту, один Д. Д. не к месту, даже непонятно почему, зато как он обрадовался, когда заметил, что вошли мы, это вам не верблюд наплевал, что иначе Д. Д. еще здесь делать, как не ждать нас, затем и пришел — встретиться, то ли по делу, то ли просто так. А вот они — мы.

Встретились. Попили кофе. Посоветовались. Решили идти к Д. Д., тот обещал угостить вкусным чаем и хорошей «травкой», показать недавно написанную им статью о Сэлинджере, которую назвал «Человек, беспечно сидящий на заборе». В конце концов, нам почти все равно куда идти, если уж встретились, к Д. Д. даже лучше всего, так как совсем рядом, а осенью это важно, даже важнее важного, важнее больше ничего и придумать нельзя, хотя бы потому, что осенью думать холодно, совсем не думается, а зайдешь к кому-нибудь в гости, выпьешь чаю, тогда все возможно, о многом... На все остальное уже наплевать. Интересно, можно ли с Эйфелевой башни плюнуть в Сену?

Какой у тебя дурацкий чай! Почему? Пахнет абрикосами, а на вкус — самый обыкновенный. Сплошной обман и надувательство. А «травка» тоже надувательство? Нет, она ничего, миленькая. Эх, дунуть бы еще, а потом надуть презерватив, привязать его к руке ниткой и ходить по городу, приставая к прохожим с пятью экзистенциальными вопросами бытия. За чем же дело встало? За осенью. За осенью — зима. А когда лето? О, до лета еще, как до Луны. И Луна с Землею говорит. Алло, алло, прекрасная маркиза... И Луна к Земле горит нездоровой страстью... Нет, это Солнце испытывает к Земле, горит... А Луна, она так себе... Один известный французский лингвист вступил в противоположные отношения с текстом, и даже получил от этого удовольствия. Помните, у Достоевского в «Слабом сердце»?.. Нет, а что там? О! Очень забавная фраза: «Вася чуть не захохотал от блаженства — он вспомнил, как солидный Аркаша вертел его четверть часа на постели!» Ты уверена, что это Достоевский, а не Кузмин? Ну, конечно же, уверена. Нет, надо проверить... Ты зануда! Нет, я — лапочка, просто хочу уподобиться французскому лингвисту. Извращенец!

Как странно, что мы — не свет полной луны, не писк комара, не привкус дубовой коры в дыме, когда тлеет торф. Мы — это только мы, себе, впрочем, не принадлежащие, а принадлежащие луне, плоскому блину Земли, покоящейся на трех «К»; июльской грозе и мягкой поступи сентябрьского дождя. Мы — это мы. И мы — это не мы. Мы немые. Ни звука не произнесем мы-не-мы, тишина сорвется с наших губ, подобно плещу обовьет насекомоподобное жужжание троллейбусов за окном на улице, куда не выйдешь в шесть утра погулять, потому что — дождь и хочется спать, не то что летом. Легом лучше всего спать днем, во время сиесты, томной, как многотомное собрание сочинений Льва Толстого. И, признаемся честно, разве нам не хочется во время этой сиесты, чтобы кто-нибудь нас, всех троих, всех вместе, либо по очереди, либо одного

за всех убил? Да, хочется. Очень хочется. Пусть бы кто-нибудь пришел и, пока мы спим, всех нас убил, влюбил, полюбил, связал по рукам и ногам обязанностями, заботой и нежностью, неожиданно увидел в нас свою цель, а в себе — средство, которое для нас — цель, а мы для которого — средство, такое, какое есть. И пусть бы тот, который, сохранил бы нас такими навсегда, словно мы пирамиды или памятники самим себе, а еще памятники ему — сохранившему нас. Мы даже лучше памятников, так как бесконечнее бронзы и мрамора, неприкосновеннее их, потому что очень даже можем стереть все старые записи на кассетах и записать новую музыку, взять с полок все книги, свалить их в одну кучу и поджечь, а потом посыпать голову пеплом обманчивых и пьянящих слов, с тем, чтобы, захмелев, пойти покупать себе новые книги, пусть даже все с теми же, хорошо знакомыми названиями, и читать их снова и снова, но как будто в первый раз. Мы-то остались прежними.

А мы вот с ним ходили вчера в синематеку, смотреть этого, ну как его? Позор... Гринуэя. Так когда там ближайшая «Смерть в Венеции»? Вроде бы первого, точно не помню. Ах, как я хотел бы умереть в Венеции... или в Вене. Все хотят. Я уже смотрел, но сходил бы еще... Давай сходим. Замечательно, но когда? А когда будет, тогда... Это значит — послезавтра, после обеда. Смотрите, у меня на большом пальце мозоль от зажигалки. Извините, я удалось сделать пи-пи де люкс... Чаю еще хочешь? Или вина? Во всем виновато вино. Не страсть губит человека, но вино. Виноват, не понял?! Наливай чай. Может, приготовить поесть? А что-нибудь есть? Нет, ничего нет. Вообще? Вообще что-то есть — хлеб и горчица, хочешь? Спасибо, нет. Какая ты, однако, вежливая, просто эстетка, бя. Кстати, я понял, на что похожи твои ногти, когда ты их красишь тем лаком, — на авантюрин. Авантюрин?! Осторожнее, кипяток. У-у-у, авантюрист. А вот и я. Тебе тоже налить? Ага.

Мы так много говорим ни о чем, что кажется, будто молчим так, как молчать можем только мы — немые. Не. Мы. Мы могли бы, наверное, молчать еще более содержательно, если бы действительно молчали, как тогда, когда дождь забаррикадировал людьми станцию метро так, что не выйти под дождь. Ну и хорошо, что не выйти. В противном случае, очень просто было бы вымокнуть до нитки, и тогда всю одежду пришлось бы стирать — вдруг дождь грязный. Или не пришлось бы — вдруг дождь чистый. И после чистого дождя вовсе не обязательно стирать свою промокшую одежду, — она уже выстирана, жаль только, что без мыла, без последней сигареты, прилипшей к губам.

Ой, кончились сигареты... Одна осталась... Надо купить... Пойдем, сходим... Точно, сходите... Хорошо, подожди, сейчас докурю... На улице докуришь...

Впрочем, все равно ее нельзя было бы курить, потому что она вымокла до последней табачинки, разбухла, как не знаю что. Под дождем, в ванной, под душем — курить «No smoking». Непогашенная сигарета — источник пожара. Остался последний источник, из него, наверное, можно пить, и это не вредит нашему здоровью, которому уже не вредит ни что. И, следовательно, можно закурить. Когда последний из нас докурит последнюю сигарету — он умрет. Его похоронят в целлофановом пакете, чтобы лучше сохранился до Второго Пришествия, когда все мы воскреснем в воскресенье, приблизительно в полпервого, через полчаса после полудня, как Спящая Красавица — от поцелуя. Бог поцелует нас, мы проснемся и выйдем за Него замуж... Будем счастливы!

МЕТАМОРФОЗА

Мрак шагал, и прожилки улиц крошились (гули-гули, ангелы, гули-гули) в темноте так, словно город был сухим кленовым листком, попавшим в свету пальцев, ладоней, пальцев, а сама Земля была осенью, которая вдруг «грянула», но потом — сколько же дней спустя? — минула, канула, захлебнулась, будто неумеха герл-скаут, в вихре снежинок, в вальсирующей круговерти мокрой зимы, опылившей лучезарные тычинки уличных фонарей, днем превращающихся в просто столбы. Просто даже не в столбы, а в нечто несуществующее, отсутствующее в практике дня. И все-таки эти «пустые» пространства не следует игнорировать, потому что столкновение неприлично, следует обходить, — топать этакими зигзагами по слякоти, петлять, пока, наконец, не промокнут ноги (кнут ноги гамсун по пустой жестянке из-под пива, и та, вылетев на проезжую часть, расплющилась, подобно нежной душе немецкого отрока, под колесами первого же гессе). И вот, посмотри же, вот уже начался вечер — как, однако же, кстати! — и пора возвращаться домой. Возвращаться, плутая по алгоритмам следов ускользнувшего, вбившего каблуком в асфальт непослушную тень. В сумерках тени размножаются почкованием и делением, как простейшие формы жизни, ведущие непрерывную, неосознанную борьбу за жизнь и жизненное непостоянство до тех пор, пока не останется одна огромная всем теням тень — ночь. И в этой, ласкающей страхами, темноте, надпись «ДИЕТА» промелькнет в слезящихся на ветру глазах неоновой рыбки, улепетывающей от задиры «крестоносца» в продранном оранжевом плаще, развевающимся на каком-то подводном ветру. Разноцветные, смиренные гуппи, должно быть, сочувствуют жертве, и похожи на детскую забаву — бумажные цветы, распускающиеся в воде, — выдуманную в начале века японцами, так поразившую когда-то падкое до красоты воображение Вирджинии Вулф, или, скажем, все того же Набокова. Ловкий сачок вылавливает увлекшегося погоней меченосца из воды, и тот трепещет, потому что недоволен, и, к тому же, ему грозит ночевка в аквариуме с красивыми, но кровожадными аккарами, явно предпочитающими живую плоть сухому суррогату, который похож на табачинки, высыпавшиеся из разминаемой сигареты, по привычке закуриваемой перед сном.

Что, уже пора спать?! Не-е-ет, заниматься любовью: жарить на потемневшей чугунной сковороде огромные котлеты, сделанные из случайного фарша, случайно завалившейся луковицы, случайно обнаруженной, засохшей до твердости кирпича горбушки. Случайно-изумительная вкусность случайных котлет сродни случайным и очень опасным связям, где все, как полагается: и случайная простыня, и случайное одеяло, и случайная подушка, насквозь пропитанные запахами чужого, случайного тела, такими соблазнительными, что твой собственный запах, словно блудный мартовский кот, покидает тебя, чтобы остаться в случайном месте до ближайшей стирки, заметающей, будто крахмальная вьюга, следы случайной любви, просто любви, просто номера телефона как кода любви, самой любви номера. Захлопнув записную книжку, сразу же и забудешь, а открыв, сразу же и не вспомнишь, скажешь: «Непонятно, чей это номер?» Скажешь с той интонацией, с какой говорила ТСЖ, когда мы стучались в двери, — ясно, что пустующего, — осеннего домика в каком-то грустно-мечтательном пригороде, куда нужно сначала добираться на электричке, а потом на автобусе и причудливой уэллсовской машинке.

Еще было тепло, но уже случились сумерки, а потому мы так остервенело стучались в двери и окна: пустите же нас, выпустите, есть здесь кто-нибудь?! — должен быть. Мы стучались до боли в костяшках, заливаясь при этом смехом, как два идиота — единственные, кто остался на безлюдной Земле, и ТСЖ выдавила из себя сквозь смех, с той самой интонацией: «Непонятно, кто здесь живет?» Там живет непонятно кто, вот кто там ушел или уехал в гости к другому непонятно кому, непонятно почему. Почему, непонятно? Очень даже не почему, потому что на «у», а они любовники: зеленые, розовые, сочно-голубые, всецветовнавыбор. Они всегда такие, какие есть, какие собираются вместе, чтобы научиться как следует разбивать стекла. Нам обязательно нужно научиться что-нибудь делать хорошо, абсолютно все равно что, лишь бы хорошо, потому, что нужно уметь делать что-то еще помимо того, что естественно и чему поверит любой, а значит, нам должно обмануть эти вульгарные ожидания, расправиться с привычкой, — разбить стекло так, чтобы в мелкие дребезги, а потом, под перезвон осыпающихся на нас осколков оконного стекла, заняться любовью — подарить этой пластмассовой чашке, этой пустой банке, заменяющей пепельницу, пачке сигарет, лампе, укутанной в красную парашютную ткань, подарить им частичку себя.

Если любишь вечер, то можно ли любить пробуждение? И действительно ли проснулся, а не продолжаешь нежиться на диком пляжике дремы, с восхитительным равнодушием экспроприруя одеяло? Но оно не оказывает ожидаемого сопротивления, ты кутаешься в него и тут же, в этом уютном коконе, просыпаешься, (кем?) покинутый и ничего не понимающий.

Понять причины, побуждающие другого человека поступать так, а не иначе, практически невозможно. И именно эта невозможность, а вовсе не сами поступки, которые со временем становятся для нас вполне переносимыми, эта невозможность наиболее мучительна, и как бы даже бесполова, тем более, если встречаются с милой улыбкой, ничего, к сожалению, не объясняющей, и ничего не объясняя, и говорят, что, сейчас вот будем готовить «вкуснущее» еврейское блюдо, а значит, единственное, что остается — это виновато облизывать пальчики.

Чтобы приготовить студель с капустой, требуется, прежде всего, замесить тесто, в которое вместо не помню чего, следует добавить разведенные в воде дрожжи, и постелить на стол чистую скатерть. Затем докурить сигарету и припорошить скатерть мукой, с тем, чтобы чуть позже вывалить на нее из кастрюли получившееся тесто. Его следует раскатать до толщины бумажного листа. Если под рукой не окажется скалки, то можно использовать пустую молочную бутылку, а еще лучше — коньячную, но полную, которую, после выполнения описанной выше операции, рекомендуется вскрыть и разлить первую порцию по рюмкам, наличествующим в количестве, точно совпадающем с числом незванных адъютантов, наблюдающих процесс приготовления со стороны спины и сомневающих в успехе предприятия. Кстати, им же следует поручить тушение капусты. И когда все будет уже почти готово, тогда следует найти благовидный предлог — мне ждать уж невтерпез! — и удалиться, сказав всем «адью». Пусть подавятся!

Если темнеет, а фонари светят плохо, то вряд ли... В конце концов, что же такое обещают эти глаза, этот влажный, кажется, маслянистый маслянистый взгляд, чье притяжение мы не можем игнорировать и нелепо кружим по эллипсоидно-шизоидной орбите тропика паранойи? Может быть, всего лишь мучительный опыт постижения себя, своих

границ; опыт изучения оттенков чужим телом отбрасываемых теней. И, поскользнувшись на этой мысли, кажется вполне уместным заглянуть в кинотеатр для углубленного анализа свето-теневого аффектов жизни. До начала сеанса безусловно есть некоторое количество неприкаянных минут, когда можно выпить дрянной кофе из пластикового одноразового стаканчика, делающегося, по мере того как его содержимое перетекает в другую емкость, все более невесомым — как галлюцинация; можно перекурить в туалете, и, наконец, со вторым звонком чинно прошествовать в полупустой зал, который следует внимательнейшим образом осмотреть, изучая расположение зрителей... И, дабы избежать навязчивости знакомых, если таковые обнаружатся, лучше с ними поздороваться, сразу, издалека, кивком головы — ах! — оказывается, и вы здесь? в этом притоне? — и выбрать место, одинаково удаленное как от приятелей, так и от двух алкоголиков-интеллектуалов, которые, как только погасят свет — неизбежно! — вскроют бутылку портвейна и начнут комментировать фильм Фрэнка Капры. Ты же в их комментариях отнюдь не нуждаешься, ну хотя бы потому, что уже пару раз видел эту картину, где наивный мальчишка-переросток (Гарри Лэндон) с очаровательной детской непосредственностью влюбляется в преступную, но весьма привлекательную «вамп», подарившую ему первый поцелуй, и устремляется к ней на выручку, постоянно поддерживая свои вечно спадающие первые длинные брюки. Финал же этой истории довольно забавен...

Еще не успел промелькнуть на готовом сникнуть экране кадрик с надписью «END», как в зале начинается призрачное движение. И, подхвативший этим инфернальным сквозняком, ты выплываешь на улицу, достаешь из пачки сигарету, которой тут же завладела невеста откуда взявшаяся ТСЖ, ее пальцы, губы. И ты достаешь еще одну.

— Как ты себя чувствуешь, лучше? — ухмыляется ТСЖ, намекая на благовидный предлог.

— Да, градуса на два южнее, — отвечаешь, извлекая из кармана зажигалку.

Когда последняя водворяется на место, перемирие уже заключено.

— А разве мы ссорились?!

— Ссорились.

— Очень мило! — язвит ехидна.

Вечером город представляет двум желающим побаловать себя жирными субъектам не слишком-то много возможностей. Может быть, все дело в том, что частное время каждого из этих субъектов не совпадает с общепринятым, которое при пристальном рассмотрении — чушь и блажь, всего лишь некоторая конвенция, и на самом деле его, этого общепринятого Времени, нет вовсе, а потому с ним невозможно совпасть даже при обширности пространства.

Хрустальный гробик витрины, где спали образчики сладостных излишеств, не разбуженные поцелуями, обещал многое. Были здесь и вазочки с изюмом в шоколаде, и взбитые сливки с миндальным глянцем, похожим на тонущий «Титаник» в миниатюре, и тарелочки с коричневой «картошкой», проросшей двумя кремовыми завитками, и запеченные «орешки», которые щелкала, должно быть, та самая белочка на том самом дубе, и несколько сортов бисквитов, и даже мадлен де Пруст, а еще эклеры... Да, эклеры — это то немногое, что нужно для полного счастья: невесомые, политые сверху тающим от прикосновения пальцев шоколадом. К эклерам мы взяли по чашечке кофе и по бокалу малоалкогольной шипучки, которую здесь гордо называют шампанским. В

каждый бокал мы бросили по кусочку шоколадки, купленной мной еще утром, чтобы день был заведомо вкуснее и радостнее: как неожиданная бутылка пива в похмельное утро, как странное знакомство, как музыка Шопена по радио, под которую в бурлящей воде вальсировала пара сосисок, в то время как бутылочка кетчупа стояла, замерев в томительном ожидании, словно церемониймейстер.

Маленькие гастрономические радости Времени Ч., они хрупкие, как воскресная прогулка с ускользающей от фотовзгляда «OLYMPUS'a» дочкой ТСЖ — вот она взбежала на мостик, дугой изогнувшийся над каналом Грибоедова, и, спрятавшись за маму, с интересом наблюдает за неторопливыми утками, вперевалячку прогуливающимися по льду. Еще их, эти радости, можно сравнить с выставкой, длящейся месяц, кажется, целую вечность, но в одно прекрасное утро, когда в очередной раз собираешься поблуждать по безлюдным залам, оказывается, что уже опоздал, и облюбованные глазами картины растворились в чужих, заморских пространствах, как кусочек сахара в чашке с крепким, только что заваренным чаем, выпив который забываешь и о выставке, и о том, чего ты так и не увидел на тех исчезнувших, быть может навсегда, картинах.

Лаская изящной ложечкой чай, думаешь: и он тоже... Но тут же вспоминаешь, как кусочек шоколадки, обрастая пузырьками, всплывал и у самой поверхности прозрачные икринки газа взрывались, словно из них нетерпеливо появлялись на свет какие-то невидимые существа, а шоколадная кабинка вновь опускалась на первый этаж бокала за следующими постояльцами этой эфемерной гостиницы. И далее воображение делает ход конем, угрожая незадачливому лиловому королю шах-и-матом в угловой, смуглой клеточке одного блистательного утра, когда, копошась на линолеумном полу среди пронзительно золотистых солнечных бликов, изувеченных кукол и мягкопереплетной гали-марты, четырехлетняя девочка вдруг сказала тебе: «Хватит, мне надоело, давай избавимся от этих солнечных дыр и посмотрим какой-нибудь... Поиграем в кинотеатр». И, задернув плотно шторы, затеплив электрическую лампаду Ала-ад-Дина, вы (мы?) смотрели трогательный и немного грустный диафильм про слона Хортона, который высидивал птичье яйцо до тех пор, пока не высидел слоненка, похожего на Хортона от кончика хобота и до хвоста, только еще совсем маленького. А молодой Гум-Блум сидел, обнимая предполагаемую нимфетку за плечи, и воодушевленно читал вслух титры. Девочка время от времени восхищалась: «Как ты хорошо читаешь!» — и целовала его прямо в губы, и разум улетал из него. «Когда-нибудь, — говорила ТСЖ, на секундочку выскочившая из ванной посмотреть, почему это в комнате так тихо, — когда-нибудь я ее научу набирать твой номер телефона».

Ты наберешь номер моего телефона и, услышав мое «алло», скажешь, что зима ныне уныла, что в квартире полный аут, а мама ушла в киношку — святое дело; и что мне обязательно нужно приехать. «Приезжай, мы вымоем всю посуду и подметем пол, допьем остатки „Dom Pérignon“, а потом тоже пойдем в кино, но никого с собой не возьмем, даже маму». Мы пойдем в кино с тобой вдвоем, и, сидя в темном зале, будем лопать мороженое в вафельных стаканчиках, а на экране чудак Чарли будет куражиться над глупостью мира.

Алексей Пурин

ТАРО

ДЖОКЕР, ИЛИ НАД МОГИЛОЮ КУЗМИНА

*И те касаний тел хотели —
приснись ему в могильном сне...
Не здесь, в земле, а там, в постели,
лежать с тобой сегодня... мне?
Тот облетелый волос клена
оставь — как знак ночной тщеты...
Коснусь влюбленно, умиленно —
и рук и мрамора... Но ты
так пальцем трогаешь резную
музыки запись на плите,
что если я тебя ревную,
то только к этой нагоге.*

1. МАГ

Мир похож на Марио из рассказа —
рот полуоткрыт, а зрачкам в бреду
мнится нимфа... Мифа цветет проказа,
архетипы дуют в дуду. Стыду
места нет здесь, нет здесь ни в чем отказа —
Гераклит! три раза войду...

Колотись же, сердце, в теснине зыбкой!
Отвечай блаженно-слепой улыбкой
Колдуну безжалостному, лицо!..
Он стоит у столика, жалкий жулик.
Ножик, чашка, палочка, грошик-нулик —
на столе разложены — и кольцо.

Выбирай!.. Но неги живого стана,
андрогин Платона в тени платана,
жемчуга желанья, алмазы слез —
в шапито базарного шарлатана —
только фокус, Марио, лишь гипноз!..

Тяжелеет плоть, удлиняясь тайно...
Это Маг командует — «вира», «майна»?
Но когда спадет пелена —

и самоубийственный выстрел грянет,
на мгновение Марио ясно станет:
никакого не было Колдуна.

2. ПАПЕССА

Раздувая розовый жап. золу
золотую в пальцах перебирая,
ты трепещешь, жжением роя мглу,
благодать разъято-сырого рая...
Так вольготно в толще воды веслу.
Как скользит оно, замирая!

Тучный червь, буравящий сочный плод?
Нож, увязший в липко текущей дыне?..
Ахамот твой дна не достанет, лот, —
и шербет познания подобен хине.
Но как сладко, ахнув, сорить в живот
жадно пьющей тщету Шехине!

Не шесток — Святого Петра престол
просквозит свечным распаленным плачем.
Непорочна Сучка, пока твой ствол,
точно папский скипетр, кольцом горячим
держит — перл, янтарь, серебро, обол...
Мы еще, Премудрая, порыбачим!

3. ИМПЕРАТРИЦА

Словно рыбка вертка — пузыри
снизу вверх роняя, утратив вес
Архимедов, вьется угрем внутри
водоема спешно-немой Гермес —
архетип двувыпуклой цифры «3»,
трепет треня, антиответ...

И мои ладони — их три! — круглы,
ибо чрево нежат и грудь.
От сиамских звезд до ворсистой мглы
потакает пальчику путь.
Ах, еще! зудящей вокруг пчелы
всей цветущей плотью побудь! —

Кесарица пасек, Царица птиц,
Мать-Кормилица школяра,
Сеть Причин, Наседка моих яиц, —
скорлупе ж еще не пора
расколотся, магний спалив на блиц
в вечнотемной Тайне нутра?

4. ИМПЕРАТОР

Было только шесть на живых часах
и вот вдруг — двенадцать... Очнись!
Как люблю я ходики эти — страх! —
стрелкой вверх, а гирьками вниз, —

этот дольный маятник — между ног
и секундный шелест — в груди...
Ты не верил снам? — трепещи, щенок,
на Царя Ночного гляди!

Он сидит на троне. Во лбу — змея,
а в руке — трехмерный объем...
Что мне делать с телом, не знаю я,
но давай — побудем вдвоем.

Лаком мир земной с четырех сторон,
пусть с семи он смертью разит:
ибо царственность это и есть урон —
Трафальгар, Цусима, Тильзит.

Посему царей и должно быть два —
вот плывут они, делят плод/т...
Но в итоге — только слова, слова,
пустота страстей — Ахамот.

5. ПАПА

Беззащитный Север закатных глаз
и бесстыжей Африки Юг —
словно сразу несколько разных рас
закрываю в порочный круг.

Гибких мышц раскосый Восток, батут
живота, а ниже — Багдад, батат...
Дай еще нежнее сожму вот тут
этот твой, как Флорида — вольный, штат!

Мое сердце бьется в пяти-шести
сантиметрах трепетных от
твоего... Всю жизнь бы держать в горсти
вечный том длинот и темнот!

Близоруким варваром в горький Рим
я въезжаю — где же ключи?
Пусть в аду, понтифик, с тобой сгорим —
приручи меня, залучи...

Крест увенчан шаром Земным — все три
Мира слиты, Зло и Добро...
О, какое чудо растет внутри —
распирает круто ребро!

6. ЛЮБОВНИКИ, ИЛИ ЖЕНИТЬБА

Я, факир, в глаза целовал змею,
и держал губами огонь,
и глотал каспийскую соль твою...
О, как пахла — смертью в ночном бою,
гладкой болью — после ладонь!

От горячих пальцев отнять руки
был не в силах. Сердце до ста
дорастало. Вена, синей реки,
уносила в сумрак уста...
За соломинку гробовой доски
я схвачусь — за джонку листа.

Напишу: те знойные дни, те сны
наяву... Те ночи, когда
все наряды стали душе тесны
и влекла наядой вода —
царскосельской Леты, страстной Десны,
Тибра смерти, Стикса стыда...

Эрмитажный мрамор сиял — Гермес,
Дионис, Парис, Антиной...
Красоты земной кипарисный лес
обступал живою стеной.
Все дышало, пело, имело вес —
мое счастье владело мной.

Батарейку вкладывали мне в грудь,
как в фонарик, — и тлел вольфрам...
У кого просить, чтоб когда-нибудь
возвратили телесность снам —
воскресли, сладкую эту жуть
вечной жизни вернули нам?

7. КОЛЕСНИЦА

Сняты шлемы и латы. Сваты —
на плечах: Урим и Туммим...
Потому что все мы — солдаты
и смертельную боль таим.
Потому что продолговаты
вещи нежности, слава им!

И вокруг бетонного куба,
где курсанта сонный курсант
беззащитно целует в губы,
я кружу, словно диверсант...
Ратным мальчикам что Гекуба?..
Одуванчиковый десант!

Бисер лунного апогея
и морзянки призывный свист...
Скажешь: жалкое сердце гея
как осиновый бьется лист?
Но не Игоря, не Сергея
я люблю — тебя, мой связист.

Вертолет мне трепетный снится —
твои радужные глаза —
ветровых ресниц колесница,
ослепительных спиц гроза,
всех небесных криниц темница,
всех ключей подземных лоза!

8. СПРАВЕДЛИВОСТЬ, ИЛИ ЮСТИЦИЯ

Становился вечером вновь ручным —
и о мире мы сволочном
забывали, воском сочась свечным,
трепеща в свеченье ночном.

Колотилось сердце в речной груди,
замирало. Жаркой, живой
наготовой — «возьми» — говорил — «войди,
приюти» — ладоням — «я твой!»

Коромысло лодочки, крепкий руль,
на устах — вкус пены морской...
Как назвать пылающий тот июль,
те весы Киприды — «тоской»?..

Только знаю: греческому огню
кипарис и тис нипочем:
воскресает умерший на корню —
и прекрасен крест за плечом.

Оперенье Зевса или Христа
равновесьем шумным — шепни —
окрыляло? Чьи целовал уста
в гефсиманской пряной тени?

9. ОТШЕЛЬНИК

Эти грозные друзья прибоя,
этот горный хрусталь проливной...
Голубое пыланье, любое...
Кто-то дышит у нас за спиной.

И не знаю, кого я ревную
среди капель целующих, струй...
В ледяную градирию ночную
погрузи, только «я» не воруй.

Ибо влажное «ты» не разделишь
на двоих, если зонтика три...
Рушишь воды и кроны шевелишь,
даже сердце сжимаешь внутри. —

Одного, Драгоценный, не можешь —
погасить нашу душную спесь.
Оттого так терзаешь и гложешь —
подаешь зеркала... Занавесь!

Созерцатель соседнего пыла,
так что капля шипит на щеке,

жду — когда же все то, что томило,
в шумном люке исчезнет, в песке.

О, тогда лишь, когда нас — бесполо,
безязыко — с дырявой кормы
смоет вольной волною Глагола,
мы полюбим размытое «мы».

10. КОЛЕСО ФОРТУНЫ

До ада ближе, чем до Багдада.
И по ночам корабельной крысой
мечется сердце — Шехерезада...
Что эти пляски старухе лысой?
Что эти сказки — об Аладдине,
о паладине, о мореходе —
выросшей вдруг леденцовой льдине,
в южных морях, при ясной погоде?..
Тщетно крути колесо, Фортуна,
вялой волною! Тони, лоханка,
выменяв дырку в своем борту на
пыл «Стерегущего» или Ханко!
Алые все отворяй кингстоны,
пей океан из фонтанной пасти —
о, эти соли живые! Стоны
слушай, не ведая — смерти, страсти...
Кто там — Анубис, Тифон, Геката?
Смена немая зимы и лета?
Запад восхода? Восток заката? —
Только зеркальная грань валета,
только двойная тоска Нарцисса —
взаимоотражение «я» в «ты»...
Нет ни движенья, ни веса, крыса!
Не аргонавты мы — астронавты...
Смерть не страшна и жизнь невозможна,
сердце по кругу бежит тревожно.

11. СИЛА

Было в городе зыбко и жарко —
к языку прилипали слова.
По лекалу кроила байдарка
острием острова-рукава.
Леску жизни вокзальная Парка
обрезала... Я помню едва:
похоть улицы, смрад зоопарка,
золотое отчаянье льва...

Так томился ты, запертый в клетке
мною (мне бы хотелось — в грудной)...

Дай мне сонные эти таблетки —
и танцующий зной площадной,
и касанье кладбищенской ветки,
и пылание плоти родной!..
Время — вроде рулетки, монетки, —
смертный выигрыш лепты сквозной.

Вид на шпиль из расширенных окон,
зелень волн, тополиный балкон...
Не составить из зримых волокон
свет, на нас нисходивший... с икон?..
Я смотрю в голубой потолок: он
знает, что я поставил на кон.

12. ВИСЕЛЬНИК

Брат Иуда, отец мандрагоры,
знаю: дело твое керосин!..
Палестинские синие горы
и серебряный шорох осин...
И паломник немой очарован
дымкой новозаветных высот.
Но не им, а тобой поцелован
Тот, Кто крест всепрощенья несет...
Вижу: целое море заката
и огней золотистых щепоть...
Увеличена так и разъята
у задущенных грешная плоть!..
Жизнь — лишь помесь синкопы и смуты:
тех — повесить, а этих — распять...
Но на сходе последней минуты
Он тебя поцелует опять.

13. СМЕРТЬ

Овальный блик фотоэмали:
счастливый фавн лет двадцати...
Когда его вот так снимали,
могло ли в голову прийти?..
Банально, знаешь ли, и жутко...
В сети кладбищенских аллей
паучья трепетная шутка —
еще смешнее и пошлей...
Неладно в Даннии, прохладно —
и я шепчу тебе: «Пошли!»
Но ты все жалобно и жадно
глядишь на тленника земли.

14. УМЕРЕННОСТЬ

Из пустого в порожнее воду,
воздух, землю, огонь, — ото всех
правил реализуя свободу
и законных не зная помех
сострадания, — переливаю,
на листе подражая Творцу...
Только что ж это — сам я сгораю
и горячую соль по лицу

растираю, столь вольно играя?
Скоро гвозди в ладони вобьют...
А какое видение рая
озаряло, ты помнишь, дебют!
Сфер вращенье и пенье гармоний,
вообще — сообща, заодно...
Зной мученья и едкий аммоний —
плащаницы голгофской пятно.

15. ПАН, ИЛИ ДЬЯВОЛ

Лишь глаза закрою, что ни
ночь, — растет, дуреет
плоть под тяжестью
ладони —
и почтовым реет
голубем к тебе — такому,
господи, далекому, —
мрак подкатывает комом
к горлу, сердце ёкает...

Я хочу тебя — такого:
горького, ночного,
заключенного в оковы,
ключевого — снова...
ах, забыл я это слово —
термин птицелова:

сизым оловом — основа,
на просвет — лилово...

Слово — доблестней тюльпана
в его юной лени...
Как мы баловали Пана,
милого оленя!
Ни единой не поверю
византийской сплетне...
Я люблю тебя, как зверя —
зверь в юдоли летней...

Ах, на фавновой поляне
станем на колени.
«Мы — олени? — спросим. — Лани?
Лани — мы? Олени?..»

16. МОЛНИЯ, ИЛИ НЕБЕСНЫЙ ОГОНЬ

Долго башня гордая строится —
быстро рушится и горит...
Здравствуй, чистое пламя Троицы —
Слово, Дух Святой, Параклит!

Чем утетишь?.. Сердце расколото,
не разъяв Любви и греха,
и течет никчемное золото —
амальгама, плазма стиха.

Это мнилось пресуществлением?
Пресен хлеб и кисло вино...
Даже к Отчим припасть коленям я
не могу — уже не дано.

Ни стигмата, ни теплой ветоши,
ни борений потных в ночи,

ни кормлений, ни брений нет уже —
лишь „оля, разряды, лучи...

Знать хотя бы — какой заряд несущ?
Кто добрей — помолится ль за?..
К небольшому, частному Патмосу,
назревая, скачет гроза.

17. ЗВЕЗДА

Что-то школьное: если о шерсть янтарь
потереть, он станет теплей,
горячей... Шепни мне — ты чей?.. ошпарь
из пищалей всех и щелей...

На струне дрожащей горяч смычок,
обжигают скрипку щекой...
Вот и жизнь — такой звуковой сачок
для вмещенья жизни другой.

Что еще мне сделать с тобою — съесть,
задушить, живот распороть?..
Как изжить телесную прелесть — лесть
Божеству, волшебную плоть?

Так, в капкан попавшись, целует зверь
сталь — до смерти гложет, грызет...
Будет больно-больно, но ты поверь:
Богоматерь и нас спасет!

Не Танжер мне снится, Звезда Морей,
а безлюдный южный атолл.
Накрени же парусник наш скорей,
запали-ка пиратский тол!

Пусть взорвется боеприпас внутри
каравеллы — разве нельзя? —
и матросы русые пузыри
пусть пускают, в бездну скользя.

Их тела безвольные в глубь неси,
обнимая, — слаще конца
не бывает, ласковее... Спаси
лишь меня и тезку-юнца!..

На непуганый вынеси нас песок,
где семь пятниц будет на не-
деле, козы, кокосовых пальм лесок,
птицы в небе, рыбы в волне.

Где такая полная бирюза,
что и время двинется вспять.
Где и днем и ночью его глаза
будут звездами мне сиять.

18. ЛУНА

На мальчишек патлатых, в потертых
шортах, жадно глазами косил...
Ах, во всех разогретых ретортах
одинаковый булькает ил,
та же самая жажда вздымает
кровь — и в море родное несет...
Но, играя, любой понимает:
хрупких стенок никто не спасет.

И люблю я бесстрашно сорящий
средиземной соленой слюной
этот зрящий, тоскующий, зряшный
Диотимы магнит полюсной —
краткосрочной и сладостной плоти
извожденье идеей зазря...
Лишь досадно, что в нашем прилоде —
только ангелы, пыл словаря.

19. СОЛНЦЕ

Не волной морской, не петлей, не пулей, —
а сейчас вот сердце в груди
разорвется... Всё, что не ты, на стуле,
на полу оставь — и иди
вязким светом в липкий постельный улей...
По ночам у нас не темно в июле —
я хочу тебя, погляди!

Хорошо, в разметанной плоти лежа,
как в овсах, тобою дыша,
умирать... Все это лишь дрожь и кожа,
но внутри, ты знаешь, душа.
И на жаркий шепот она похожа —
на волшебные «эль» и «ша»...

Мотылька ладонью ловил ночного —
и теперь вот пальцы в пыльце...
Как сияет брызгами соли слово,
как спит, кончаясь на «це»!
Спи... А солнце светит с востока снова,
и все славно будет — в конце.

20. СУДНЫЙ ДЕНЬ

Этим купальщиком юным, на Каменном
острове нами увиденным с мостика,
стать бы, чтоб в каре-зеленом и пламенном
зренье пылать твоим — милая гностика,

печь Данилова, тайное знание...
Сладостны жжения жизни животные —
сердце отбойное, страсти стенание,
угли подкожные, вдохи подводные...

Как я люблю тебя — старый и жалобный!
Кажется, был бы моложе и краше я,
что тот купальщик — проточный, трехпалубный,
тысячепарусный, — самое страшное
произошло бы: живые б ослепли,
мертвые встали б из праха, взирая
на Апокалипсис — в розовом пепле
сердце сливается с сердцем, сгорая.

21. МИР, ИЛИ ОБРАТНАЯ ПЕРСПЕКТИВА

Чешуя сазанья, перо фазанье...
Но не ясно: как там — в огне, в земле? —
Расскажи, послушник, про осязанье,
про резьбу морозную на стекле...

Мастер прозы вкрадчивой (с листопадом
среднерусским сравнивали), свечным
язычком согрет ли ты за распадом —
благовестным солнцем ночным?

О, поведай: шире ль вдали аллея,
чем вблизи, воскрес ли отвес,
флорентийской Флоры-весны милее
наважденье зыбких небес?

Гностик, мистик оптики, сдутый листик,
пленник свастик, формул схоласт, —
хорошо ли Слову в сетях баллистик?
Не гнетет ли азбук балласт?..

Не сужу. И я ведь Отца и Сына
позабуду ради словца,
ради прелести... Шелести, осина!
Начинается мир с конца!

И, пытаюсь зримое слить с незримым,
мы встречаем бесов в лесу, —
потому и названы Третьим Римом:
за красоты — соты, красу.

a

b

c

D

e

Алексей Кирдянов

НОЧЬ

Книга стихотворений

Ночь — мое звездное время

ШЛЯГЕР НА ПРОСПЕКТЕ

А. К.

Музыканты играют неровно
на проспекте у входа в метро
и ко мне целоваться бескровный
шлягер липнет, что пьяный Пьеро.

Как, простуженный, деланно-праздничный
и с надеждой на денежный приз,
попрошайкой тот шлягер заразный
то взлетает, то падает вниз!

«Вам, товарищи, разве не нужно
в жизни музыки, просто тепла?!»
Но прохожие так равнодушно
мельтешат на проспекте — дела!

Что ж, прохожих, измученных разным,
тоже нужно бы мне пожалеть —
и на шлягер, на шлягер заразный
я пожертвую желтую медь.

И дрожит в увлажненном пространстве
неприглаженный, ржавый мотив.
Жизни жуть в этом непостоянстве
обожжет мою душу, смутив...

В ПЕРЕУЛКАХ

А. П.

Заблудился в переулках — и молчу.
Словно азбуку — по буквам, учу
город свой (не протестую)
битый час.
Не сейчас —
через звукопись крутую
улиц, через два квартала, но пойму,
заблудился в переулках почему.

Молчаливым человеком прохожу,
 улыбаюсь зыбким кралям — все кружу,
 край окраин полукругом
 обводя;
 обходя
 неземным, нездешним другом
 трупик очереди черной — «Вы за кем?..»
 Счастлив — и от счастья, что ли, зряч и нем?

Скрип. — Троллейбусы, как бусы, — сбавлю шаг, —
 выплывают друг за другом, плавно так,
 на асфальт у остановки...

 Дальше мне.
 Вон в окне —
 штор движение: там ловко
 дама курит в городскую кутерьму.
 Мне, заблудшему, кайфово одному.

Звуки букв в названьях улиц: «а», «в», «ё»... —
 чередую, а на крышах — воронье...

В переулках, скован счастьем
 почему,
 вдруг пойму:

объясню своим причастьем
 к взорам — ах! — твоим тишайшим... А молчу? —
 в сердце нежности смутить я не хочу.

В РЕСТОРАНЧИКЕ

В задрипанном районном ресторанчике
 частенько бьются стекла и стаканчики.
 Частенько за одним из дальних столиков
 пьют водку двое местных алкоголиков.
 Затертые, заношенные лица —
 сегодня снова что-нибудь случится.

Я спокоен.
 Пробую сметану.

Над их столом устало тлеет лампочка.
 «Графинчики неси, официанточка!»
 Всегда их тосты — что-то очень среднее
 между «за нас!» и «чтобы не последняя!»
 Жуют и ржут, слюнявят папиросы.
 И шлют кассирше пошлые вопросы.

Я спокоен.
 Кушаю бифштекс.

И вот, когда графина три осушено,
 смотри финал приятельского ужина:
 братание, а следом — оскорбления,

блевотные взаимоунижения.
В их возгласах шныряет «чья-то мать»,
уже их кулаки сминают скатерть.

Я спокоен.
Пью напиток.

Нелепой первой жертвой пала лампочка,
затем — графин. Грозит официанточка.
Застыли, кто жевали, в напряжении.
А те творят «посудные» движения.
И вот вскочили: морды бьют друг другу —
сценарий старый, жизнь идет по кругу.

Я ухожу,
дождавшись счета.

«В задрипанном районном ресторанчике
частенько бьются стекла и стаканчики...»
Стекло летит со стулом из окошечка,
к стене прижалась крошечная кошечка.
Милиция запаздывает снова.
«Орет» в проем Марина Журавлева*...

Мне грустно.
Закуриваю.

АКВАРИУМ В КАНЦЕЛЯРИИ РОТЫ

«Аквариум в шкафу —
Босфор в миниатюре», —
подрейфить на софу
присядет даже Тюрин**,
не то что кто-то там —
начвещ или начштаба
(с них плату брать пора бы:
за час по двести грамм
«горилки»)... Гупши, бар-
бус Шуберта (пять пар),
три точки моллинезий
живут себе, и цезий-
сто-тридцать-семь не сдался

им на фиг — попадался
мотыль б на дне раз в день;
им плыть в стекло не лень.
Иллюзия в стекле б —
и ладно...

Но -- снаружи:
как рыбка тщится в «луже»
разбить стеклянный sklep,
так мы поднаторели
считать ладьей — софу,
скалярью — форелью,
проливом (одурели!) —
аквариум в шкафу!..

* Популярная певица.

** Здесь: командир ВСО.

ОТДЕЛЬНАЯ СТРОЙРОТА

Вся изъезжена пластинка, замусолена — до слез.
Ах, морозная глубинка с «миллионом алых роз»!
С подчиненными зимую без ТВ и папирос.

Хат с десяток — худосочье. Среднерусская зима.
Для туркменов Запесочье — уж не меньше — Колыма!
Да и мне осточертело: глухомань — сойдешь с ума...

«Запесочники» под вечер: «Хразрэшиты... очэн спат...
чили́м ёк... совук... хэ, н́ча?... обаны компат... стройпат...»
Жмутся по двое на койке, о своем скулят, скрипят.

Я спасаюсь Достоевским, под кровать обогреватель задвинув. Это — не с кем: здесь не водится блядва; «голубь» есть один меж «вэнстров»^{*}, но, помилуйте, — молва!..

А с утра — ту God! — траншеи под фундаменты домов...
Все строительство на шее — не хватает то ломов,
то лопат... Лишь выраженья с губ слетают — нету слов!..

В продуваемый вагончик поналезли. «Эй, Аман,
дуй на стройку! Вышли! „Пончик“, Сейталес, Меред, был план
чтоб сегодня!.. А, Утепов! Где ты шлялся, шарлатан?»

Так до вечера. В четыре нализавшийся прораб
приезжает: «Надо шире рыть траншеи... И пора б
доложить мне в унэре, чем ты занят здесь...» — и — ап! —

дверца хлопнула в кабине ЗИЛа... Ну, Стифеев, гад!
Пьянь такая, а при чине; настучать-то будет рад.
А в четверг — «планерка», да уж! — «сам» приедет, говорят...

«Живо строиться на ужин!» — что-то в горле запершит:
мир до «точки», что ли, сужен? Взор — дрожащий хризолит.
«Шагом... — как родимых брошу? — марш!» И строй живет, шуршит.

МАРГАРИТЕ

Подойди, погладь, —
говорю тебе.

Евгений Рейн

Сколько народу — кромешный вокзал!
Помнишь? — а я тебя первым узнал:
первым решился, как в пропасть с откоса... —
и о себе, без вступленья и спроса!..

^{*} Военные строители (офицерский жаргон).

Как же, — вздохнул я тогда говорил! —
 словно немотствуя лишь я и жил;
 словно пленила меня Лорелея...
 «Лапушка, — думал, — родная», — хмелея.

...Имя твое с мягким шариком «эр»;
 «Я — Алексей», — в твой шепнул пуловер.
 С мягкой измятою взор серо-карих...
 тонкие губы, изгиб их и жар их!..

Ты говорила, что грустно тебе
 жить в общежитии города Б.;
 я, тебе вторя, — о Питере вьюжном,
 о несущественном, даже — ненужном...

Встреча с одной из тишайших тихонь!..
 И, соскользнувши, ладонь — о ладонь...

★ ★ ★

Я едва уловил этот слабый намек серо-карих, голубо-зеленых...
 Говори, говори... так хмелеют от вин благородных каких-то,
 крепленых...

О Москве, о себе, о пустых поездах.. переходы
 взволнованно-быстры...
 Столь чарующе нов позабытый акцент, бархатистый на верхнем
 регистре.

Ах, как неутомим губ упругих изгиб! — о певичках эстрадных,
 о шмотках...
 (Замирает порой твоя темная бровь, словно вздох восхищенья:
 «ах, вот как!»)

Говори ни о чем... речи б хрупкая вязь не прервалась вдруг
 паузой лишней.
 И не в эту ли мятую туманных зрачков я влюблен был в пражизни
 давнишней?

И незримой стеной шелудивый вокзал отгорожен от нас,
 обморожен...
 Мне пора на перрон, на троллейбус — тебе... Как я грустно,
 как сладко встревожен!

Вот и пауза, вот... Руки разъединять наши, чувствую, все-таки рано:
 в свой блокнот адресок я сейчас записал самого, может быть,
 Дориана.

ПЕТЕРБУРГ

На стекла вечности...
 Мангельштам

Замечаю: набрякло нелепо
 над Петербургом промокшее небо..

И, с горечью во рту кофейного экстракта, —
о, дребезжание... о, треск трамвая! —
скорей, скорей от Пулковского тракта,
в себе безусого курсанта узнавая...

Но задержусь, дрожа, у «Маяковки»:
прохладен дождь... (Не кажется ли, прежде
ты был беспечней в вымокшей одежде?..)
И, прикурив у мальчика в толстовке,
я вспомню вдруг: в расшатанном партере —
здесь, на Владимирском, театра —
как чей-то взор дрожал, настойчив, серый...

Но ест глаза раскуренная «Ватра»;
слепит, слезясь, мерцание витрины;
и фонарей тускнеют пелерины.

...И навалюсь плечом на плотное стекло,
в ладонь зажму монетку для размена —
в нутро скатиться метрополитена,
где чуть теплей, иль мнится мне: тепло...

А за полночь, в троллейбусе парящем,
уколет что-то холодом пьянящим:
то к сердцу мне, что скальпелек хирурга,
приложен шпиль звенящий Петербурга.

СТРОФЫ

Я бродил по Петербургу, хрупкому... Февраль,
как разбитую скорлупку, город собирал.
И в горсти шершавой жались
шпили, Эрмитаж
и словечки, фразы: «alles»,
«Every Night», «типаж»...

И по лестнице щербатой на шестой этаж
я, теряя счет парадным, в городе пропаж...
«Задержи, хотя б на двушку
нежненьких минут», —
ей шепчу (ему?) — в подушку.
Зубоньки блеснут.

Я держался за перила, двушкой по стеклу
дверь скрипела и закрылась — двушка на полу.
И измятою фольгою
утра перламутр
над Садовой (иль другою?)...
Что же, буду мудр.

И рассерженною кашей мне под сапожок
лишь горячий петербуржский, жалкий мой снежок.

Таял, душу ледящий,
город за спиной
в дымке зыбкой и щемящей,
вегошной, льняной.

Я бродил и растворился у трамвайной не-
остановки зыбкой тенью, томной, на стене.

ПЛЕЩЕЕВО ОЗЕРО

С. Уварову

Шелковисто плещется озеро Плещеево,
мелководьем плавают смелые мальки...
Влажный шелест воздуха — сохрани в душе его!
Рыболовов прочные удочки легки.

Отмелью от берега надо далеко идти,
прежде чем «по горлышко» в воду, во весь рост...
Волны, волны времени! — как песчинку смоете
и меня — измелете, словно блики звезд.

А другого берега очертанья четкими
остаются — маковок, стен монастыря...
Плещется Плещеево и играет лодками,
как когда-то ботиком юного Петра.

НАД ВОЛГОЙ

Лети, душа!

Александр Кушнер

...А с берега высокого над синеокой Волгою
далеко видно: лес...
Щеглом ли жизнь прощелкаю,
(чем пахнет — не карболкою?),
нежнейший из повес?

О берег шелковистые пусть волны бьются, пенятся.
Так сладко, сладко... Что ж.
И Муза — века пленница.
А что-то переменится —
ты, Волга, подытожь!

Щеглом ли, белым голубем — лети, душа дрожащая!
Где? — выше! — воздух свеж
и синева пьянящая,
где гибель — настоящая!..
Лети, душа, утешь!

* * *

Этажи. Если вниз — намертво...
 Нижут петли стрижи, кружат,
 в прах античную тяжесть гекзаметра
 щебетанием — в пух — рушат!

Муза каплей дождя, бусинкой,
 звучьем зреет, дробясь, в шуме;
 так о снег с полосы б узенькой
 хрип полозьев ловить, обезумев!

Эту твердь, эту ширь спрашивай,
 эту жуть виражей, с дрожью:
 это, это ль страшной страшного —
 лёт мешком к твоему подножью? —

С этажа — ах! — мешком, Лужиным,
 замечая: герань — к занавескам...
 И шершавым асфальтом простуженным
 раздробить мозжечок с треском!

* * *

Плеск, шелестя, по лиловой портьере...
 Книгу отложишь, откроешь окно.
 Пушкин и Моцарт!.. Мой Пушкин, Сальери
 что-то подсыпал — и зелье темно:
 «Выпейте, Пушкин!» — и жалостно-склизким
 снег января отразится в зрачках...
 Снова — за Музой, по Дантовым диском:
 что-то о струнах шептать, о смычках;
 снова — о Музе, о девушке в хоре,
 зимней дороге, тугих парусах
 (к черту — о смерти), а лучше — о море...
 Моцарт смеется, и Пушкин в слезах!

ДОРОЖНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ

Скорее! — поедем за этим,
 за этим составом, затем —
 за тем поворотом заметим
 полянку цветных хризантем.

Цветник тот мелькнет и погаснет
 виденьем из радужных грез.
 А после — машина увязнет
 в грязи у дорожных берез.

Грязь долго мы будем — без толку! —
 месить: хоть в машине ночуй...
 Присядем. Мне хлебную корку
 отлочишь: «Поешь... Не горюй!..»

Сказать-то тебе не рискну я,
 что корка сладимо-горька,
 как привкус льняной поцелуя
 любимого мной паренька.

СТИХИ ПРО БАКИНСКУЮ НОЧЬ

О. В.

Вот: стихи написал про бакинскую черную ночь! —
 как бежать мне хотелось от моря Каспийского прочь;
 как слепил мне глаза, как дразнил... как рассудок темнил
 блеск темнеющих вод... или волн? — нет, вернее: чернил.
 Спелым диском над морем... над молом, желта и жирна,
 в нефтежирной воде отражаясь, лоснилась луна.
 Я ж, блажной, по Бульвару метался, шепта-повторял:
 «...он нарочно меня... нет, случайно меня потерял...
 Ах, куда ж ты... ах, где ж ты?.. мой нежный, мой лучший дружок...» —
 море было так близко, что... ай да и вышел стихок!
 ...Но услышал, расслышал: «Пойдем-ка, Леш... поздно. Ты ж — мой».
 Как в ту ночь мы, обнявшись, всю ночь возвращались домой!

★ ★ ★

В жизни-штучке жестокой
 невесомый игрок,
 так молил он: «Послушай,
 мое сердце, браток!»

Нет, он был настоящий,
 этот маленький друг —
 и живой, и дрожащий —
 словно выпал из рук.

Но я даже небрежно
 не притронулся, нет,
 к этой хрупкости нежной
 девятнадцати лет.

Где-то в песенке спето:
 «Не прокрутишь назад».
 Перед хрупкостью этой
 я теперь виноват.

Свитерок затерялся,
 невесомый, в толпе.
 Только трепет остался
 в глупой клетке-купе.

И что делать, не знаю —
 кто б послушал мое?.. —
 я, вдохнув, выдыхаю:
 «Ах, Сережа, Сере...»

★ ★ ★

Три годика, считай, играли в кошки-мышки:
 не мог решиться я, и не из храбрых — ты...
 Мне — двадцать пять, тебе... ай, все равно — мальчишки! —
 молвы людской стыдясь, пугались теплоты...

Мне завтра уезжать... Нет, я не оплошаю —
 пусть людно за столом на празднике моем,
 пусть ты не трезв — тебя я взглядом приглашаю:
 «Ну, выйдем покурить... Ну, посидим вдвоем...»

А это вот и есть — желаннейшая нежность:
 когда твоя рука легко с моих колен
 скользнет, легко, туда — в мой жар, в мою крошечность,
 где бьется, как душа — послушай... — нежный плен!..

ЖЕСТОКИЙ ВАЛЬСОК

Была на краю жизни...

Алла Пугачева

Пластиночку заветную поставлю
и подпою — тихонько, невпопад.
И фразы той, неверной, не поправлю,
где вместо «Петербурга» — «Ленинград».

«...И я вернулся», — глухо повторяю.
Ах, зябкой ноты зыблемый комок!
Все ж доживу, верней, доумираю
свой простенький, жестокий свой вальсок.

Пусть все — иное, музыка, — иная!
Но есть еще пока кого терять,
я не хочу... хотя не страшно — знаю,
теперь я знаю — сладко... умирать.

ТАШКЕНТСКОЕ МОРЕ

Денечек в июле! И жгучее солнце!
И желтая дрожь на автобусной шторе...
Ты бледностью кожи похож на чухонца.
Ты жаждал увидеть Ташкентское море.

В бутылках ликеровых — квасы и морсы:
ты жажду взахлеб утоляешь на зное.
Спортсменов блестят загорелые торсы;
байдарки легки, быстроходны каноз...

И кажется, что еще нужно для счастья? —
поплавай, качаем зеленой волною!
А жизнь без чужого — живого — участия
слегка симпатична, — не будет иною...

И ты раскраснелся — и думаешь: «Та же,
что в детстве когда-то, жарница в июле!
Вот так же на море однажды, на пляже...»
Но это — не море, и нас обманули.

★ ★ ★

Ты Ташкент листал и перелистывал —
глянцевые цветики-открытки;
звуки Музы-музыки просвистывал,
вглядываясь в слезки маргаритки.

Ты же разбазаривал, раздаривал
глаз своих зеленые искринки.

И под желтковато-желтым маревом
зрел зерном ты, прозябал в сутлинке...

Лягушачье ты хабз изнашивал
нищей и зашоренной отчизны:
ты ж ее приструнивал, приглаживал
против шерсти, словно против жизни.

★ ★ ★

И ты покорен сим теплым руном,
сей войлочной гущей — и плакал;
и понял: покрыто все небо-паром
эмалевым, палевым лаком.

И знал ты: роптанье запрещено,
но знал: всего лучше — блужданье...
Не ты для отчизны — нежданный щенок,
она для тебя — ожиданье!

Что ж, влага сей жизни жестка, строга —
жесток и жёсток порожек...
Нежнее тем ночи журьба-игра,
чем небо жарче, дороже.

★ ★ ★

В край зеленого ислама
ты уперся — словно лбом...
Мы листали Мандельштама
в переплете голубом.

Капли ливня — дробью на жуть!
Взор, зашоренный дождем...

Мы блаженной жизни тяжесть
терпеливо переждем.

О надежда — что иная
надо мной звезда плыла!
Но, Аллаха ублажая,
не о нас молил мulla.

★ ★ ★

Чего еще нужно, о Муза?.. По праву,
мужая, живу в Среднеазии узкой;
и южно-звенящему шмелю по нраву
шершавое слово: шепни-ка, науськай!

Так — кожу крыжовника влажную жало
разрежет: соси кисловатое мясо!..
Мой воздух азийский, ветшающий шало —
что шерстка шинели, что жгучая ряса...

И брошена искорка жалкого тленья
на желто-тяжелом, густом глиноземе...
И ночь шелковиста, что шкура оленья —
в ней нежно щеками прижмемся еще мы...

ПОДРАЖАНИЕ

Не я ли не жил — и в миражном Египте?..
 Счастливым я был в волооком Ташкенте...
 Парило. Я к солнцу взбирался на лифте:
 я сбрендил, нет — выпил горячего бренди...

Я темно-гуашевым — знай же — и нашим
 ночам подобрал чуть дрожащее имя.
 Ты в нашем союзе был нежным, я — старшим:
 я взорами бредил твоими льняными...

Не я ли губами касался ладоней
 твоих; удивлялся, что ты позволяешь
 мне быть и возвышенной, и непристойней —
 что ты меня любишь и мне потрафляешь?..

БЕССОННИЦА

Светлане К.

Когда фонари догорают, и тает
 весь город в клубящемся, вязком тумане,
 вновь девочка эта, вся в белом, порхает —
 и дразнит, танцуя, — пугает и манит...

Опять эта девочка?.. в темном квартале,
 чье белое платье на черном асфальте...
 А небо уже охлажденнее стали,
 и тоньше мелодия, звонче — Вивальди...

Из ранних — бессонница эта босая:
 смеется, в любви невесомой клянется;
 помянит к себе, у окна зависая,
 да вниз ускользнет, словно в пропасть сорвется...

Так старая лакомка пальчики душит
 тугим ароматом сухого печенья... —
 так девочка — в белом — порхает и рушит
 ось жизни, не зная себе назначенья...

★ ★ ★

Я стал слегка сентиментален:
 как сухи небеса тугие...
 О шелк прохладной ностальгии
 по темноте полночных спален!..

Круженье веток, листьев блеклых
 дрожанье — шелесты сухие.

Июльской отблески на стеклах
 слепящей солнечной стихии.

Устам, пожалуй, и пристало
 шептать о влажности и плюше
 упругих чых-то... А усталый
 мой шепот тише стал... и глуше.

★ ★ ★

Мираж — Востока минареты
под небом пепельно-сухим...
Прощай, горячей сигареты
в ночи дрожанье, Ибрахим!

Небрежно брошенное слово,
крошись, песочное, ты — ложь...
О Ибрахим, хороший, снова
«Ночь хороша!» произнесешь.

Упругих губ и смуглой кожи,
прощай, соленый теплый вкус!
Жаль, Ибрахим... прощай, прохожий...
И ночь нежна, как «джаным рус...»

★ ★ ★

Дымок кудрявый уличных шашлычных
щекочет ноздри, стелется лениво
вдоль пыльного асфальта... Или зычный
слябявый голос плюнет торопливо
про «свежий твóрог» жирный... Абрикосы,
ворсинками подернутые, купишь...
А все-таки: черны глаза, раскосы
у спутника, который «Что ты любишь?» —
держу пари — не профилонит, спросит.
А ты — одну из тех, что есть в запасе
всегда, теорий — ту, что приморозит
слегка страстишки эти седовласы...
«...Есть идеал мучительный — он бреду... —
твои слова что горсть сухих фасолин, —
...сродни... Все ж, есть!..» Закурит сигарету,
чуть раздражен, твой спутник, он уволен.
«Мороженого хочешь?» — и заметит
без зла: «Не хнычь, любитель совершенства!
Все кончится когда-нибудь — и этот
ворсистый вечер мнимого блаженства!..»

★ ★ ★

Но вспоминая небо августа —
лоскут, что сух, вернее, выжжен, —
я соглашаюсь: что ж, ты прав — густа,
влажна и мягкость черных вишен.

И что осталось нам? — ах, тающей
полоски краешек, чуть синий;
и только дрожь по коже — та еще...
налет черешневый — что иней...

Еще не сыты вязкой гуцею... —
о, небо августа! — досталось
из ягод поздних выбрать лучшую,
и пригубить. Такая жалость!..

★ ★ ★

Ты ли забыл липкий вкус шоколада? —
о, легкомыслие южного лета!
В полдень поджарый лишь тени прохлады
слаще бисквитного тела рулета!..

Что ж ты молчишь? — разве горше какао
мой поцелуй... разве ягод мутнее
взор, виноградных..? — Молчи, а пока о
синем морском расскажу полотне я:

«В мире спокойнее нету стихии...
Но... и над морем уж тучи густые...»
Ты рассмеялся — ты вспомнил стихи и
наши улады love you молодые?!

★ ★ ★

Не забывай горячее,
изнеженное лето,
и вкус сладко-приторный
бисквитного рулета,
и глиняные чайные —
непрочные — сервизы:
в пиалах недалеко
чайночек круизы.

Что патоки темнеющей,
твердеющей шербета —
не забывай воздушное
безе тепла и света,
фужеров чок нечаянный, —
«и глаз не поднимая», —
и наших рук касание:
бисквит густой ломая...

СОН-ВОСПОМИНАНИЕ

Тяжело-желтый, карий нимб зрочка
припомню: паволока шелковиста...
Движение, всплеск зрочковый — от щелчка
переключателя... Как ночь душиста!..

Припомню жар до жизни жадных губ,
шафранный хмель тугого поцелуя...
Развратны губы! — как же... нежно-груб
я с ними снова: ба́луя, ба́луя...

Всю дрожь нежней прижать к груди, грубей...
Еще плотней прижаться ухом, метко,
к тому, что есть — твоя грудная клетка,
и слушать: бьется нежный воробей!..

★ ★ ★

Но помнишь ли ты это солнце большое,
то щедрое солнце?.. О тяжести моря
ты помнишь? — воды темносинь и еще... и
ту горечь волны, что с соленостью споря..?

Ты помнишь ли? — Темнонефтяною ночью
луна тяжелела и трудно дрожала...
И мы предложенье свели к многоточью:
расчетливо жались друг к дружке, и шало...

А помнишь ли... часто ли слушаешь нашу
мелодию — ту, от маэстро Козлова*? —
Пожалуй, что потчуешь ею Таняшу
(ведь нежного слова достойна незлого)...

И я вспоминаю гореловский व्यюжный
пейзаж за окошком казарменным: вязы...
и ночь... и ты — нежный, единственно нужный —
мне жаркие шепчешь на ушко рассказы...

★ ★ ★

— *Шоу, мой мальчик, еще продолжается...*

Нет, не шоумен я, не толстосум,
я — ночная птица с большим крылом.
Просто — ночь веселая, просто — шум
за окном, на улице, за стеклом.

Каждой ночью, бражнику, мне тепло —
только тем и нежит ночная шаль...
Высоко как в горы нас занесло
жизни, смерти, музыки... — Жаль!

Ни о чем не нужно жалеть: в любви,
слышишь, насмерть ранить разрешено...
Сизокрылый, бейся в стекло: живи,
кляй с ладоней неба пшено.

РАЗГОВОР ПО ТЕЛЕФОНУ

А.

Неба лоскутик сухой маргаритки
цвета, верней — сероватее даже...
Может, Вам выслать цветные открытки
с видами стен расписных Кукельдаша?

* Джазовый музыкант, саксофонист.

План, может, выслать гостиницы местной —
самой крутой, с описанием кухни?
(Вслед интонации этой нелестной,
Мрак Телефонный, пожалуйста, ухни!)

Вам интересен рассказ о вечерних
тех переулках? — темны и курчавы...
А передать разговорчики черни? —
Уличной — резки, салонной — слащавы...

Нет, лучше вышлю Вам томик Саади —
мне он не нужен: хотите — читайте.
Вроде юнната я был в зоосаде —
клетку открыл: «Снегири, улетайте!»

О, разглядите на фото парнишку
в джинсах... Делончик! Как он покрывало
сбрасывал на пол, как нагло под мышку
лез мне и носом... А после — нас рвало...

Что замолчали? — Скорее же, бросьте
трубку, ругнитесь, как целый парламент!
Вязь шелковисту в разверстые горсти
Ваши вложу — мой восточный орнамент.

ПЕТЕРБУРГСКИЕ СТИХИ

До свиданья, лето... Прощай, прощай!
За окном — гостиница; синева
потемнела, кажется: это — чай,
тот, что я не допил... Едва
ли все так же будет, — живой жасмин,
Петербург, июля великолепный зной, —
ах, Танат когда и за мной, за мной
поспешит, верней — Томас Манн (Кузмин?)...
Ты боялся, милый, спугнуть листок
с той плиты, за изгородью живой? —
прикоснись ко мне, но взболтни желток
петербургской ночи: я — твой.
...Окунулся в нежное — с головой! —
голубка восточного нежно сжал,
повторял: «Горячий какой, живой...
Я хочу, чтоб ты ворковал, дрожал...
поперхнулся б капелькой дрожжевой...»
Доказать мне чем еще, что — люблю?
Объяснить мне как еще: «горячо»?
Миноносцу-тертому-кораблю
легковесный парусник — по плечо.
Сколько лет вот так я не плыл, не жил —
так светло, прозрачно, так хорошо!
Самолетик в небе парил, кружил,
зависал и падал... — Еще!

Танцевала девочка — черт в трико! —
Зелены ли взоры у аонид? —
у нее — зеленый... и нам постоять легко
у Столпа-со-ангелом, Феогнид!

★ ★ ★

Good night for mothing.

Nabokov

Ласточка нежная крыльев
шелестом в небо скользя... —
шорохам этим стигийским,
всполохам верить нельзя...

Дружное тверди зиянье
звездное, бражник, вскружи! —
крылышки тальком напудрив,
тьму виражами вяжи...

Тьма эта — бражная — в лужах
вновь отразилась — и вот:
слышно, как тлеющей прелью
мой охраняет живот...

Михаил Ивин

МОИ ПЯТЬ ВОЙН

В истории человечества война более постоянное явление, нежели мир. Не упомню, кто первым высказал в такой форме эту бесспорную истину, подтверждаемую ходом событий вновь и вновь. Ведь только за полвека, прошедшие после крушения гитлеровской империи, на планете разыгралось более сотни баталий. Их иногда утешительно называют малыми войнами, хотя длятся они зачастую годами. Гнуснейшая особенность этих разборок (тут, думается, уместен бандитский жаргон) — они уносят тысячи жизней не причастных к боевым действиям детей, женщин, стариков.

Война стала профессией для многих молодых людей, ищущих нанимателей, кои побольше заплатят.

Молох ныне и вовсе обнаглед, требуя новых и новых жертвоприношений. Разгуливая по всем континентам, разве что за вычетом Австралии, злобное божество стравливает народы, народности, племена, жившие дотоле, чаще всего, в мире и согласии.

А какое было ликование после победы над Гитлером, после создания ООН как гаранта мира на планете!

— Баста! — восклицали восторженные политики. — В обозримом будущем войн не предвидится.

И вот оно перед нами, обозримое будущее!.. Сто шесть кровавых разборок за полвека...

Поневоле приходит в голову зловредная мыслишка. По праву ли человек присвоил своему виду эпитет «разумный» (*Homo sapiens*)? Не вернее ли было бы — «неразумный»?

Скажут — разве лишь только люди враждуют между собой?! Поглядим, что происходит в природе. В дремучих лесах, в глубинах Океана, в песчаных пустынях живые создания тем и заняты, что не только убивают, но и поедают друг друга.

Да, но станет ли волчица нападать на волчонка, даже если он не ею рожден? Тигр не растерзает чужого тигренка. Лиса не обидит не своего лисенка. То есть в природе — быть может, за редким исключением — нет внутривидовой борьбы.

С человеком, называющим себя разумным, все не так. Все люди, населяющие нашу планету, независимо от цвета кожи, разреза глаз и других примет, принадлежат к одному виду. А враждуют между собой все яростней, все жесточе.

Какой же бес надоумил человека убивать себе подобных?

В природе хищники и их жертвы в чем-то уравновешены, ни одному виду не дано решающего перевеса над другими.

Самый быстрый на планете бегун, гепард, может развить скорость 110 километров в час. Казалось бы, антилопа, которую он преследует, обречена. Но гепард способен держать наивысшую для него скорость лишь в течение нескольких секунд. Если он за эти мгновения не настигнет и не завалит намеченную жертву — она спасена.

И еще. Численность хищников всегда ниже численности их жертв. Кроме того, преследуемым дана возможность природой прятаться от быстрых хищников, затаиваться.

С людьми все не так. Едва встав в полный рост и обретя свободу рук, они стали враждовать между собой, то есть развязали, наперекор природе, внутривидовую борьбу, не брезгуя даже иногда поеданием себе подобных.

Ученые утверждают: за последние пять тысяч лет на Земле произошло 14500 войн; погибло в них не менее трех с половиною миллиардов людей.

В исторические времена, которые мы знаем более достоверно, битвы между людьми не только не поутихли, а сделались жесточе, кровопролитнее, длительнее. Война между Францией и Англией, известная под названием Столетней, тянулась подолее века (1337 — 1453).

Ну, и наконец, пришел век двадцатый, когда нечистая сила, иначе и не скажешь, надоумила человека неразумного изобрести ядерное оружие, с помощью коего можно в одночасье обратить в прах не только род человеческий, но и вообще жизнь на планете... Не так уж трудно представить себе нашу Землю луноподобной, либо марсоподобной...

Множатся жертвы ставших привычными войн. И не идут из головы вешние строки Булата Окуджавы: «Спите себе, братцы, все придет опять...»

Обращусь к тем войнам, которые называю своими, ибо знаю о них не понаслышке, не токмо по книгам и рассказам участников. Всего их пять. Первые три я перенес, будучи мал, в двух участвовал солдатом, а под конец и офицером.

Родился я на юге Белоруссии, недалеко от Гомеля. Жили мы на хуторе. Мне было четыре года, когда началась Первая мировая война. Бои шли вначале где-то далеко от нас, мы о них знали только по рыданиям жен и матерей в окрестных селах, до которых доходили вести о гибели мужей и сыновей.

И вот она, первая война, пожалуй, самая легкая из пережитых мною.

Мне было лет около восьми, когда в наших местах появились немецкие солдаты. Пришли они согласно Брестскому миру.

В нашем доме, заняв его половину, разместилось целое отделение. Вели немцы себя мирно, не обращая никакого внимания на местных жителей. У солдат была своя кухня, и они ни в чем не нуждались, не требуя ни у нас, ни у окрестных крестьян никаких продуктов.

Мы, мальчуганы, осмелев, стали маячить перед раскрытым окном, в которое выглядывали пришельцы. И вот однажды я угледел нечто воистину страшное. Стоя у окна, солдат с аппетитом разьедал отваренную лягушку, выбирая из нее лакомые кусочки. Возле нашего дома был большой пруд, полный лягушек. Ими питались белые аисты, гнездовавшие на старой березе поблизости. И вот теперь у них появились конкуренты?

Разглядев, очевидно, выражение ужаса на моем лице, солдат, разьедавший лягушку, рассмеялся и вдруг, оторвав от нее лапку, бросил ее мне. Я стремглав убежал прочь и дома рассказал о происшедшем. У нас в это время гостил мой дядя, мамин брат, успевший уже повоевать и уволенный после ранения. Выслушав мой рассказ, дядя сказал, что вообще-то лягушек едят французы. Возможно, солдат, напугавший меня, живет где-нибудь на границе Германии и Франции?..

Немецкие войска вскоре ушли из наших краев. В Германии начались волнения, и Брестский мир сам собой утратил силу. Император Виль-

гельм бежал из страны, а его дивизии спешно покинули занятые ими российский территории.

...Пройдет два десятилетия, и летом сорок первого года в Белоруссию вторгнутся вышколенные Гитлером потомки вильгельмовских солдат, которых я видал в детстве. Налетев на местечко Азаричи, где я родился, они стонят в парк всех евреев, включая детей, женщин, стариков, перестреляют их и сбросят трупы в одну яму.

Среди убитых окажется и мой отец Хаим Левин. О чем он думал в последние мгновения своей жизни, стоя на краю могилы под навешенным на него «Шмайссером»? О том ли, что совершил роковую ошибку, полагая, будто немцы сорок первого года такие же, как и немцы восемнадцатого? Либо о том, что когда стало очевидно, что они, нынешние, нелюди, ему уже не достало времени и сил, чтобы уйти на восток?

Узнал я о судьбе отца лишь после того, как Белоруссию очистили от гитлеровских войск...

Вторая моя война — советско-польская 1920 года. Ее захлестнули последующие события, и нынешние поколения мало что о ней знают. Да и длилась она менее года, что по масштабам батальей XX века почти чуть-чуть...

Наш дом стоял на широкой дороге, проложенной через леса и болота. И вот по этому шляху, обычно тихому, весной 1920 года двинулись на восток войска.

— Ляхи идуць! — говорили наши мужики. — Що воно буде?..

Для меня, десятилетнего, движение войск было редкостным зрелищем. Чтобы загнать меня на ночь в дом, матери приходилось брать в руки хворостину.

А под осень ляхи, по нашему же шляху, преследуемые Красной Армией, шли обратно, отступая уже в беспорядке...

Советско-польская война завершилась в марте 1921 года подписанием мирного договора, согласно которому к Польше отходили Западная Украина и Западная Белоруссия.

Но мир в наших местах, на Гомельщине, наступил еще не так скоро. Гражданская война, третья для меня, которую я бы назвал противогражданской, поскольку она принесла наибольшие беды мирному населению, продолжалась. Для нашей семьи она оказалась самой тяжелой. Не стало нашей кормилицы коровы Ласки — не упомяну, то ли ее просто украли, то ли пришлось продать ее за бесценок. Разграблен, разорен огород — мамина гордость. Повсюду шныряют банды. Особенный страх наводили молодчики известного авантюриста Булак-Балаховича. Наша семья вынуждена была бросить дом и перебраться в местечко Азаричи, которое спасли от набега вооруженные добровольцы, дежурившие круглосуточно.

Остается добавить, что в годы гражданской войны я переболел дважды возвратным тифом, дизентерией, испанкой (гриппом).

Итак, три войны позади. Четвертая настигла меня неожиданно спустя два десятилетия, в конце 1939 года. Я успел за это время отучиться в средней школе, отработать лет восемь репортером и два года отбыть на действительной военной службе. Я наивно считал, что свой долг перед военным ведомством я выполнил сполна. Меня уговаривали, правда, перед демобилизацией остаться на сверхсрочной, но я уклонился от этого предложения, мотивируя отказ тем, что у меня есть профессия, которой я дорожу, — журналистика.

Но об этом позднее...

Я вернулся в свою «Красную газету», где работал до призыва. Шел тридцать четвертый год. В конце его некий маньяк застрелил в коридоре

Смольного Кирова. Впрочем, маньяк ли он был? Убийство в Смольном остается до сих пор загадочным, так как всех могущих быть причастными к этому делу, или о нем что-либо знающих, на скорую руку перестреляли.

Убийство Кирова было на руку Сталину во всяком случае — отдавал ли вождь такой приказ, либо не отдавал. Государственный террор царил в стране и ранее, начиная с 1917 года, но теперь он получил, так сказать, прочную основу. Враги повсюду!..

Франц Кафка, пристально и неторопливо вглядывавшийся в современное ему судопроизводство, многое увидел и предвидел. Но такое и ему не могло прийти в голову.

Джордж Оруэлл впоследствии писал: «Разве ты не понимаешь, что назначение новоречи состоит в том, чтобы сузить границы мысли?..»

Еще не слышно голосов одиночек, с риском для жизни провозглашавших, что черное есть черное, а белое есть белое. Психушки для них появятся позднее.

Железной метлой чистят город при полном молчании его ошарашенных жителей. Вдруг, к примеру, не стало первых лиц, работавших с Кировым, тех, кто совсем недавно подписывал его некролог.

Интеллигенцию, в первую очередь остатки той, что знавала царский Петроград, высылают без суда, по спискам. Для других — видимость судебного разбирательства.

Привожу целиком устрашающий документ, обнародованный на первых полосах газет 5 декабря 1934 года, но датированный почему-то первым декабря — днем убийства Кирова.

«Центральный исполнительный комитет Союза ССР постановляет:

Ввести следующие изменения в действующие уголовно-процессуальные кодексы союзных республик по расследованию и рассмотрению дел о террористических организациях и террористических актах против работников советской власти:

1. Следствие по этим делам заканчивать в срок не более десяти дней.
2. Обвинительное заключение вручать обвиняемым за сутки до рассмотрения дела в суде.
3. Дела слушать без участия сторон.
4. Кассационного обжалования приговоров, как и подачи ходатайств о помиловании, не допускать.
5. Приговор о высшей мере наказания приводить в исполнение немедленно по вынесении приговора.

Председатель Центрального исполнительного комитета Союза ССР

М. Калинин

Секретарь Центрального исполнительного комитета Союза ССР

А. Енукидзе.

Да, невероятное становится очевидным.

Добираются и до журналистов. Молодых, вроде меня, пока что не беспокоят. Но «Красная газета» за недолгий срок лишилась поочередно трех главных редакторов.

У многих, если не у большинства, думающих людей, сознание раздвоилось: думали одно, говорили, если уж никак не удавалось промолчать, другое.

Я вел себя в ту пору как всякий молодой холостяк, который, как говорится, и жить торопится, и чувствовать спешит. Заработки в газете были хорошие, и я мог каждое лето проводить отпуск на юге — либо у моря, либо в горах Кавказа.

Конец тридцатых годов, как и их начало, был, между тем, далеко не из веселых. Сменивший убитого Кирова Андрей Жданов правил куда более жестко, нежели его предшественник. Одна из памятных его акций начала тридцать девятого года — упразднение «Красной газеты», основанной в 1918 году Володарским. Вскоре закрыли и вечерний выпуск этой газеты. «Вечерка» стала выходить вновь, но под другим названием — «Вечерний Ленинград», аж после Второй мировой войны. На всю бывшую столицу остались две ежедневные газеты — «Ленинградская правда» и «Смена».

Безработными журналисты, впрочем, не остались. Меня пригласили на радио в «Последние известия».

А в конце тридцать девятого кончилась моя безалаберная холостяцкая жизнь: я женился. И, как выяснилось вскоре, поспешил малость. Едва успели мы с молодой женой провести медовый месяц, как мне принесли повестку из военкомата. Объявлена частичная мобилизация запасных, будем воевать, по приказу Сталина, Финляндию!

Вот так — Ленин в свое время даровал финнам свободу от России, Сталин задумал иначе...

Молодожен, не молодожен, а являться на призывной пункт надо. Паспорт, военный билет, служебное удостоверение...

Уже потом я узнал, что в Москве решили захватить Финляндию силами запасных в одну неделю, не вводя в действие регулярные войска...

— Вы, случаем, не связист по воинской специальности?

— Я авиаторист, служил два года в авиационной бригаде. Да ведь в военном билете все написано.

Косой взгляд.

— Вижу. Но авиатористы нам в данное время не требуются.

— Так я могу быть свободен?

Удивленный взгляд.

— Какой вы, однако!.. Побудете у нас. Разберемся.

Проходит несколько томительных часов. Меня выкликают.

— Вы в радиокomitee работаете? Так это же по ведомству связи!..

— Никак нет. Я репортер «Последних известий». К связи, тем более воинской, я отношения не имею.

— Ну, это уж тонкости... Нам сейчас не до них. Мы сформировали корпусный батальон связи. Не хватает в команду до штата одного-двух человек. Вот вы и подойдете. Через час отправка с Витебского... Старший, примите пополнение...

Нас привезли в Новгород и разместили в оскверненных, ободранных кельях Юрьева монастыря. Тут провели мы две недели. Чему-то нас обучали. Во всяком случае, команда на построение подавалась раз десять на дню.

Батальон все же был укомплектован, в основном, запасными, знающими дело: одни служили в свое время в армии связистами, другие владели той же специальностью на гражданке. А я не умел даже толком срastить концы проводов.

Из Новгорода батальон, уже поздней осенью, перебросили на Черную речку, в военный городок, где в одной из казарм разместился штаб 19-го корпуса. Дивизии, между тем, уже заняли исходные позиции вдоль пограничной реки Сестры.

Терпели меня при корпусе недолго. Когда пришел мой черед дежурить на штабном коммутаторе, то сразу стало очевидным, что я не умею

обращаться с этим нехитрым устройством. И меня откомандировали в распоряжение начальника связи одной из дивизий корпуса, а из дивизии сразу же препроводили в полк, в роту связи, рядовым, где я и провел всю войну с финнами.

30 ноября 1940 года наши войска, с легкостью преодолев границу, вторглись в Финляндию. Был придуман, раздутый потом в газетах, и повод: финны якобы обстреляли из орудий одну из наших дивизий, стоявшую у рубежа. Поселок, указанный в сообщении, близ которого разорвались будто бы финские снаряды, находился недалеко от штаба нашего корпуса. Но там до самого момента нашего вторжения царил тишина. Да и орудий, как потом выяснилось, финны близ границы не держали. Их отряды прикрытия имели автоматы «Суоми», пулеметы и легкие минометы, переносимые одним солдатом.

Главный же пояс обороны, о котором наша разведка понятия не имела, был упрятан в лесу, далеко от границы. И вообще, не безумцы же командовали финскими войсками, чтобы спровоцировать таким вот способом войну между малым народом и великой державой! Во главе вооруженных сил Финляндии к тому же стоял выдающийся полководец Карл Маннергейм.

Ходячая истина — нигде и никогда столько не лгут, как про войну. Прошло более полувека со дня окончания войны, которую именуют Зимней, или Стодневной. И ведь подумать только, Финляндия, все население которой не превышает ленинградское, вздумала якобы напасть на бывшую российскую столицу, да и вообще расширить свои владения аж до Урала!

Об этом писали всерьез, горлачили с трибун, в расчете на то, что советские люди уже давно отучены думать не так, как велено.

Открываю 4-й том «Очерков истории Ленинграда», солидного академического издания (1964 год). Цитирую:

«Поощряемые США и западно-европейскими державами, реакционные круги Финляндии попытались превратить свою страну в плацдарм для развертывания военного нападения империалистических государств. Спровоцированный этими кругами конфликт на советско-финской границе перерос в войну... В этой войне Советский Союз по существу столкнулся с объединенными силами международного империализма».

А спустя десяток с лишним лет эта выдумка почти дословно была повторена в БСЭ.

Ложь не живуча, небылице короткий век — гласит русская поговорка. Так-то оно так, но ведь эта ложь про Стодневную войну гуляла по миру едва ли не полвека...

И вот я — рядовой роты связи 168-го полка 24-й дивизии (сержантское звание, полученное в авиабригаде, во внимание не принято).

Мое обмундирование и снаряжение: хлопчатобумажное белье; белье теплое; шаровары и гимнастерка; ватная куртка; шинель; шапка-ушанка; портянки летние; портянки зимние; валенки. Оружие: трехлинейка Мосина со штыком; гранаты РГД; противогаз (коробка выброшена вон, в сумку напихан всякий ханал-манал). Ни карабинов, ни, тем более, автоматов на вооружении армии в ту пору не было; единственным в полку карабином владел комиссар полка, коротавший дни и ночи в блиндаже под четырьмя накатами толстых бревен.

Уютно и тепло было вшам: поди достань ее, вошку, под мышкой.

Вес снаряжения связиста-проводочника (так обзывали нас): винтовка со штыком — примерно 4,5 кг; катушка, на которой намотан

километр однопроводного кабеля — 22 кг; телефонный аппарат в коробке — 2,5 — 3 кг.

Вот так и пробегал я всю войну по пояс в снегу.

Поначалу, еще в декабре, нам выдали лыжи. Мы тут же их побросали.

Как-то при мне наш пулеметчик сбил финского снайпера, сидевшего в маскхалате на сосне — тот неосторожно пошевелился. Любопытства ради я расстегнул убитого — уж очень легко он был одет, а морозы стояли под сорок. Плотный суконный китель, под ним шерстяной свитер, шерстяное белье и, к моему удивлению, белье шелковое (на нем вши не держатся). Ну и пьексы, конечно, лыжи стояли прислоненные к дереву.

Стодневная война кончилась в марте сорокового года. Было объявлено, что Финляндия капитулировала. И опять неправда. Цель, поставленная Сталиным в этой войне — присоединить Финляндию к Советскому Союзу, — не была достигнута.

Сформированное загодя правительство новой советской Финляндии во главе с Отто Куусиненом, заседавшее в Териоках, пришлось втихаря распустить. Правда, Финляндию изрядно пощипали — она потеряла Карельский перешеек и некоторые другие территории. Но она сохранила полностью свой суверенитет, не став придатком сталинской империи.

Ну, а мы, навалывшиеся в снегах, чудом уцелевшие? Нам бы поскорее домой, к женушкам. Не тут-то было. Нас отвели в лес, что недалеко от Выборга, велели копать землянки, и там мы прожили аж до июня сорокового. На побывку хотя бы домой — ни-ни. Оказалось, что нам еще надо взять Прибалтику, что и было совершено без единого выстрела на этот раз. Ибо у прибалтов не было ни современных армий, ни оружия, ни укреплений, подобных финским.

И так как мне, как и моим товарищам, слава Богу, ни разу тут не пришлось загнать патрон в патронник, то я не включаю оккупацию Прибалтики в число пяти перенесенных мною войн.

Наша дивизия простояла в Латвии с месяц, затем нас перевезли в эшелонах под Брест, откуда поздней осенью меня отпустили домой.

Ну, а спустя полгода — третий призыв в армию: началась Великая Отечественная война, для меня пятая по счету. Я всю ее отвоевал в блокированном Ленинграде, на этот раз по своей специальности — корреспондентом фронтовой, затем армейской газеты.

Краткие мои заметки о блокаде опубликовала в свое время «Нева».

А все пять перенесенных мною войн, равно как и захват трех прибалтийских республик, более подробно описаны в моей книге, которая лежит в рукописи на письменном столе, дожидаясь издателя.

Послесловие

О любой войне написано много неправды. Стодневная оболгана, я бы сказал, от начала и до конца, хотя написано о ней мало. Стыдно ведь признавать, что мы по сути ее проиграли: Финляндия сохранила независимость, хотя приказ был — захватить ее, присоединить к империи.

Как-то я заспорил с одним из участников Стодневной, полковником в отставке. Он пытался внушить мне, что наше вторжение в Финляндию было мудрой, дальновидной акцией. Не отгойкой мы своевременно Карельский перешеек — Ленинград бы наверняка не выстоял в блокаду.

И в самом деле. Граница с Финляндией пролегла всего лишь в тридцати километрах от Ленинграда. Короткий бросок через Сеструреку, и противник уже на Выборгской стороне. А так финнам, вступившим в войну в сорок первом году на стороне Германии, пришлось начинать боевые действия аж за Выборгом.

— Выходит, — сказал я, — Сталин, планируя нападение на Финляндию, предвидел, что Ленинград спустя два года может оказаться в блокаде?!

— Ну, это вы несерьезно, — развел руками полковник. — Важно, что был сделан шаг в правильном направлении.

— Хорошо, давайте серьезно. Вы, стало быть, уверены, что Финляндия стакнулась бы с гитлеровской Германией в сорок первом году, если бы мы не напали на нее в тридцать девятом. Мы же сами толкнули финнов на сговор с Гитлером. Не будь нашего вторжения, Финляндия, скорее всего, оставалась бы нейтральной, подобно Швеции. Я же помню, как летом сорок первого наступающие финские солдаты кричали: «Рус, отдай наши огороды!» Не зарься мы на чужие огороды, как знать, мы в блокаду могли бы покупать у финнов, да у шведов также, продовольствие; город был бы осажден лишь с юга, и осталась бы в живых многие сотни тысяч (кто их считал?) погибших от голода людей, чьи останки покоятся ныне на мемориальных кладбищах.

— Ну, это все домыслы! — отпарировал полковник.

— А ваши построения, простите, разве на фактах основаны? Вы ведь, конечно, знаете, что на старой границе с Финляндией были наши долговременные укрепления. И когда финны, кстати весьма быстро, дошли до них в районе Сестрорецкого курорта, то, зная, что перед ними доты, приостановили наступление. К нашему счастью, противнику, как видно, даже в голову не могло прийти, что в них орудуют одни крысы. Пулеметы и пушки были из дотов извлечены и брошены, конечно, вместе с расчетами, вперед, для поддержки малочисленных наших подразделений, пытавшихся отразить яростные атаки в центре перешейка. И вооружение дотов, как и другая техника армейских частей, досталась финнам. Так вот даже при вашем раскладе, то есть если бы финны встряли в войну безо всякого повода, им было бы непросто преодолеть долговременный действующий укрепрайон. Они не стали бы швырять людей, как щепки, под амбразуры неподавленных дотов; как мы это делали в Зимнюю войну на линии Маннергейма.

— Извините, хоть вы и воевали в финскую кампанию, но ведь призвали-то вас из запаса и зачислили рядовым; так что кругозор ваш весьма ограничен и судить масштабно, профессионально о крупных боевых операциях вам трудно.

— Я на ваш воинский профессионализм не посягаю, я человек штатский. Речь идет вот о чем. Вы оправдываете нападение великой страны на малое государство. А я убежден, что такая акция в любом случае безнравственна.

На этом наш спор и кончился...

Денис Датешидзе

* * *

Дышит круглою грудью в родинках —
Словно в каплях конфетной сои;
И идет на ногах коротеньких
по линолеуму босою.

И повсюду в туман просыпаны
Зерна дворничьей рыжей соли,
И машины ведут носы по ней
С осторожной повадкой псовьей.

И дворы под сырою простынью
Копят тесных семей помои
И ворочаются вопросами:
«Что мне делать с тобой и мною?»

«Что случилось с твоей подругою,
Той, что пряталась от бандитов?»
— Город сунул под куртку грубую,
Бестолковых шагов не выдав...

И сидящих под лампой с книгами
незнакомая ночь обнимет
удивленьем, что — кто бы ни были —
происходит и вправду с ними.

* * *

Я гордую музыку слушал,
Она мне помочь не могла —
В ней двигались быстрые души,
Но их опрокинула мгла.

В своем приближении твердом
Дома разрушая в окне
И каждым протяжным аккордом
Уже тяжелея на мне.

А вещи без мысли и муки
Лежали на пыльном столе,
Как легкие древние мухи
В удобно застывшей смоле.

Так некогда тонкая нота
Задела крылом календарь —
И слабым весельем полета
Затеплился черный янтарь.

Юрий Шилов

АВГУСТОВСКАЯ НОЧЬ

Злодей, еще теперь наладил коготь
На сонных цокотух, а позади литую
Захлопнул хвою. И не смей их трогать,
 Не для того тут посадили тую,
Чтоб ты на ней развешивал трофеи
Свои ужасные. От страха в лампу бьются —
 Не бабочки, но страстные три феи,
Заглядывая в цоколь, словно в блюде.

Что бражникам кураж ночной, то мнимой
Стрекозке-палочке ее покой на ветке,
И только бредит, бредит: не сомни мой
 Наряд воскресный девочки-нимфетки.
А по вьюнкам рассыпались в канкане
Три воза мошек из компостной кучи.
 Бесстыжие! Но пусть живут, пока не
Наступит полдень ветренный и жгучий.

А к телу мгла все льнет и часто-часто
Щебечет в ухо, обжигает мочку;
Какие нежности! Зачем они сейчас-то,
 Когда с тобой не сладить в одиночку?
Я б предпочел другую ночь, что нами,
Проникшими в нее, не обольстится;
 Веревка бельевая со штанами
И та метнулась к облаку, как птица.

Но даже в небе хлюпающем света
Не отыскать бегущему, и даже
Окно зашторено от взглядов, это вето
 Накладывает потаскуха та же,
Что каждого обнять спешит, больною
Своею плотью напитать. Пожалуй:
 Афинам древним так — Акрополь, Ною —
Ковчег, а ночи августовской — жало.

Наталья Быканова

СОРОК ЛЕТ СПУСТЯ

Он доминировал в мужском теннисе на протяжении почти трех десятилетий, побеждая на чемпионатах Австралии (1953, 1955, 1971 — 72), Франции (1953, 1968), США (1956, 1970). Австралийская сборная, в которую он входил, семь раз выигрывала Серебряную салатницу. Единственная вершина, не покорившаяся Кену Розуоллу, — Уимблдон. 4 раза выходил он в финал Чемпионата Всеанглийского теннисного и крикетного клуба, первый раз девятнадцатилетним юниором в 1954 году и последний — двадцать лет спустя — в 1974-м. Увы... Но согласитесь — это уникальный рекорд долголетия в спорте.

В 43 года австралиец выиграл свой последний профессиональный титул, приняв участие в 24 турнирах того сезона. Сравните теперь 19 — 20 соревнований в год, которые, кряхтя и жалуясь на переполненный календарь, играют нынешние высокооплачиваемые мальчишки, и станет ясным класс и величие чемпионов тех лет. Прибавьте отсутствие личного массажиста, доктора, 1,5-минутного отдыха при каждой смене сторон, три игры в день — вся первая десятка в 60 — 70-е годы записывалась еще на пару и микст, — сравните с положением звезд нынешних.

Кен Розуолл объявил о своем уходе на пенсию в 1979-м. Некоторые спецы утверждают, что останься он еще на пять лет, закрепился бы на уровне первой полусотни, из которой каждый получает в год больше, чем он получил за первую половину своей карьеры. Наградой за первый Уимблдонский финал в 1954 году ему была серебряная медаль достоинством в 15 фунтов. Двадцать лет спустя за тот же результат Розуолл получил 6000 фунтов. То есть меньше, чем сегодняшний неудачник второго круга.

Уйдя на пенсию, теннисный Дориан Грей терзает бывших соперников в АТП-туре для сеньоров. Например, в 1993 году он намахал ракеткой рекордную для ветеранов сумму — 53000 долл. Можно поспорить, что и в 21-м веке австралиец будет грозой кортов в категории «для тех, кому за семьдесят».

Великий австралиец родился 2 ноября 1934 года в столице штата Новый Южный Уэльс — Сиднее. Корты тут и сейчас, как и в ту пору, на каждом шагу. Правда, синтетическая трава вытеснила на них натуральную, а заодно и грунтовые площадки. Но массовость осталась.

Ракетку в руку десятилетнего сына вложил отец, сиднейский бакалейщик. Вложил в правую, хотя мальчик родился левшой. Розуолл-старший, теннисист районного масштаба, считал, что у левши мало шансов преуспеть в этой игре. К слову, в гольф Кен Розуолл до сих пор играет левой рукой.

Наталья Быканова — московская журналистка, кандидат в мастера спорта. В настоящее время работает в Сиднее (Австралия) в штаб-квартире Ассоциации Теннисистов-Профессионалов.

Может быть, перекладывая ракетку Кену в правую ладонь, отец имел в виду ахиллесову пяту левшей — удар закрытой ракеткой. Общим тогда было мнение, что все лучшие «леворукие» теннисисты — Ярослав Дробны, Мервин Роуз, Нил Фрезер — тяготели к резаному удару, испытывая трудности в исполнении плоского и крученого «бэкхэнда».

Розуолл-старший упустил, однако, неоспоримые преимущества левшей, которыми те прекрасно компенсируют недостатки. Например, оружие номер один — подача, обладающая гораздо большей пробивной силой и большим вращением, чем у правой. Плюс «форхэнд» с сильным кистевым движением и природным топ-спином.

Кстати, переделывают левшей в правой до сей поры. Японка Кимико Дате — теннисистка мировой десятки — пишет и ест левой рукой, а играет правой. Как объясняла сама Кимико, по японским традициям девочке «приличнее» быть правой, чем левой. Строгий дед за обедом, бывало, шлепал Кимико по «неправильной руке», но нисколько в этом не преуспел. Правой рукой внучка только в теннис играет.

Если отбросить пристрастие Розуолла-старшего к правшам, то все остальные действия по обучению сына оспаривать трудно. Техническим руководством ему были книги чемпионов тридцатых-сороковых годов — Дона Баджа, Джека Кроуфорда, Джека Крамера. Результатом трудов стал рациональный стиль, который сам Кен назвал «получением максимальных результатов путем минимальных усилий». В движениях этого невысокого брюнета на корте не было и нет ничего лишнего.

«Бэкхэнд», который у Розуолла-левши мог бы стать недостатком, у Розуолла-правши развился в превосходное оружие. Многие до сих пор называют этот удар одним из лучших «бэкхэндов» в истории современного тенниса. Единственным, кто мог «читать» этот розуолловский конек, был его одноклассник и великий соперник Лью Хоад, с которым Кен сражался на кортах с одиннадцати лет.

«Я нисколько не боялся его ударов, поскольку изучил его манеру, — вспоминал Хоад, — Кен мог бить слева кроссом и по линии с высокого или низкого мяча, но с мяча среднего отскока он всегда играл кросс».

Получив исторический «бэкхэнд», Розуолл, однако, промахнулся с подачей. Конечно, в квадрат он мог попасть и с закрытыми глазами, всегда очень умно и точно «по месту» направляя мяч, но фатального беспокорства соперникам его подача не доставляла.

Первый слух о сиднейском мальчишке разнесся по свету в 1947-м, усилиями Джека Крамера, уимблдонского чемпиона, который десять лет спустя завербует Розуолла в профессионалы и станет его работодателем.

Крамер вспоминал не без удовольствия, как в том далеком послевоенном году он вместе с товарищем по американской команде Кубка Дэвиса Тедом Шредером отнял у австралийцев Серебряную салатницу. Гостей потом повезли смотреть финал сиднейского турнира для двенадцатилетних, в котором пара удивительных деток по фамилии Хоад и Розуолл гоняли друг друга по корту. На памяти Крамера здоровяк Хоад лупил сильнее, но Розуолл играл потоньше и выигрывал больше очков.

Со временем суть не изменилась. Кен не вырос выше 170 см, а ироничное прозвище «Маслз» («Мускулы») лишь подчеркивало размеры самого маленького «убийцы гигантов». Розуолл брал другим: великолепным контролем над мячом, разнообразием ударов, искусным применением «свечи» и эффективной игрой с лёта. Его игровое предвидение сравнимо лишь с лэйверовским. «Машина» — еще одно прозвище

австралийца, отдававшее должное его безошибочной игре на задней линии.

Талантливый сиднейский мальчик понравился не только заезжему гастролеру Крамеру. Родные селекционеры тоже времени даром не теряли. В 1950-м австралийская сборная Кубка Дэвиса получила нового капитана. Репортер мельбурнской газеты «Мельбурн Геральд» Гарри Хопман вновь вернулся на тренерскую стезю. Теннисное образование капитана внушало уважение — в разных разрядах Хопман был финалистом или победителем всех четырех турниров «Большого шлема», и уже примерял в довоенные 1938—39 годы капитанский мундир. Тогда его команда, состоявшая из Джона Бромвича и Адриана Квиста, проиграв американцам финал—38, реабилитировалась на следующий год, вернув Кубок Дэвиса в Австралию.

Его второе пришествие оказалось более продолжительным и годы с Хопманом во главе команды Кубка Дэвиса вошли в историю как золотой век австралийского тенниса. В 1950—69 годах Австралия выигрывала этот почетный приз 15 (!) раз разными составами, произведя рекордное количество теннисных чемпионов на душу своего скромного населения. Начав с Фрэнка Седжмена, через Лью Хоада, Кена Розуолла, Рода Лэйвера к Рою Эмерсону, Фреду Столле, от них — к Джону Ньюкомбу и Тони Рочу, за которыми следовало поколение Фила Дента, Джона Александра, Рэя Гилтинена.

Тогдашнее поколение австралийцев (сейчас это представить невозможно!) приняло хэпмановскую идеологию чистого любительства, схожую чуть ли не с советскими образцами: железная дисциплина, зверская ОФП, бесплатный инвентарь и... 5 долларов суточных. Все оплачивала Федерация: гостиницы, переезды. Никаких доходов, но и никаких хлопот. Для австралийских ребят, живших на отдаленном континенте, также важен был стимул к путешествиям. Они ездили, играли в удовольствие, здорово играли и выигрывали.

Кен Розуолл впервые сыграл за сборную своей страны в Кубке Дэвиса в 1953 году. Хопман на удивление многим поставил тогда девятнадцатилетних Хоада и Розуолла на финал против сборной США. Для Розуолла этот матч, как и следующий 1954 года, стали самыми дорогими воспоминаниями теннисной молодости. «Сотни людей до сих пор говорят о тех баталиях, когда мы играли с Хоадом», — любит повторять Кен.

В 1956-м Кен выбил «Большой шлем» из рук друга-соперника Лью, получившего в 1956 году шанс жизни — выиграть все четыре главных турнира в один год и повторить успех Дона Баджа. Лью уже имел в кармане три титула. Оставалось лишь в третий раз в этом сезоне переиграть Кена в финале, на этот раз чемпионата США. Но, уступив другу Австралию и Уимблдон, Розуолл вцепился в него в Нью-Йорке мертвой хваткой. Что поделаешь: дружба дружбой, а победы врозь...

Уже не сотни, а тысячи людей говорят об историческом соперничестве Розуолла с Родом Лэйвером. Эти два имени редко произносятся одно без другого. Розуолл четырьмя годами старше, ушел в профессионалы, выиграв чемпионат США-56. Лэйвер повторил его путь шесть лет спустя после триумфа на чемпионате США, когда он выиграл «Большой шлем». Став профессионалами, они играли друг против друга почти каждую неделю в разных городах, за разную плату, но всегда с одним и тем же настроением — только на победу. При полных трибунах или в пустых залах Родней Лэйвер и Кен Розуолл бились насмерть независимо от размеров призовых. Полагают, что чаще побеждал

рыжий левша; но сам Род всегда добавлял: «Я знаю, что проиграл ему несколько лучших матчей, которые когда-либо играл в своей жизни».

Пережив эпоху непризнания, когда профессионалов не допускали к участию в Кубке Дэвиса и турнирах «Большого шлема», Лэйвер и Розуолл вернулись на центральные теннисные арены в 1968 году, когда спорт стал открытым. Вернулись, чтобы воцариться снова.

Один из самых памятных матчей — на первом Мировом чемпионате АТП в 1970 году «Мускулы» побил «Ракету» (прозвище Лэйвера). Розуоллу было 36. Накануне их встречи он удивленно качал головой: «Когда я начинал профессионалом 15 лет назад, то думал, что к сегодняшнему дню мои путешествия закончатся и я буду сидеть в Сиднее, продавать страховки, давать теннисные уроки и работать над своим гольфом».

В частной жизни, вне корта, Кен Розуолл — тихий застенчивый человек, который словам предпочитает дело, а пышным торжествам теннисный корт. Женившись на своей юношеской любви, великий австралиец, в отличие от своих собратьев по хопмановской молодости, живет дома, а не в Штатах, в местечке под названием Туррамура. Имеет двух детей — Бретта, родившегося в 1959 году, и Гленна на два года младше.

Будучи одним из основателей АТП (Ассоциация Теннисистов-Профессионалов), Кен Розуолл активно участвует в благотворительных матчах, активно играет ветеранский АТП-тур. Его влияние в современном теннисе сравнимо, пожалуй, лишь с влиянием Джона Ньюкомба, капитана австралийской команды Кубка Дэвиса, который кроме качеств бизнесмена обнаружил в себе комментаторские способности.

«Я полагаю, что должен причислить себя к счастливым, — сказал однажды неуязвимый чемпион, — поскольку мне был дан шанс так долго держаться на высоком уровне. Конечно, я понимаю, что наступит день, когда время скажет свое последнее слово, но пока эта команда не прозвучала, я буду делать все, что в моих силах, на пользу теннису, в благодарность за то наслаждение, которое дал мне он».

a

b

c

d

E

Борис Полищук

НАКАНУНЕ НОВОСЕЛЬЯ

Пьеса в 6-ти картинах

Действующие лица

Антонина Степановна Трунина.

Игорь }
Андрей } ее сыновья.

Галина Тимофеевна.

Коля, ее сын.

Нонна.

Василий Просвирин.

Зоя.

Антон.

Михаил.

Федор Васильевич.

Ленинград, 1975 год.

КАРТИНА 1

Коммунальная квартира в старом, доживающем век доме. Комнат три: в одной живут Трунины — Антонина Степановна с сыновьями, в другой — Галина Тимофеевна с Колей, третью снимает Нонна. Двери выходят в общий коридор, расположенный за сценой.

Комнаты расположены на круге, но можно и так: они отделены перего-родками, когда в одной из комнат происходит действие, в двух других находятся жильцы, их гости.

Комната Труниных. И г о р ь работает над дипломным проектом. Входит А н т о н и н а С т е п а н о в н а с хозяйственной сумкой. Ставит ее на стол.

АНТОНИНА СТЕПАНОВНА. Уходила — писал, пришла — пишет. В воскресенье хоть отдохни. (*Разворачивает свертки.*) Сосисок принесла. И бананчиков, твоих любимых.

ИГОРЬ. Не мешай.

АНТОНИНА СТЕПАНОВНА. Я не мешаю, а говорю. Мимо клуба шла, объявление висит: вечер отдыха молодежи. Сегодня.

ИГОРЬ. Сходи.

АНТОНИНА СТЕПАНОВНА. Ага, пойду. Обязательно пойду. Побегу. Поговори хоть с матерью.

ИГОРЬ. Я знаю все, что ты скажешь.

АНТОНИНА СТЕПАНОВНА. Вот сыночек у меня! Сама не знаю, что скажу, а он знает. (*Садится рядом с сыном.*)

ИГОРЬ. Так. Села.

АНТОНИНА СТЕПАНОВНА. С кем же мне еще посидеть. Другие-то с мужьями могут, а мне-то с кем?

ИГОРЬ. Твой муж прятался от тебя в мастерской, а мне спрятаться негде.

АНТОНИНА СТЕПАНОВНА. Никто от меня не прятался! Скажет. Он в мастерской велосипеда чинил.

ИГОРЬ. Велосипеды. Для тебя главное велосипеда, за них платили. Отец был изобретателем. Для него было главное — изобретать. За это не платили. Мне ведь тоже не платят.

АНТОНИНА СТЕПАНОВНА. Ты другое дело: учишься, диплом пишешь.

ИГОРЬ. Я бесплатно работаю на кафедре. Ты хоть раз спросила отца, что он изобретал?

АНТОНИНА СТЕПАНОВНА. Это Андрюша знает. Да тетка твоя, Галина. Все в мастерскую к нему бегала. Да что теперь. Седьмой год пошел, как отца похоронили.

Пауза.

ИГОРЬ. Мать, а как это тебя угораздило выйти замуж за еврея?

АНТОНИНА СТЕПАНОВНА. А среди них тоже неплохие попадаются.

ИГОРЬ (с иронией). Неужели?

АНТОНИНА СТЕПАНОВНА. Да что это ты говоришь!

ИГОРЬ. С тобой трудно, мать. Я имею в виду, ты деревенская, он городской. Что у вас общего?

АНТОНИНА СТЕПАНОВНА. Пожалела я его. В войну вся его родня погибла. Немцы постреляли. Один, неприкаянный... пожалела. Моя-то родня, подруги — все удивлялись. Жили мы бедно, они и удивлялись. Муж — еврей, а живешь хуже нас.

ИГОРЬ. Не укладывалось в голове?

АНТОНИНА СТЕПАНОВНА. Люди думают, если еврей, значит, хитрый, богатый, с характером. А Саша был... бесхарактерный.

ИГОРЬ. Я думаю, ты его не понимала.

АНТОНИНА СТЕПАНОВНА. Что уж теперь. Вот ты женись на которой тебя бы понимала.

ИГОРЬ. В мои дела, пожалуйста, не вмешивайся.

АНТОНИНА СТЕПАНОВНА. Я не вмешиваюсь, а говорю. Такой парень, как ты, Нонне не снился. Она симпатичная, вежливая, но пускай хвостом не крутит. Дом не сегодня-завтра на слом пойдет. На семью из четверых три комнаты дают. Я ей уже намекала.

ИГОРЬ. Ну и как она? Твой тонкий намек восприняла?

АНТОНИНА СТЕПАНОВНА. Я дело говорю. Понастырней будь. Она тебе по вкусу. Ну и скажи ей напрямиком. Не будь как твой брат. У Андрея все хиханьки.

ИГОРЬ. Воспитывай его. Его!..

АНТОНИНА СТЕПАНОВНА. А я его не вижу. Носят где-то черти. К нему недавно приходил парень, видно образованный. Семеном, что ли, зовут. Тихий, приличный. Вот с такими бы Андрею дружить. А то связался с шантрапой...

ИГОРЬ. Понимаешь, мать, он деятельный человек. Он готов заниматься всем, чем угодно, кроме своих дел.

АНТОНИНА СТЕПАНОВНА. Сходи с Нонной куда, поговори. Скоро разъедемся. Пожалеешь, да поздно будет. (Уходит.)

Доносится гитара, смех. Голос Андрея: «Я сейчас».
Входит Андрей. Смотрит на брата, не решаясь оторвать его от занятий.

АНДРЕЙ. Игорь... Игорь, огромная просьба: приколоть полку на кухню.

ИГОРЬ. Сам не можешь?

АНДРЕЙ. Ребята ждут.

В дверь заглядывает Просвириин.

ПРОСВИРИН. Андрюха, с вещами. На выход.

АНДРЕЙ. Сейчас. Пять минут!

ПРОСВИРИН. Давай по-быстрому. *(Исчезает.)*

АНДРЕЙ. Обязательно в воскресенье приколачивать полку. Маме приспичило! *(Напеваает.)* «В воскресенье отдыхать — вот мой девиз!..» *(Переодевается.)*

ИГОРЬ. Мать вчера просила.

АНДРЕЙ. Ты знаешь, Семен мне сказал, что по субботам евреи не работают. По воскресеньям не работают православные. У нас два выходных.

ИГОРЬ. У меня ни одного.

АНДРЕЙ. Слушай, возьми у мамы рубль, а?

ИГОРЬ. Сам возьми.

АНДРЕЙ. Мне она не даст.

ИГОРЬ. А почему? Почему не даст, ты думал? У мамы рассчитана каждая копейка.

АНДРЕЙ. Несерьезно. Если денег мало, зачем их считать? Это несерьезно. Только расстраиваться.

ИГОРЬ *(улыбнулся)*. Тебя кто-нибудь принимает всерьез? Интересно, о чем ты с Нонной говоришь?

АНДРЕЙ. Вчера, например, о собаках. У нас в доме, представь, ни одной собаки. А позавчера я сказал Нонне...

ИГОРЬ. Сядь. *(Разворачивает чертеж.)*

АНДРЕЙ. Ребята ждут. *(Сел.)*

ИГОРЬ. Ты неплохо выточил детали для моего прибора. Я хочу с тобой посоветоваться. Можно?

АНДРЕЙ. Нельзя.

ИГОРЬ. Нельзя? Почему?

АНДРЕЙ. Можно... Но осторожно.

ИГОРЬ. Ты — токарь, практик. У тебя должно быть мнение.

АНДРЕЙ. У меня его нет.

ИГОРЬ. А что у тебя есть?

АНДРЕЙ. У меня есть гениальный брат.

ИГОРЬ. Цель в жизни у тебя есть?

АНДРЕЙ. Цель? *(Прицеливается.)* Зачем? Все равно промажу.

ИГОРЬ. Сколько тебе лет?

АНДРЕЙ. Это знает одна мама.

ИГОРЬ. Ты не живешь, а порхаешь! Посиди и подумай. Вникни в чертеж.

АНДРЕЙ. Ладно, буду сидеть и вникать.

Пауза.

Мама говорит, ты скоро женишься?

ИГОРЬ. На ком?

АНДРЕЙ. Не знаешь?

ИГОРЬ. Не знаю. А ты?

АНДРЕЙ. Догадываюсь. Хотя... Почему вы с Нонной ссоритесь?

ИГОРЬ. Ты у нас со всеми в мире.

АНДРЕЙ. Отец тоже был мирным человеком.

ИГОРЬ. Отец был вдумчивым человеком. Ну, что скажешь про конструкцию?

АНДРЕЙ. Я еще не вник.

ИГОРЬ. Ладно, иди. А на досуге подумай, что тебя ждет.

АНДРЕЙ. Нас всех ждет светлое будущее! (*Идет к двери.*) Особенно евреев.

ИГОРЬ. Слушай, мне это надоело! (*Понизил голос.*) Я не еврей. И ты не еврей. Себя можешь считать евреем, но не кричи об этом на каждом углу.

АНДРЕЙ. Люди хотят знать точно, еврей ты или нет. Я им помогаю, и все... Если надо что-то выточить для прибора, пожалуйста.

ИГОРЬ. Ты учиться будешь?

АНДРЕЙ (*остановился*). Знаешь, что отец говорил? «Игорь — способный, настойчивый, он должен стать ученым». Насчет меня таких пожеланий не было.

ИГОРЬ. Наверно, отец понимал людей.

АНДРЕЙ. Не работай сегодня. Это — грех. (*Выходит.*)

Комната Галины.

П р о с в и р и н играет на гитаре. Скромно одетая З о я сидит рядом с ним. К о л я смотрит в окно. Увалень А н т о н дремлет. Входит А н д р е й.

ПРОСВИРИН. Наконец-то. А мы тут сидим, ждем.

ЗОЯ. В следующий раз ждать не будем.

КОЛЯ. Где пропадал весь день?

АНДРЕЙ. В новом районе. Из тринадцатого дома переезжали, я с ними прокатился.

КОЛЯ. Делать тебе нечего.

АНДРЕЙ. Баня там!.. Я чуть не зашел. Какой-то мужик меня подзывает и говорит: «Слушай, купи веник. Последний остался». Я взял. Иду, обмахиваюсь, как Чарли Чаплин! (*Показывает.*)

КОЛЯ. Чаплин не так ходит.

АНДРЕЙ. А как?

Коля хром. Несмотря на это, он неплохо подражает Чаплину.

Антон, смотри! (*Тормошит Антона.*) Артист! Чудак, в студию не хочет записаться.

КОЛЯ. Хромых не принимают.

АНДРЕЙ. Талант есть — значит, примут.

ЗОЯ. На танцы вы пойдете?

ПРОСВИРИН. Рано еще.

АНДРЕЙ (*напевает*). «На границе с Турцией, а может, с Пакистаном...»

ПРОСВИРИН (*играет на гитаре*). «...полоса нейтральная, а в ней растут цветы...»

Все, кроме Коли, поют.

КОЛЯ. Кошки сбегутся.

АНДРЕЙ. Володя Высоцкий! Сила! Глубина! Юмор!

ПРОСВИРИН. Танцуйте. (Поет.) «Сегодня в нашей комплексной бригаде прошел слухок о бале-маскараде...»

АНДРЕЙ. Публика просит. (Тащит Колю танцевать.)

КОЛЯ. Отстань.

АНДРЕЙ. Тут все свои.

КОЛЯ. Сказано — не хочу!

ПРОСВИРИН. Его мамаша намерена с ним разъехаться. Коляя переживает.

АНДРЕЙ. Тетя Галя еще не решила.

ЗОЯ. Решила, решила. У Кольки будут свои десять метров. Галина намерена с официантом жить.

АНДРЕЙ. Этот официант ничего мужик.

КОЛЯ. Хорошо сохранился в свои сто двадцать лет. Ухажер. Мамке конфеты дарит.

АНТОН. Не обращай внимания. Вот я приду домой. Племянник орет, как... начальник цеха. Я говорю себе: «Антон, твоему племяннику семь месяцев. Он должен орать. А ты, Антон, должен отдохнуть». Вот так вот, по системе йогов.

АНДРЕЙ. Помогает?

АНТОН. Через раз.

АНДРЕЙ. Делай упражнения. Я ведь дал тебе книгу про йогов — там отличные упражнения!

АНТОН. Кому надо стать йогом, так это Кольке. Он — псих.

АНДРЕЙ. Он нервный. Все актеры нервные. Запишешься в актерскую студию?

ПРОСВИРИН. Надо, Коля, поближе к культуре. Время такое... сам понимаешь.

КОЛЯ. Ты подошел к культуре вплотную.

ПРОСВИРИН. Не волнуйся за меня. (Андрею.) Кто такой Просвирин?

АНДРЕЙ. Виртуоз-гитарист!

ПРОСВИРИН. А еще?

АНДРЕЙ. Токарь номер один на заводе.

ПРОСВИРИН. В новом доме я заживу. Батю отправлю лечиться. Или разъедусь с ним... Зашибает.

КОЛЯ. Один будешь жить?

ПРОСВИРИН. Посмотрим. (Андрею.) Слушай, как там у Нонны дела?

АНДРЕЙ. Ничего.

ПРОСВИРИН. Красивая девка. Особенно волосы...

ЗОЯ. Волосы она красит.

АНДРЕЙ. Ничего подобного, у нее золотистые волосы! Я таких волос ни у кого не видел. Как-то мы с ней гуляли. Встретили цыганку. Та говорит: «Давай, погадаю, золотая рыбка».

ЗОЯ. Главное не волосы, а какой человек.

ПРОСВИРИН. Но, между прочим, классики писали, что в человеке все должно быть о'кей. И душа, и тело, и... все другое. (Зое.) О тебе этого не скажешь. Тело хорошее. Душа — так себе. А все другое — типичное не то.

АНТОН. Что это — все другое?

ПРОСВИРИН. Приведу пример. Была у меня задумка: подписаться на Пушкина...

АНДРЕЙ. Хорошая задумка, Василий Петрович.

ПРОСВИРИН. Хотелось также мебель приобрести. Но тут ребром встал вопрос: для кого? Нет, погоди. (Обнимает Андрея.) Представим на

минуточку, что я поймал золотую рыбку. Где ее держать? В паршивом аквариуме? Обстановка нужна. Покупаю мебель. Подписываюсь на Пушкина. И даже на Лермонтова...

АНТОН. А это? (*Имеет в виду деньги.*)

ПРОСВИРИН. Хватит. Начальство меня ценит.

АНТОН. Ты умеешь права качать. Чуть что: «Поищите другого токаря».

ПРОСВИРИН. Не завидуй, Антон. За что я Андрюху люблю? Он не завистливый.

АНДРЕЙ. Я не умею твою работу делать.

ПРОСВИРИН. Сперва научись работать, а потом возникай. (*Антону.*) А ты работать — не очень чтобы очень.

КОЛЯ (*едко*). Навести Нонну. Растолкуй, что ты теперь не пьешь, большую «капусту» имеешь...

ПРОСВИРИН. К ней Андрюхин братан клеится. Да и Миша вернуть-ся может.

КОЛЯ. Кто на рыбалку не ходит, тот рыбку не поймает.

ПРОСВИРИН. А что, попробовать?

КОЛЯ. Наколи ее своей острогой!

АНДРЕЙ. На танцы! На танцы! (*Пробует увести Просвирина.*)

ПРОСВИРИН. Без меня.

АНДРЕЙ. Василий Петрович!

ПРОСВИРИН. Все будет культурно. (*Выходит.*)

ЗОЯ. Васька!.. Сволочь!..

АНДРЕЙ. Он сейчас вернется. Возьмет книгу у Нонны и вернется.

Комната Нонны.

Н о н н а читает. Входит П р о с в и р и н.

ПРОСВИРИН. Можно к тебе?

НОННА (*удивленно*). Заходи.

ПРОСВИРИН. Скоро переезжаем. Думаю, надо заглянуть. Попробовать...

НОННА. Садись.

ПРОСВИРИН. А ты почему дома?

НОННА. Так...

ПРОСВИРИН. Размышляешь?

НОННА. Размышляю.

ПРОСВИРИН. О Михаиле? Он далеко, на Севере. Может, об Игоре?

НОННА. Ну, мало ли.

ПРОСВИРИН. Информация для размышления. Наш мастер ногой открывает дверь в кабинет директора...

НОННА. Ногой? Интересная информация. (*Смеется.*)

ПРОСВИРИН. В руках бутылки! (*Смеется.*) Шучу, он непьющий. Вроде меня... Все его боятся, сам директор. А передо мной этот мастер: «Просвирина! Вася! Выручай!..» А что ему делать? На весь цех двое токарей: я и твоя подруга...

НОННА. Какая подруга?

ПРОСВИРИН. Андрей — твоя подруга. Плохого о нем не скажу, но... Еврей есть еврей. У Андрюхи кишка тонка.

НОННА. По-моему, вы друзья.

ПРОСВИРИН. Он — нормальный парень. Не то что муд... мудрец, его брат.

НОННА. Оригинально.

ПРОСВИРИН. За оригинальностью не гонюсь. Жить надо культурно. Время сейчас... сама понимаешь. *(Наигрывает на гитаре.)* Спеть? «В тот вечер я не пил, не ел...»

НОННА. Спасибо.

ПРОСВИРИН. В кафе сходим?

НОННА. Не хочется.

ПРОСВИРИН. Кофейку попьем.

НОННА. Я же сказала.

ПРОСВИРИН *(помолчав)*. Что ты из себя строишь? Ну, кончишь свое педучилище. Ну и куда тебя пошлют? Ты из Красногорска? Ну и пошлют в этот, извиняюсь, вонючий Красногорск. А там культурных людей днем с огнем не сыскать. На весь город человек десять от силы.

НОННА. Кошмар!

ПРОСВИРИН. Замуж не выйти в Красногорске.

НОННА. Старой девой останусь.

ПРОСВИРИН. Ты зачем переехала в наш дом?

НОННА. Комната пустовала. Андрияша договорился с хозяином.

ПРОСВИРИН. У нас в доме женихов много.

НОННА. Ты вне конкурса.

ПРОСВИРИН. А что, если я Игорю расскажу? Мишка к тебе ходил? На ту квартиру?

НОННА. Ходил.

ПРОСВИРИН. Ты с ним жила. Что, не так? Так.

Пауза.

НОННА. Все сказал?

ПРОСВИРИН. Он на Север уехал, бросил тебя.

НОННА. Иди.

ПРОСВИРИН. Ты чего? Нонна... я не хотел обидеть.

НОННА. На тебя нельзя обижаться.

ПРОСВИРИН. Вас понял. Хочешь Игоря заарканить. Я-то найду, с кем кофе пить. А может, пойдём в кафе?.. Пойдём?..

НОННА. Никогда ко мне больше не заходи. Я очень прошу.

ПРОСВИРИН. Мне такие без надобности. *(Выходит.)*

Комната Галины.

А н д р е й, К о л я, А н т о н, З о я. В х о д и т П р о с в и р и н.

ПРОСВИРИН. Идем на танцы?

ЗОЯ. На танцы? *(Замахнулась.)* Сволочь! Вали отсюда!

ПРОСВИРИН. Не сердись. Ты человек, а эта... строит из себя.

ЗОЯ. У меня волосы — типичное не то!

ПРОСВИРИН. Куплю тебе парик. *(Обнял Зою.)*

ЗОЯ. Дурак. Не в этом счастье.

КОЛЯ. Может, ты знаешь, в чем оно?

ЗОЯ. В семье. В детях.

АНДРЕЙ *(Коле)*. Ты готов?

КОЛЯ. Я не пойду на танцы.

АНДРЕЙ. Был французский артист Хуан Кутерье. Или он испанец, не помню. У него левая нога короче правой. На бал придет и как спляшет!.. Дамы балдеют!

ЗОЯ. У Кольки одна дама — его мамочка.

ПРОСВИРИН *(смеется)*. Он за ее юбку — обеими руками. Своей отдельной комнаты не хочет!

АНДРЕЙ (*Коле*). Я у тебя поживу.

КОЛЯ. Тотя Тоня не разрешит.

АНДРЕЙ. А почему? Игорь скоро женится. В нашей новой квартире будет тесно.

КОЛЯ. Мы с тобой об этом давно говорим.

АНДРЕЙ. Я свободен, как ветер, где хочу, там живу. Имею право. Покупай раскладушки. Одну для меня, вторую — для Антона! Хочешь с нами жить?

АНТОН. Колька по ночам кричит.

АНДРЕЙ. Но ты ведь йог. Поживем вместе в новом доме! Парк — рядом, студия — рядом, баня — рядом! Можно жить!.. Когда у нас получка?

ЗОЯ. Забыл?

Все смеются.

АНДРЕЙ. Купим все заранее. Собираемся у Кольки, как всегда. (*Берет Колю под руку. Просвирину.*) «Сегодня в нашей комплексной бригаде...»

КОЛЯ (*посмеиваясь*). Танец века?

АНДРЕЙ. Танцуют братья Трунины! Раскладушка — договорились?

КОЛЯ. Со своей придешь! И!..

Танцуют под гитару Просвирина.

ЗОЯ. Колька-то, Колька!

АНТОН. Артист!

КОЛЯ. Пошли.

Четверо друзей, оживленно переговариваясь, выходят.

Комната Нонны.

Н о н н а читает. Стук в дверь.

НОННА. Да?

ИГОРЬ (*входит*). Добрый вечер.

НОННА. Заходи, Игорь.

ИГОРЬ. Не помешал?

НОННА (*закрывает книгу*). Ничего в голову не лезет. Этот идиот Просвирин! На всю квартиру кричит!..

ИГОРЬ. Ему кажется, что он поет.

НОННА. Зачем Андрей с ним дружит?

ИГОРЬ. С приличными людьми скучно. С Просвириним весело.

НОННА. Садись.

ИГОРЬ. Я не помешал?

НОННА. Нет, нет. Как твой прибор?

ИГОРЬ. Вчера была демонстрация. Шеф пожал мне руку.

НОННА. Прекрасно.

ИГОРЬ. Ты бы слышала, что он говорил год назад! Моя идея представлялась ему вздорной, как он выражался. Сперва вздорной, потом сомнительной, теперь — плодотворной.

НОННА. Говорят, ты гений, это правда?

ИГОРЬ. Не слушай маму, она несет чушь.

НОННА. Андрей тоже несет чушь?

ИГОРЬ. Еще большую, чем мама.

НОННА. Ты считаешь, что пошел в отца?

ИГОРЬ. Я сам по себе. *(Помолчав.)* Отца я немного стыдился. Приехал, помню, из интерната, забежал в мастерскую. «Ну, что, — говорю, — папа, велосипед изобретаешь?» Я понятия не имел, что отец был изобретателем. Во всяком случае, так утверждает Андрей.

НОННА. Разве это важно?

ИГОРЬ. Я работаю на кафедре, шеф — доктор наук, но что я встречаю? Непонимание. Когда есть результат — о! другое дело. А так... *(махнул рукой.)* Год целый мне не помогал никто. Что же говорить об отце? Кто его понимал? Изобретатель-одиночка, без образования, без знакомств. Плюс пятая графа... Отец, несмотря ни на что, работал. Вот это самое главное.

НОННА. К тебе он как относился?

ИГОРЬ. Он хотел, чтобы я стал образованным человеком. Отдал в интернат. Хотя мама была против. Математический интернат, по ее мнению, что-то вроде тюрьмы. *(Спыхватился.)* Это наши семейные дела.

НОННА. Нет-нет, мне интересно.

Входит Антонина Степановна.

АНТОНИНА СТЕПАНОВНА. Был Игорек и пропал.

ИГОРЬ. Могла бы постучать.

АНТОНИНА СТЕПАНОВНА. А мы с Нонночкой по-свойски.

НОННА. Конечно, Антонина Степановна.

АНТОНИНА СТЕПАНОВНА. Ты сегодня не готовила, идем к нам ужинать.

НОННА. Спасибо, я была в столовой.

АНТОНИНА СТЕПАНОВНА. Что ты там ела?

ИГОРЬ. Мама!

АНТОНИНА СТЕПАНОВНА. Я же знаю, как она ест. Пошли ужинать.

ИГОРЬ *(подталкивает мать к выходу)*. Ужинать вредно... Вредно, понимаешь?

АНТОНИНА СТЕПАНОВНА. Я вас жду. Приходи, Нонночка. *(Вздыхает.)* Скоро ведь разъедемся. *(Уходит.)*

ИГОРЬ. Мама возбуждена. Переезд для нее событие! Я совсем не уверен, что на новом месте будет лучше. Шеф жил с семьей в одной комнате. Он рассказывал, как, бывало, отодвинет посуду... рядом домашние гады, а он пишет статью. Как раз в то время шеф создал свою теорию. Сейчас — отдельный кабинет, и... бесплодие.

НОННА. И все-таки, чтобы раскрыться, каждому человеку нужны условия.

ИГОРЬ. Условия?

НОННА. Доброе отношение близких.

ИГОРЬ. Кибальчич раскрылся в тюрьме.

НОННА. Чем хуже, тем лучше?

ИГОРЬ. Не оглуляй мои слова, я этого не говорил!..

НОННА. Чего ты вдрут?

ИГОРЬ. Ты можешь часами разговаривать с Андреем или мамой о всякой ерунде, а со мной... Каждое слово — в штыки!

НОННА. Ты не умеешь спорить.

ИГОРЬ. Нет, спорь, но — по существу!

НОННА. Я со всем согласна.

Пауза.

ИГОРЬ. Что изучаешь?

НОННА (*протягивает книгу*). Для доклада.

ИГОРЬ. «Библейские мифы»...

НОННА. Я беру конкретный пример — сказку или миф — и анализирую в воспитательном аспекте. Доклад будет на тему: воспитательная работа в детском саду.

ИГОРЬ. А ты молодчина.

НОННА. Спасибо, похвалил.

ИГОРЬ. Работаешь над собой.

НОННА (*берет его за руки*). Заключим союз?

ИГОРЬ. Союз?..

НОННА. Не будем спорить, ладно?

ИГОРЬ. Насчет ужина ты как?

НОННА. В другой раз — обязательно.

ИГОРЬ. Тогда... Я пойду?

НОННА. Заходи почаще.

Игорь выходит. Нонна садится за стол, выписывает из книги цитаты.

Комната Галины.

Громкий голос Галицы: «Сюда, Федор Васильевич. Третья дверь».

Входят Г а л и н а и Ф е д о р — фатоватый мужчина с пакетом в руке.

ГАЛИНА. Вот здесь я живу.

ФЕДОР. М-да... У вас, можно сказать, дом-ветеран. (*Достает из пакета свертки, бутылки. Замечает Колину куртку на стуле.*) Сына?

ГАЛИНА. А чья ж? (*Накрывает на стол.*)

ФЕДОР. Где ж он?

ГАЛИНА. С ребятами. Пускай гуляет. В армию Кольку не взяли. Левую ногу еще пацаненком сломал.

ФЕДОР. Инвалид?

ГАЛИНА. Так-то не видно, чуть прихрамывает, а белый билет выдали. Характер у него тяжелый. Мечтает с Андрюшей пожить, это его друг и брат. Только с ним и ладит. Садись, Федя, за стол. Хочу я с сыном разъехаться. Он парень взрослый...

ФЕДОР. Взрослый-то взрослый. Хромоногий.

ГАЛИНА. Мы с ним по улице идем — все думают, брат с сестрой.

ФЕДОР. Кто эта женщина? В коридор выбежала, чтобы посмотреть на меня.

ГАЛИНА. Тонька.

ФЕДОР. Так посмотрела.

ГАЛИНА. Она мне золовка, сестра моего мужа. Обе мы вдовы. Ее Саша... мягкий был человек, хороший. Таким мегерам везет. А мой пил.

ФЕДОР. У нее дети есть?

ГАЛИНА. Двое. Андрей — ее младший. Детям дала свою фамилию. А я на фамилии мужа. Так что мы все Трунины.

ФЕДОР. Я, Галя, тебе скажу, что официант тот же психолог. За столом кто? Живые люди. К каждому необходим подход. Иной придет хмурым, усталый, а ты ему рюмочку, закуску, пошутишь с ним, и глядь — полегчало у человека на душе. Когда человек кушает, кровь от мозга отливает, к желудку бежит, а мозг отдыхает.

ГАЛИНА. Это по науке.

ФЕДОР. Когда человек смеется, в мозг поступает кислород. Большими порциями.

ГАЛИНА. Хорошо покушать и посмеяться каждый хочет.

ФЕДОР. Не скажи. Кому женщина нужна. Это сразу видно — в глазах блеск. Кто хочет посидеть один и подумать. Я все это очень тонко улавливаю.

ГАЛИНА. Молодец.

ФЕДОР. Но среди посетителей большой процент жлобья. Для них человек — не личность, а салфетка, об которую вытирают руки. Вот эта Антонина из таких. Хотя она тебе и золовка.

ГАЛИНА. В самую точку попал!

ФЕДОР. Так посмотрела... М-да... Ну, что? Давай, Галя, выпьем. За тебя.

ГАЛИНА. За все хорошее!.. Ты-то своей дочерью доволен?

ФЕДОР. Неплохая. Дочь неплохая, но зять — с амбицией. Трудно с ним.

ГАЛИНА. За границей, я слышала, родители от взрослых детей отделяются. Даже неприличным считают вместе жить.

ФЕДОР. За границей живут для себя.

ГАЛИНА. Федя, мы не должны отставать!..

Комната Нонны.

Н о н н а читает. Входит А н д р е й.

АНДРЕЙ. Нонна Васнецова?

НОННА. А вы кто?

АНДРЕЙ. Инспектор. Работаю в бюро погоды.

НОННА. Я вас слушаю, инспектор.

АНДРЕЙ. Сообщаю: воздух теплый, снег тает — скоро весна!..
Погуляем?

НОННА. Андрюша, сапоги порвались.

АНДРЕЙ. Покажи.

Нонна достает из-под тахты сапоги.

Починим... Я за молотком.

Выбегает и возвращается, в руках коробка с инструментом.

Принимается за ремонт.

НОННА. На танцах был?

АНДРЕЙ. Имею право.

НОННА. С кем танцевал?

АНДРЕЙ. Сперва с блондинкой, потом с черненькой. Потом с Колькой... Когда-нибудь я вытащу на танцы вас с Игорем. А то он все сидит, сидит...

НОННА. Игорь учится в институте, а ты школу до сих пор не закончил. В девятом классе второй год.

АНДРЕЙ. Повторение — мать учения.

НОННА. Мне просто обидно за тебя.

АНДРЕЙ (*гурачась*). Слезы катятся из моих глаз. Боже мой, я несчастен!..

НОННА. Нравится быть клоуном?

АНДРЕЙ. А чем плохо? (*Ставит сапог на голову.*)

НОННА. Это символично. (*Смеется.*)

АНДРЕЙ. Один мужик заказал себе гроб и поставил у себя на чердаке. Жил сто лет. Так и я. Чтоб никогда не быть под каблуком жены, ставлю каблук на голову. (*С сапогом на голове идет по комнате.*)
Знаменитый клоун Трунин-Розенбойм!

НОННА. Почему Розенбойм?

АНДРЕЙ. Фамилия отца. (Поскользнулся, едва не упал.) У Кольки лучше выходит, у него талант.

НОННА. У всех талант. Кроме тебя. Но все почему-то тебя используют. Все!.. И я тоже.

АНДРЕЙ. Значит, я человек многоразового использования?

НОННА. Ну как ты... Я поражаюсь!.. Как можно о себе так говорить?

АНДРЕЙ. Огромная просьба — перестань.

НОННА. На похороны со мной кто ездил?.. Никогда не забуду, как мы шли за маминым гробом. Я вцепилась в твою руку... А в поезде? Ночью свесилась с полки — ты в проходе стоишь. Не спал всю ночь.

АНДРЕЙ. Я люблю спать стоя, как лошадь. Вы с Игорем не были знакомы, поэтому я поехал.

НОННА. Твой Игорь... Вы с мамой его избаловали.

АНДРЕЙ. Он умнее нас.

НОННА. Он умнее всех!

АНДРЕЙ. Из мужчин. А ты из женщин. Самое главное в жизни — иметь умную родню.

НОННА. Мы с Игорем заключили союз.

АНДРЕЙ. Когда?

НОННА (рагостно). Испугался?

АНДРЕЙ. Да нет. Я знал. Слушай, мне пора. (Дурачась и напевая, отступает к двери.)

НОННА. Я хорошо отношусь к Игорю, потому что он твой брат.

АНДРЕЙ. У тебя сегодня непонятное настроение.

НОННА. Андрюша!.. Хочешь, я за тебя замуж выйду?

АНДРЕЙ. Решила стать клоуншей?

НОННА. Мы с тобой кто?

АНДРЕЙ. Друзья.

НОННА. Разве?..

АНДРЕЙ. Соседи.

НОННА (подходит к Андрею). Завтра ты в какую смену?

АНДРЕЙ. В вечернюю.

НОННА. Утром я... не пойду на занятия. Я буду ждать...

Затемнение.

КАРТИНА 2

Комната Труниных.

Вечер. Горит настольная лампа. Игорь укладывает бумаги в портфель, Антонина Степановна шьет.

АНТОНИНА СТЕПАНОВНА. Нет, Игоречек, что там ни говори, а твой профессор — молодец. Домой тебя пригласил. Вот увидишь, он скажет: «Игорь, ты работал бесплатно весь год. Получи премию...»

ИГОРЬ. Он предложит кое-что получше.

АНТОНИНА СТЕПАНОВНА. Лучше премии?

ИГОРЬ. Аспирантуру! Шеф уже намекал. Он сказал, что у нас на кафедре ассистенты, ну, и доценты — одни старики.

АНТОНИНА СТЕПАНОВНА. Может, тебя доцентом сделают? А потом, Бог даст, профессор...

ИГОРЬ. Что?

АНТОНИНА СТЕПАНОВНА. На пенсию уйдет. Кого же на его место? Стариков этих?

ИГОРЬ. У меня крупный недостаток.

АНТОНИНА СТЕПАНОВНА. Недостаток? Анкета?

Пауза.

Сколько раз просила: напиши заявление, чтоб записали Александровичем. Зачем упираться, сынок? Трудно ли написать?

ИГОРЬ. Унизительно. (Помолчав.) Шеф уже мне говорил, что должна быть логика. Либо Игорь Александрович, либо Исаак Шмулевич.

АНТОНИНА СТЕПАНОВНА. Отца все называли Сашей. Никто и не знал, что он Шмуль. Смешное имя. Некрасивое. И отчество некрасивое — Игорь Шмулевич. Это я недосмотрела.

ИГОРЬ. Но все-таки он пригласил меня в гости. Несмотря ни на что, хорошо относится.

АНТОНИНА СТЕПАНОВНА. Квартира у него, наверно, шикарная. Как придешь, сразу скинь ботинки.

ИГОРЬ. А сморкаться на пол можно?

АНТОНИНА СТЕПАНОВНА. Ладно тебе. Профессор женат?

ИГОРЬ. На актрисе.

АНТОНИНА СТЕПАНОВНА. Вот те на. Все артистки — легкомысленные.

ИГОРЬ. Шеф так не считает.

АНТОНИНА СТЕПАНОВНА. Игорек... Только не сердись... Чаю выпьешь? Или у профессора?

ИГОРЬ. Он на чай меня пригласил?

АНТОНИНА СТЕПАНОВНА. Не сердись, а я поговорю с Нонной.

ИГОРЬ. Не делай из меня посмешище!

АНТОНИНА СТЕПАНОВНА. Сыночек, что у вас? Как она к тебе?

ИГОРЬ. Она ведет себя странно.

АНТОНИНА СТЕПАНОВНА. Вот и я говорю.

ИГОРЬ. Она со мной... Как с родственником.

АНТОНИНА СТЕПАНОВНА. В каком смысле?

ИГОРЬ. В переносном. Хотя... Все, мама. Неудобно опаздывать. Я пошел. (Выходит.)

Антонина Степановна принимается за шитье.

Входят Андрей и Нонна.

АНДРЕЙ. Заходи, Нонна.

НОННА. Добрый вечер, Антонина Степановна.

АНТОНИНА СТЕПАНОВНА. Добрый вечер, вечер добрый. Замерзла?

НОННА. Снег на улице.

АНТОНИНА СТЕПАНОВНА. Зима, что ли, повторяется. Сейчас... Садись, Нонночка. Сейчас закончу — чаю попьем. Где это вы были?

НОННА. В парке гуляли.

АНТОНИНА СТЕПАНОВНА. А школа?.. Нонночка, что с ним делать?

НОННА. Антонина Степановна, он возьмется за ум.

АНДРЕЙ. Мама, сейчас ты кое-что узнаешь.

АНТОНИНА СТЕПАНОВНА. Вот Игорь, тот учится. К профессору пошел. К своему шефу. Жена у профессора — артистка, очень красивая. Игорь к ним запросто ходит. Профессор его Игорем Санычем называет.

Пауза.

АНДРЕЙ. Мама, огромная просьба — выслушай. Мы с Нонной решили пойти во Дворец.

АНТОНИНА СТЕПАНОВНА. Во дворец?

АНДРЕЙ. Где музыка играет! (*Напевает свадебный марш.*) Нонна готова нести полную ответственность...

АНТОНИНА СТЕПАНОВНА. За кого?

АНДРЕЙ. За меня. А я — за нее.

АНТОНИНА СТЕПАНОВНА. Ну ладно, ладно. И в кого ты такой, ума не приложу.

НОННА. Антонина Степановна, мы с Андреем хотим пожениться.

АНТОНИНА СТЕПАНОВНА. Что?

НОННА. Пожениться.

АНТОНИНА СТЕПАНОВНА. Какой Андрей муж!..

АНДРЕЙ. И все-таки выхожу замуж. То есть — женюсь.

АНТОНИНА СТЕПАНОВНА. Не можешь ты жениться. Ты школу не кончил.

АНДРЕЙ (*обнимает мать*). Там не требуют аттестат. Я совершеннолетний, работаю. Имею право жениться. И все. О чем говорить.

Пауза.

АНТОНИНА СТЕПАНОВНА. Кто вас сосватал? Галка?

НОННА. Никто нас не сватал.

АНДРЕЙ. Ты обещала чаю.

Пауза.

АНТОНИНА СТЕПАНОВНА. Поставь чайник.

АНДРЕЙ. Жена, помоги. Идем на кухню.

АНТОНИНА СТЕПАНОВНА. Кому я сказала?

НОННА. Иди, Андрюша. Надоели твои хохмы. Мама права, надо быть серьезней.

Андрей уходит.

АНТОНИНА СТЕПАНОВНА. Не думала, что ты такая...

НОННА. Какая?.. Мы с Игорем просто дружили.

АНТОНИНА СТЕПАНОВНА. Молчи. Об этом разговоре — никому. Не позорь! Не делай из нас посмешище! И сама не позорься.

НОННА. Я ничего не обещала Игорю.

АНТОНИНА СТЕПАНОВНА. Давай по-хорошему. Не оставишь Андрея — плохо будет.

НОННА. Не угрожайте, пожалуйста.

АНТОНИНА СТЕПАНОВНА. Не угрожаю, а говорю. Уходи! Чтоб духу твоего здесь не было!

Нонна быстро уходит.

АНДРЕЙ (*входит*). Где она?.. Что ж ты делаешь, мама?

АНТОНИНА СТЕПАНОВНА. Как ты посмел! (*Бьет его по щеке.*)

АНДРЕЙ. Потом поговорим! (*Выбегает.*)

АНТОНИНА СТЕПАНОВНА. Господи... Второй раз Ты меня наказываешь. За что?.. За что, Господи?! (*Плачет.*)

Комната Нонны.

Прошло несколько дней. Утро. Н о н н а и А н д р е й.

НОННА (*шепотом*). Тише!.. Кто-то там...

АНДРЕЙ. Никого нет. Игорь в институте, Колька в первую смену.

НОННА. Я всю ночь не спала. Все думала, думала. Глаза красные?

АНДРЕЙ. Нет.

НОННА. Ты приучил своего брата к мысли, что он — центр мироздания. Игорь был уверен, стоит ему захотеть, как я брошусь ему на шею. Я — Золушка. Квартиры нет, ничего нет. Он хотел меня осчастливить, чтобы я была ему по гроб жизни благодарна.

АНДРЕЙ. Игорь сам Золушка. Все мы Золушки.

НОННА. Он — Золух. А ты — Золушек.

АНДРЕЙ. Ты с ним заключила союз и все. Он не подаст виду, что хотел за тебя замуж.

НОННА. Мужчины же-нят-ся. Пора бы запомнить.

АНДРЕЙ. Как запомнить? Если я в первый раз.

НОННА (*смеется*). Смешной! Мне нравится, что ты такой смешной.

АНДРЕЙ. А мне не очень нравится, что ты все время думаешь о будущем. Все равно ничего не придумаешь. Ну, разве я мог придумать, что меня ждет?

НОННА. Но ты об этом думал. Не мог не думать.

АНДРЕЙ. Я собирался у Кольки пожить.

НОННА. Обманывал себя. Так всегда бывает. Когда обманывают себя — заодно и других.

АНДРЕЙ. Игорь скажет маме, что у него нет претензий, и все. Увидишь. Мама успокоится. Она мне мама, она хочет, чтоб у меня все было хорошо. Она тебя любит, и для нее — какая разница, чья ты жена, моя или Игоря?

НОННА. Наивный! Ребенок наивный. Они нам создадут условия. Через год мы разоидемся.

АНДРЕЙ. Наивно планировать: через год — то, через два — то. Считаешь годы, а теряешь дни и часы. Живи как живется. Чтоб было весело, и все.

НОННА. С ними очень весело! Очень весело работать на заводе!.. Беспечный парень, свой в доску. А знаешь, почему ты такой? Ты — еврей. В тебе живет страх. Подсознательно. Именно поэтому, Андрюша, ты из кожи лезешь, чтобы казаться своим. Я изучала психологию, педагогику, все это знаю. Ты — живой, очень способный мальчик. Но как ты живешь?

АНДРЕЙ. Да, как я живу?.. Как мне нравится, так и живу.

НОННА. Тише... Кто-то там?..

АНДРЕЙ. Никого нет.

НОННА. Если твои друзья узнают, что мы с тобой...

АНДРЕЙ. Повесят. Или зарежут.

НОННА. Твой Просвирин говорил мне страшные гадости.

АНДРЕЙ. Как-то раз он назвал меня жидом.

НОННА. И ты с ним дружишь?

АНДРЕЙ. Слушай, у нас на заводе есть парень. Сема, технолог. Нос — длинней, чем у меня. Умный парень. В филармонию ходит!..

НОННА. Что ты говоришь!

АНДРЕЙ. Но дружить мне с ним... Нормальные отношения, и все. Васка — мой друг. Он обозвал меня, как жена обзывает мужа или муж жену. А потом извинился. И перед тобой извинится.

НОННА. Он рассказывал обо мне и Мише?

АНДРЕЙ. И так знаю.

НОННА. Знаешь и не ревнуешь?

АНДРЕЙ. Этот парень, технолог, Сема, у которого нос, жалеет меня. Я не понимаю симфонии, оперы — классику. (*Подражает оперному певцу.*) «Фи-и-га-ро!.. А браво, Фигаро, браво-брависсимо!..» Мне этого не понять, и он меня жалеет. А я жалею Мишу — он тебя не понял. Ты не Золушка, ты — принцесса. Ты пришла на бал... Встань. (*Нонна встает.*) Ты на балу. Оркестр, люди, то, се. И тут вхожу я.

НОННА. Здравствуйте.

АНДРЕЙ (*подсказывает*). Сударь.

НОННА. Здравствуйте, сударь.

АНДРЕЙ. Я мечтал о встрече с вами! Вы не знаете меня?

НОННА. Знаю, сударь. Вы — Золушек.

АНДРЕЙ. Я сдохну от счастья, если станцую с вами.

НОННА. О, сударь. Тогда, наверно, не стоит?

АНДРЕЙ. Стоит!

Танцуют. Оба полуодеты.

Принцесса! Я страшно благодарен. Боялся, что буду противен вам. Боялся, что вы будете мне противны. Ничего подобного! Как Васька говорит — ни в одном глазу!.. Танцы — ничего лучшего я не знаю!

НОННА. Вы легкомысленны, Золушек.

АНДРЕЙ. Нет, что вы. Что вы! В танце весь человек. Выпендривается в танце — выпендривается в жизни. А есть такие — волокут тебя, как манекен. Но ты... вы потрясающе танцуете!..

НОННА. Сударь, а вы не раскаетесь?

АНДРЕЙ. Я никогда не каюсь.

НОННА. Не разлюбишь меня?

АНДРЕЙ. Не знаю.

НОННА. А я тебя — никогда! Мой горячий, веселый мальчик!..

Целуются.

Иди, Андрюша. Там никого?

Андрей поворачивает ключ в замке, открывает дверь.

КОЛЯ (*стоит в дверях*). Доброе утро.

АНДРЕЙ. Коля?.. Ты дома?..

КОЛЯ. Мне показалось, телевизор не выключен. Кино, думаю, идет. Извиняюсь, если помешал. (*Исчезает.*)

НОННА (*в панике*). Я говорила, кто-то там... Что будет? Андрюша!..

АНДРЕЙ. Ничего страшного. Жизнь подпольщика меня никогда не увлекала. Так лучше. Выходим из подполья, и все.

Комната Галины.

Вечером того же дня. Негромко звучит гитара.

П р о с в и р и н, З о я и Г а л и н а.

ПРОСВИРИН (*поет в открытую дверь*). «Сегодня в нашей комплексной бригаде прошел слушок о бале-макараде...»

ЗОЯ. Дома нету.

ПРОСВИРИН. Сейчас придет. (*Поет, подражая Высоцкому.*)

ГАЛИНА. Чем блатное, лучше бы романс спел.

ПРОСВИРИН. Объясняю для невежд. Володя Высоцкий — это глупина и юмор!..

ЗОЯ. Высоцкий... (приснула) еврей.

ПРОСВИРИН. Ну и что? Допустим, еврей. Тебе евреи ничего плохого не сделали.

ГАЛИНА. Ты много евреев в своей жизни видела?

ЗОЯ. Где я увижу? Они все — ученые, на теплых местах, а мы сеем-пашем.

ГАЛИНА. Учись.

ЗОЯ. Ты меня кормить будешь? Вон Игорь — мать на него работает, Андрюха на него работает...

ПРОСВИРИН. Чего ж ты, извини за выражение, катишь бочку на Андрюху? Логика — ни в одном глазу!

ЗОЯ. Андрюха тебя предал!

ПРОСВИРИН. При чем тут «предал»? Это не предательство.

ЗОЯ (Галине). Васька отказался работу делать. Платят мало. А ваш любимый Андрюха взял и сделал.

ПРОСВИРИН. Люди растут.

ЗОЯ. Питаются чужими соками и растут.

ПРОСВИРИН. Договоримся. Дружба есть дружба. У баб, извини за выражение, у женщин чувство дружбы не развито. У вас развито материнское чувство — это да, я не отрицаю.

ГАЛИНА. Вася правильно говорит. Надо дружить.

Входит Антон.

Кто твой лучший друг?

АНТОН. Не знаю. Андрюха, наверно.

ГАЛИНА. Сами видите, ребята, как я сохранилась. С Колькой идем — брат и сестра. Но даже я поговорю с Андрюшей и помолодею лет на десять!

АНТОН. Он мне книгу обещал.

ГАЛИНА. Про йогов?

АНТОН. Про йогов я прочел. Про младенцев. Племянник орет. Сестра не умеет его пеленать.

ГАЛИНА. Андрюша — заботливый. Мы с Колей разъедемся, он у себя Андрюшу поселит. Будете у них там собираться.

ЗОЯ. Зачем Андрюхе у твоего Кольки жить?

АНТОН. За компанию.

ЗОЯ. За компанию еврей давился!

ПРОСВИРИН. Сейчас кое-кто получит по харе! Я извиняюсь!..

ЗОЯ. Да я пошутила.

ПРОСВИРИН. Оскорблять моих друзей в моем присутствии — дурной тон! Парик не куплю, наоборот — волосы выдеру! Последние!..

ЗОЯ. На, выдирай! Выдирай! Дурак! Беги к золотой рыбке, у ней красивые волосы!

ПРОСВИРИН. Очень мне надо.

ЗОЯ. Беги к Мишкиной подстилке! Андрюха ее расписал, ты ему и поверил! Своих мозгов у тебя нет!..

ПРОСВИРИН. У тебя культуры нет. Ни в одном глазу.

ЗОЯ. А ты культурный! Еще за волосы хватает, сволочь. На химическом заводе поработай — посмотрю, какие у тебя волосы будут.

ГАЛИНА. Не надо ссориться. Антону спать мешаете.

АНТОН (глаза закрыты). Я отключился.

ЗОЯ. В кино пойдем?

ГАЛИНА. Подождите братьев Труниных. Андрея и Колю. Сыграй романс. (Поет.) «Отво-ри потихоньку калитку...»

ПРОСВИРИН (агресуясь Зое). «Кружева на головку надень...»

ЗОЯ. Дурак!

ГАЛИНА. Берите конфеты. Ухажер мой подарил.

Входит Коля.

ЗОЯ. Один явился, теперь другого жди.

КОЛЯ. Ты где была?

ГАЛИНА. Дома. Где молодежь, там твоя мамка.

КОЛЯ. Еще раз увижу конфеты!..

ГАЛИНА. Ненормальный.

ПРОСВИРИН. Галина культурно угощает.

КОЛЯ. Она тебе не Галина, а Галина Тимофеевна.

ГАЛИНА. Старуху из меня делает.

КОЛЯ. Сзади ты пионерка, спереди — пенсионерка!..

ПРОСВИРИН. Огромная просьба: веди себя культурно.

КОЛЯ. Попугай!..

АНТОН. Не ори.

КОЛЯ. Скажи себе: «Антон, тебе на все насрать! Ты же йог!» Чего вы расселись? Андрюху ждете?

ПРОСВИРИН. Естественно.

КОЛЯ. Ха-ха!..

ЗОЯ. Ты что-то знаешь? Знаешь, да? Он знает что-то!

КОЛЯ. Я домой заглянул. Сегодня утром.

ПРОСВИРИН. Ты утром работал.

КОЛЯ. В обед заглянул. Слышу голоса: Андрюши и Нонны. У нее в комнате...

ПРОСВИРИН. Болтают подруги.

КОЛЯ. «Андрюша, ты мой дурачок, — говорит Нонка. — Люблю я тебя». — «И я тебя», — отвечает Андрюша.

ПРОСВИРИН. Врешь!

КОЛЯ. Танцуют и беседуют. В танце. В танце-шманце.

ЗОЯ. Вот так вот.

КОЛЯ. Ключ повернулся. Андрей выходит. А я перед ним стою!..

ЗОЯ. Нонка-то что?

КОЛЯ. Руками себя закрывает.

ЗОЯ. Галя! Они голые танцевали!

КОЛЯ. Побледнела как простыня.

ЗОЯ. Она тоже еврейка. Только волосы перекрасила.

ГАЛИНА. Да вы что, ребятки, Андрея не знаете? Дурачился, сценку разыгрывал. Ничего в этом нет, ребятки.

ЗОЯ. Дурачились — в чем мать родила!

ГАЛИНА (неуверенно). Вы его не слушайте, он придумывает. Меня сторожит, за братом подглядывает. Он ненормальный.

Пауза.

КОЛЯ. Ненормальный. Чокнутый. Я — чокнутый!.. Я думал, у обоих отцов нет. Оба невезучие. Вместе, думал, как-нибудь...

ПРОСВИРИН. Голый танцует... Мишка, и тот с ней такого не делал.

ЗОЯ. Пошли. (*Берет Просвирина под руку.*) Надо от них подальше. Антон, проснись!

АНТОН (*открыл глаза*). Андрюха пришел?

ЗОЯ. Иди домой.

ПРОСВИРИН. Я с ним поговорю! По-нашему! По-рабочему!..

Входят Андрей и Нонна.

АНДРЕЙ. Привет. Нонна, заходи. (*Представляет.*) Моя жена.

АНТОН. Это — Нонна.

АНДРЕЙ. Правильно. У нас в компании девчонок мало. (*Коле.*) Опять же у нас мало Труниных. Нонна сменит фамилию: была Васнецова — станет Трунина. Вы теперь родственники.

КОЛЯ. Неужели?!

АНДРЕЙ (*Антону*). Тебе книгу принес. О младенцах.

Пауза.

ПРОСВИРИН. На каком ты основании?..

АНДРЕЙ. Так получилось.

ПРОСВИРИН. Я не о том. (*Стреб Андрея.*) Зачем взял мою работу?

АНДРЕЙ. Я твой ученик.

ПРОСВИРИН. Знаешь, кто ты?

АНДРЕЙ. Андрей Шмулевич Трунин-Розенбойм. Человек с тонкой кишкой. Была кишка тонкой — стала нормальной!

КОЛЯ. Ты про какую кишку?

АНДРЕЙ. Ребята, я вас не обманывал. Я сам не знал...

НОННА. Мы вам сказали, чтобы не было сплетен, только и всего.

ПРОСВИРИН. Ах ты... Идем! (*Тащит Нонну.*)

ЗОЯ. Куда ты ее поволоок?

ПРОСВИРИН. Танцевать!..

НОННА. Пусти!..

АНДРЕЙ (*преградил дорогу Просвирину*). Василий Петрович... Сыграй, Василий Петрович. (*Напевает.*) «В желтой жаркой Африке, в центральной ее части, как-то не по графику случилось несчастье. Слон сказал, не разобрав: „Видно, быть потопу“. В общем, так: один жираф влюбился в антилопу...» Ничего не изменилось. В пятницу получка, собираемся, как всегда. Пока, ребята. Жена, идем!..

Андрей и Нонна выходят.

ПРОСВИРИН. Во дает! Повернулся и пошел!

ГАЛИНА. Миша приедет — он Андрюшу прибьет!..

ПРОСВИРИН. А может быть, не надо переваливать воспитательную работу на чужие плечи?

АНТОН. Книга из педучилища.

ЗОЯ. Эта блядь будет наших детей воспитывать! (*Заглянула в книгу, неожиданно улыблась.*) Пацан симпатичный. (*Показывает Просвирину.*) Посмотри.

ПРОСВИРИН. Я в этом не копенгаген.

Пауза.

КОЛЯ. Зачем ты его отпустил?

ПРОСВИРИН. А ты — зачем?.. Друзьями были...

Затемнение.

КАРТИНА 3

Комната Галины.

Г а л и н а заканчивает приготовление к вечеринке. Входит Н о н н а.

ГАЛИНА. Нонночка, умница, что пришла.

НОННА. Вы просили. Но я тороплюсь.

ГАЛИНА. Садись. Садись... Федор Васильевич, официант, позвонил мне на работу. «Галя, — говорит, — мы сегодня увидимся?» Я говорю: «Сегодня у меня молодежная вечеринка».

НОННА. Нет-нет, я не останусь...

ГАЛИНА. Федор застенчивый, хоть и официант, а то б я и его пригласила. Это всегда: активной женщине нравится мужчина застенчивый. В свою очередь, активного мужчину тянет к застенчивой женщине. Вот ты какая?

НОННА. Зачем об этом говорить?

ГАЛИНА. Мы по-бабьи потолкуем. Мужики говорят: «Давай как мужчина с женщиной». Это что означает? Бах-бах — мордобой! Или начнут друг другу неприятности говорить. А если уж как женщина с женщиной, значит, полетят от сердца. Ты в нашей квартире после маминой смерти поселилась?

НОННА. Да.

ГАЛИНА. Училище скоро кончаешь?

НОННА. В июне.

ГАЛИНА. Твоя мама была учительницей? И тебе надо в институт поступить. Миша поможет, он придет с деньгами. Учись — ноу проблем. Думаешь, он на Севере монах? Уж наверно нет. А в этих вопросах сейчас равноправие. Сейчас мужики говорят: кому нужна жена, которая никому не нужна... Ну, не смотри на меня так. Я понимаю: одна в большом городе. Растерялась. Миша уехал, мама умерла — я все понимаю. Андрей с тобой на похороны ездил, в нашем доме поселил, ты его хотела отблагодарить. Ничего такого я в этом не вижу. Вы себя неосторожно вели, но в молодые годы с кем не бывает... У тебя волосы — чудо. *(Гладит ее волосы.)* Красила?

НОННА. Нет. Свои.

ГАЛИНА. Я к тебе расположена. Андрюша — любимый мой племянник. Как сын. Да я его больше люблю, чем Кольку. Умом понимаю, Коля желает мамке добра, а фактически он мотает мне нервы. Вбил себе в голову, что я — жертва мужского коварства. Ну?

НОННА. Что вы от меня хотите?

ГАЛИНА. Ничего, Нонночка. Я хочу тебе помочь разобраться. С Андреем у тебя ничего серьезного не будет. Да и не было ничего серьезного. Колька наболтал, воображение богатое. Ведь вы голые не танцевали?

НОННА. Нет. Правда, нет. Галина Тимофеевна...

ГАЛИНА. Называй меня просто Галиной. Я Андрюшу с пеленок знаю. Он — шутник. И Саша покойный, отец его, тоже был шутник. Раз, помню, я его спросила, как, мол, Саша, счастлив ты с мегерой своей. с Тонькой. Он по-ихнему, по-еврейски: «Азохэн вэй!»

НОННА. Что это значит?

ГАЛИНА. Ну, как тебе перевести? Ну, вроде, что полные штаны счастья. Хороший он был человек. Саша, хотя и неприспособленный к жизни. У евреев если богатый, то уж богатый! А если бедный, то — ничего нет. Абсолютно ничего!.. Кроме юмора.

НОННА. Для меня никакой разницы, еврей или русский — мне все равно.

ГАЛИНА. Есть разница. Еврей не пойдет против мамы, против братьев.

НОННА. Ну и что вы советуете? Сделать вид, что все это шутка? Если б голые танцевали, тогда — всерьез, а так — шутка. Еще говорите, что любите Андрея. Это не любовь.

ГАЛИНА. Любовь!

НОННА. Азохэн вэй.

ГАЛИНА. Слушай, а ты не евреечка?

НОННА. Ну, что вы. У меня в роду... бабушка была полькой, а так все русские. Зоя несет чушь. Если кто-то ей не нравится, значит — еврей.

ГАЛИНА. Не обращай внимания, она беременна.

НОННА. От Просвирина?.. И он еще лезет!..

ГАЛИНА. Тебе нужен парень — чтоб за ним, как за каменной стеной. Пока был Миша, все знали, Нонну нельзя обижать. Ничего не поделаешь — все хорошее, нежное нуждается в защите. И не только у нас — везде.

НОННА. Галя... Что вы меня мучаете?..

Входит З о я. Ее не узнать: в парике, модно одета.

ЗОЯ. Чао!

ГАЛИНА. Я падаю.

ЗОЯ. Как?

ГАЛИНА. Смотрится.

ЗОЯ. Юбку сама шила.

ГАЛИНА. Ничего не скажешь — потрудилась. Сейчас кавалеры придут — ахнут.

ЗОЯ. Жрать хочу по-страшному.

ГАЛИНА. Бери хек. Давали получку?

ЗОЯ (*ест*). Давали. Ваське заплатили всего ничего. Слезы, а не получка. Андрейчик тоже не очень выиграл. Но ему покрасоваться — вот он какой!

НОННА (*всплыла*). Не называй его Андрейчиком, слышишь? Привыкли, что он шут гороховый, вас веселит. У него своя жизнь!

ГАЛИНА. Правильно. Надо с Андриюшей считаться. Он умеет работать. Любит погулять. С братом, с Колей хочет пожить.

НОННА. Сами заботьтесь о своем сыне! До свидания, я пошла.

ЗОЯ. Стоп! Она не заботится о Кольке?

ГАЛИНА. Ты его без отца растила?

ЗОЯ. Ты к нему в больницу бегала?

ГАЛИНА. А теперь он мне жизнь отравляет!

НОННА. Хотите его на Андрея спихнуть?

ГАЛИНА. Он обещал Кольке!

ЗОЯ. Верь. Почему их не любят? А вот за эти самые обещания! Наобещают, мы понадеемся, а потом — расклебываем! Я бы всех их!..

ГАЛИНА. Что?

ЗОЯ. Ничего. Зла на вас не хватает.

Входит Ко л я.

ГАЛИНА. Коля, сынок. Раньше всех кавалеров.

КОЛЯ. Развлекаешь гостей. *(Протягивает конфеты.)* Возьми. *(Отдает деньги.)* Возьми. В следующий раз больше принесу.

ГАЛИНА. Прибавили?

КОЛЯ. По две смены буду работать.

ГАЛИНА. Не нужно. Мне — не нужно! Зачем?

КОЛЯ. Не умею воровать. Как некоторые.

ГАЛИНА. Садись, мучитель. Только от меня подальше. *(Зое.)* Говоришь, евреи плохие. А мы лучше? Мы любим друг друга? Если даже любим, то так, что... *(Коле.)* По-твоему, я должна быть бедной и больной? А по-моему — богатой и здоровой!..

КОЛЯ *(садится за стол)*. Восемь девок — один я. *(Нонне.)* У тебя тоже получка? Приятное совпадение...

НОННА. Нет. Я просто.

КОЛЯ. Просто учишься у мамки? Обмен опытом? Лекция: «Как жить с чужими мужьями», потом — танцы.

НОННА. Не стыдно?

КОЛЯ. Стыдно за мамку!

Входит запыхавшийся Андрей с большой сумкой.

АНДРЕЙ. Привет! Извините за опоздание, в гастрономе очередь.

ГАЛИНА. И все равно я его люблю! *(Демонстративно целует Андрея.)* Сколько принес!.. Винцо красное, пирожные!..

АНДРЕЙ. Володина запись!

Включает магнитофон. Высоцкий поет: «В желтой жаркой Африке...»

ГАЛИНА. Давай танцевать! С теткой Галкой!

АНДРЕЙ. Это слушать надо.

ГАЛИНА. Не сачкуй!

Танцуют.

У нас юбилей. Год, как собираемся.

АНДРЕЙ. Зойка! Потрясающе выглядишь!.. Моя жена здесь?

ГАЛИНА. Здесь, здесь.

АНДРЕЙ. Смотрю на Зойку и думаю: может, я погорячился с женитьбой?

ЗОЯ. Просвирин где?

АНДРЕЙ. За гитарой пошел.

ГАЛИНА. Без гитары юбилей, как без хохмочек еврей!

АНДРЕЙ. Тетка Галя, чуден свет! Ты у нас большой поэт!..

ГАЛИНА *(Нонне)*. Прошлой весной Андрюша болел.

АНДРЕЙ. Коля с ребятами приходит — я лежу. Поговорили о том, о сем, и я выздоровел!

ГАЛИНА. А тут получка, собрались. Двенадцатое число — наш день.

КОЛЯ *(встает)*. Я помню, как мы заглянули к Андрюше. Ты обрадовался. Сколько народу вокруг тебя. Каждого можно водить за нос!..

АНДРЕЙ. Колька, за твой нос ухватиться трудно.

КОЛЯ. За твой — легко! Позвольте, сударь? *(Хватает Андрея за нос.)*

АНДРЕЙ *(морщась)*. «По улицам слона водили...»

КОЛЯ. Зрителя нужны? Твоим удачам — порадоваться? Над твоими хохмами посмеяться?

ЗОЯ. Где Просвирин?

КОЛЯ. В пивном баре! (*Выходит.*)

Пауза.

АНДРЕЙ (*Зое*). Просвирин тебя видел в парике?

ЗОЯ. Не мог сказать, что он в баре? У него получка с собой! (*Выбегает.*)

ГАЛИНА. Бог с ними. Потанцуйте. Ребятки, я без всякого подвоха... Красиво потанцуйте — обожаю смотреть.

Включает проигрыватель. Слушает музыку, растроганно поглядывая на Андрея и Нонну.

АНДРЕЙ. Огромная просьба — не сердись...

НОННА. Уходишь?

АНДРЕЙ. Вы посидите... Я скоро...

НОННА. Нет, Андрюша. Нет-нет, ты куда не пойдешь. Пить с ними, оправдываться, что-то доказывать... Давай уедем отсюда!..

АНДРЕЙ. Ребята скажут: схватил золотую рыбку и — тикать.

НОННА. Ой, не все ли равно, что они скажут! Что бы ты ни сделал — они будут придраться. У тебя комплекс вины. Мы проходили по психологии.

АНДРЕЙ. Проходили?.. «Это мы не проходили. Это нам не задавали. Та-рам-пам-пам... Та-рам-пам-пам!» Я скоро вернусь! (*Выбегает.*)

Пауза. Нонна собралась уходить.

ГАЛИНА. Нонночка, не пущу. Посиди со мной. (*Проводит рукой по ее волосам.*) Смотрю на тебя и молодость вспоминаю. Я в молодости шатенкой была. Смуглой шатенкой! Мне Саша говорил: «Ты, Галка, как... как кофейное зерно!..»

НОННА. Какой Саша?

ГАЛИНА. Не спрашивай. Ничего не спрашивай. Реветь начну.

Пауза.

НОННА. Галина, милая, что мне делать? Вы правильно сказали, он — мальчик, у него комплекс вины. Он должен взять меня за руку и увести из этого дома. Но он не может.

ГАЛИНА. А ты б пошла?

НОННА. Пошла. Он не понимает, что его детские шутки сейчас неуместны. Сейчас от него требуется поступок. Вот Миша. Взял и уехал на Север. «Я решил» — и все. Поступок.

ГАЛИНА. Ждешь писем?

НОННА. Какие письма... С Андрюшей, мне казалось, будет радостно. Но он упрямый. Легкомысленный и упрямый — редкое сочетание.

ГАЛИНА. Бери Андрюшу за горлышко, будь активной.

НОННА. Этого я не умею.

ГАЛИНА. Или-или. Или, скажи, ты со мной, или со своей мамочкой.

Входит А н т о н, в руках книга.

АНТОН. Ребята где?

ГАЛИНА. Ушли.

АНТОН. Я книгу принес. (*Иронически.*) Об уходе за младенцами.

НОННА. Прочел?

АНТОН. Сестре показал, она в крик: «Не учи, я знаю, как за сыном ухаживать!» Где ребята?

ГАЛИНА. В пивном баре.

Антон выходит.

А может, тебе разобраться с Тонькой? Что она сделать может? У тебя перед ней никаких обязанностей, одни права! Или, скажи, сохраним дипломатические отношения. Или — война!

НОННА. Я за Андрюшу возьмусь!

ГАЛИНА. Подготовь его. А потом — вперед! Меня слушай. Галина — умная, современная баба!

Затемнение.

КАРТИНА 4

Комната Труниных.

Игорь пишет, Антонина Степановна шьет,
Андрей склонился над учебником. Вечер.

АНТОНИНА СТЕПАНОВНА. Две комнаты без разговоров дают. С балконом, с кладовой. Трунины в нормальное жилье вселяются. (*Перекусывает нитку.*) Нюра трехкомнатную получила. Может, и нам дадут. Я до самого главного начальства дошла. «У меня, — говорю, — двое сыновей, оба взрослые. Женится кто из них, что ж мне, с другим-то сыном в одной комнате жить?» У Нюры четверо в семье. Ей три комнаты — без разговоров.

АНДРЕЙ. Нас тоже четверо. Вы забыли, что я женюсь.

ИГОРЬ. Кажется, у Нонны недавно умерла мать?

АНДРЕЙ. Завтра нам скажут: «Освобождайте дом». Куда Нонне деться?

ИГОРЬ. Веский довод. А впрочем, поздравляю. Не думай, будто я тебе завидую. Нонна мне нравилась...

АНТОНИНА СТЕПАНОВНА. Лицо туда-сюда, а фигура?

ИГОРЬ. Она мне нравилась, хотя... Я не разделял ее взглядов. Но я думал, у нее есть цель. Мне казалось, Нонна к чему-то стремится. Но это не так, я ошибался. Через несколько лет она станет похожа на Галину Тимофеевну. У Нонны та же шкала ценностей.

АНДРЕЙ. Но что изменилось? Здороваешься с Нонной сквозь зубы. Заключили союз — нормально дружить? Заключили. Выполняй обязательства.

ИГОРЬ. Демагог.

АНДРЕЙ. Игорь. Видит Бог — я совсем не демагог.

ИГОРЬ. Ты глуп!

АНДРЕЙ. И никто этого не ценит.

ИГОРЬ. Ценят. У нас дураков любят и продвигают. Тебя, братец, ждет светлое будущее.

АНДРЕЙ. Тетя Галя мне говорила, что отец...

АНТОНИНА СТЕПАНОВНА. Кто говорил?

АНДРЕЙ. Ну, не важно кто. Отец в таких случаях говорил: «Азохэн вэй».

ИГОРЬ. Не надо про отца. Отец ночи напролет изобретал в мастерской. Но вы с матерью даже не знаете, над чем он работал.

АНДРЕЙ. Я ж тебе рассказывал.

ИГОРЬ. О каких-то мелочах. Я понимаю, об остальном отец молчал. Говорить с вами о серьезных вещах — бессмысленно.

АНТОНИНА СТЕПАНОВНА. Игоречек, ты-то над чем работаешь? Нюра спрашивает, а я не знаю.

ИГОРЬ. Нюра?.. Передай Нюре, что я спроектировал квази-оптимальный фильтр. Нюра будет удовлетворена. (Андрею.) Ты предаешь отца.

АНДРЕЙ. Я?

ИГОРЬ. Хохмишь по поводу отчества. Все твои друзья гогочут. Шмулевич — это смешно!

АНДРЕЙ. Я не подпольщик, не собираюсь ничего скрывать.

ИГОРЬ. Это что, намек?.. Подлый намек... Чтобы мне не мешали работать на кафедре, я был вынужден... Я был вынужден считаться с реальностью! В конечном счете, заниматься наукой — это и значит сохранить верность отцу!

АНТОНИНА СТЕПАНОВНА. Отец и сам бы одобрил. Я недосмотрела с отчеством, так что ж? всю жизнь, что ли, мучиться?

АНДРЕЙ. Мне легче, я работаю. Я не мучаюсь.

ИГОРЬ. Опять намекает! Он хочет сказать, что содержит меня. Послушай, дорогой братец, еда и одежда меня не волнуют. Я могу питаться чем угодно! Я не прошу, чтобы мать покупала всякие там бананы!..

АНДРЕЙ. Делай, что тебе нравится. А я буду делать, что мне нравится.

ИГОРЬ. Ты очень тщеславен... Разумеется, я тоже не лишен тщеславия. Но я добиваюсь своего. Своего места. А ты пытаешься занять чужое.

АНДРЕЙ. Чье?

АНТОНИНА СТЕПАНОВНА. Ты его слушай, слушай. Не спорь.

АНДРЕЙ. Я слушаю, слушаю!

ИГОРЬ. Собрал пьяниц, калек — ущербную публику, чтобы она смотрела тебе в рот.

АНТОНИНА СТЕПАНОВНА. С Семей-технологом не дружишь. А ведь какой парень вежливый!

ИГОРЬ. Хохмы, вечеринки, танцы — все пригодилось. Ты стал лидером. Заменил Мишу — во всех смыслах.

АНДРЕЙ. Ты считаешь, что я — подпольщик. Парашютист. С фальшивыми документами на вражеской территории. Сколачиваю организацию. Становлюсь главарем...

АНТОНИНА СТЕПАНОВНА. Что ты говоришь? Совсем уже!

ИГОРЬ. Миша был настоящим лидером. А ты — самозванец!

АНДРЕЙ. Верно! Я — Гришка Отрепьев!

ИГОРЬ. Ты плохо кончишь. Как все самозванцы.

АНДРЕЙ. Глубокая историческая параллель. Брось, Игорь, несерьезно все это. (*Vyhogut.*)

АНТОНИНА СТЕПАНОВНА. Галка их свела. Нарочно, чтобы вас поссорить. Она, она!.. Но ей воздастся. Бросит жулик-официант, будет с Колькой доживать век. Уж он из нее кровушки попьет!.. А у меня ты есть, надежда моя. Большим ученым станешь.

ИГОРЬ. Будет у меня комната, спрячусь в ней, как отец прятался в мастерской.

АНТОНИНА СТЕПАНОВНА. Не говори так. Обидно мне слышать.

ИГОРЬ. Думаешь, мне не обидно?
АНТОНИНА СТЕПАНОВНА. Не горюй. Не стоит Нонка тебя.
ИГОРЬ (*кричит*). Не утешай!..

Пауза.

АНТОНИНА СТЕПАНОВНА. Сходил бы куда-нибудь, сыночек. В гости к какой-нибудь девушке. С кафедры. На кафедре девушки умные. Можно с ними об этом... о фильтре поговорить.

ИГОРЬ. Мама. И ты, и Андрей — мне чужие. По складу, по духу, по всему!..

АНТОНИНА СТЕПАНОВНА. Игорек, на меня ты похож. Погляди в зеркало. Ничего в тебе нету от отца. И голова получше отцовской.

ИГОРЬ. Что, у меня и голова твоя?

АНТОНИНА СТЕПАНОВНА. Деда. Фамилию его носишь — Трунин. Твой отец не настаивал, чтобы вы с Андреем были Розенбоймами. Против еврейской нации я ничего не имею. Но имена и фамилии у них... Шмуль Розенбойм — это ж язык сломаешь. Хорошо, что отчество сменил, правильно.

Входит Коля.

КОЛЯ. Я к вам.

АНТОНИНА СТЕПАНОВНА. Андрей ушел. Чего тебе?

КОЛЯ. Я первый вечер дома. В две смены работал, чтобы деньги были к новоселью. Думал, мамка перестанет. С официантом...

АНТОНИНА СТЕПАНОВНА. Она перестанет! Ни стыда, ни совести!..

КОЛЯ. Я их жду. Мамку и официанта.

АНТОНИНА СТЕПАНОВНА. Зубы пришел скалить? Ну-ка, иди отсюда. Черт хромой!

КОЛЯ. Мамка за него замуж хочет.

АНТОНИНА СТЕПАНОВНА. Мало ли чего она хочет!.. Он согласен?

КОЛЯ. Мы с ней разъезжаемся. (*Выходит*.)

АНТОНИНА СТЕПАНОВНА. Ну? Есть справедливость на свете?

Пауза.

В гастронOME не сходишь?

ИГОРЬ. Больше некому?

АНТОНИНА СТЕПАНОВНА. Галка-то, а? Квартиру с официантом получит.

ИГОРЬ. Ее дело.

АНТОНИНА СТЕПАНОВНА. Куда Бог смотрит? Почему он таких не наказывает?

ИГОРЬ. Много хочешь.

АНТОНИНА СТЕПАНОВНА. На ужин ни сыру, ни колбасы. Сходи в гастронOME.

ИГОРЬ. Ужинать вредно.

Комната Нонны.

На столике, среди книг и тетрадей, проигрыватель. Н о н н а слушает музыку. Входит А н д р е й.

АНДРЕЙ. Нонна Трунина! Так вы занимаетесь?

НОННА. Не Трунина, а Васнецова. У меня перерыв. Собираюсь к вам. В гости.

АНДРЕЙ. Я только что говорил с мамой. Она сказала, что у тебя очень красивое лицо.

НОННА. Больше она ничего не сказала?

АНДРЕЙ. Мечтает о трехкомнатной квартире.

НОННА. Мы договорились обсудить с твоей мамой все вопросы.

АНДРЕЙ. «Наконец-то, — говорит, — Трунины поселятся в человеческом жилье». Она из деревни, семья была бедной, в развалюхе жили.

НОННА. Я могу у вас поужинать?

АНДРЕЙ. Игорь занимается.

НОННА. Сядь, Андрюша, выслушай меня. Понимаешь, люди так устроены... Мы не хотим вникать в чужую жизнь. В характер другого человека. У нас нет времени, нет желания. Мы видим человека таким, каким он себя видит. Он как бы навязывает свою точку зрения на собственную персону. Если кто-то держится с апломбом, умничаает, мы видим в нем личность. И наоборот: если ты работаешь под простаком, то все считают тебя простаком. И соответственно относятся.

АНДРЕЙ (*грозно*). Кто ко мне плохо относится? Имя, фамилия!..

НОННА. Ты мог бы давно кончить школу, поступить в институт...

АНДРЕЙ. Не мог. Не поступил, значит не мог.

НОННА. Почему?.. Почему ты должен отдавать деньги на содержание Игоря? Сегодня же поговорю с твоей мамой. В твоём присутствии. У нее своя семья, у нас — своя! И не смей мне возражать. Я старше, опытней...

АНДРЕЙ. Я уважаю старших.

НОННА. Ты всегда уходишь от неприятных разговоров! С Игорем, с мамой — со всеми! Она смотрит на меня как на преступницу! Я ее не боюсь. Почему я должна ее бояться? Но я так не могу. Надо поставить все точки над *i!*..

АНДРЕЙ (*спокойно*). Не надо.

НОННА. Ну, вот, вот!

АНДРЕЙ. Через неделю Игорь скажет тебе: «Каждый человек имеет право выбора. Ты выбрала Андрея. Станный вкус, но что поделаешь?..»

НОННА. Через неделю, через неделю!.. Я в тебе не уверена. Ты способен за меня постоять? Бороться ты способен?

АНДРЕЙ. С кем бороться? У мамы жизнь была... Не позавидуешь.

НОННА. Тебе ее жалко, а меня — нет!

АНДРЕЙ. Хорошо, пойдем к ней. Но только скажи маме...

НОННА. Что она простой, справедливый человек?

АНДРЕЙ. Да, что-нибудь такое.

НОННА. Это неправда. С твоим отцом у нее были сложные отношения.

АНДРЕЙ. Они были разные, вот и все.

НОННА. В этом и сложность. У каждого свои комплексы.

АНДРЕЙ. Сложность всего одна. Я над этим думал. Люди хотят больше, чем имеют. Они слабые. Они стараются обосновать свой аппетит. Я — рабочий! Я — ученый! А я — вообще! Сын или дочь великого народа!.. А если ему не достанется, он говорит: «Конечно, я ведь работяга». Или: «Нам, интеллигенции, ничего не дают». Но вот знаешь, сегодня он проявил слабость, а завтра — человек как человек. И не надо поэтому ставить точки над *i*.

НОННА. Ты, оказывается, философ!.. А ты сильный, Андрюша?

АНДРЕЙ (*спокойно*). Да.

НОННА. Да-а? (*Смеется.*)

АНДРЕЙ. Способности у меня так себе, паяло длинный. Почему ты меня выбрала, не знаю. У меня нету особого аппетита. Мне легко быть сильным. У нас на заводе Сема-технолог, я тебе о нем рассказывал. В филармонию ходит. Он одно твердит: «Конечно, ведь я еврей». В институт его не брали. На работу не брали. Он способный, и ему обидно. И все равно это — слабость. Он ушел в глухое подполье. Весь озабоченный, с нашими заводскими ребятами только о работе, а так — сторонится. Меня он называет... сейчас вспомню... морально неразборчивым.

НОННА. А что я тебе говорю? Какая-то Зоя тебя оскорбляет, а ты ей — комплименты.

АНДРЕЙ. Очень просто. У каждого из нас... У каждого за пазухой два магнита. Один достанешь, к человеку поднесешь — хорошую вещь вытянешь.

НОННА. В смысле — что-то хорошее откроется?

АНДРЕЙ. А другой магнит — черный! — поднесешь — из человека гов... дрянь полезет. Почему же не пользоваться первым магнитом? Я пользуюсь, и все. Конечно, не всегда получается.

НОННА. Где ты этого набрался?

АНДРЕЙ. В детстве я часто болел. Много думал о том, о сем.

НОННА. Знаешь... Только не обижайся.

АНДРЕЙ. Не обижусь.

НОННА. Добрым может быть только сильный человек. Сколько меня ни убеждай, ты — слабый. И твоя доброта, Андрюша, — это хитрость слабого. Заговорить, сказать приятное — и все будет в порядке.

АНДРЕЙ. Все будет в порядке. Я сбегаю в магазин, куплю сосисок, еще чего-нибудь, мама приготовит ужин. А ты надень то платье.

НОННА. Какое платье? У меня всего два.

АНДРЕЙ. Без рукавов.

НОННА. Сарафан?

АНДРЕЙ. Надень сарафан и посмотри в зеркало. Тебе не идет ставить точки над *i*.

НОННА. Я понимаю, Андрюша, ты привязан к маме. Ссориться с ней не можешь... Но если она сейчас начнет, а ты меня не поддержишь...

АНДРЕЙ. Она не начнет. Только и ты не начинай.

НОННА. Андрюша! Ты должен быть решительным.

АНДРЕЙ. А я — решительный. Властный! *(Повелительно вытягивает руку.)* Надень сарафан! *(Убегает.)*

Нонна снимает со стены «плечики» с платьями. Входит З о я.

ЗОЯ. А мы к тебе, подруга.

НОННА. Здравствуй.

ЗОЯ. Со мной Просвирин. Пьяный. *(Понизив голос.)* Пристал: идем к Нонне. Скажи, что в кино собралась.

Входит П р о с в и р и н.

Вась, мы не вовремя. Она в кино собралась.

ПРОСВИРИН. А в цирк она не собралась? Я всегда не вовремя. *(Сел.)*

НОННА. Вася...

ПРОСВИРИН. Будем танцевать?

НОННА. Тебе завтра на завод, к станку. Ты лучший токарь на заводе...

ПРОСВИРИН. Андрюха подпортил мой авторитет.

НОННА. Но ты ведь широкий человек, вы — друзья.

ПРОСВИРИН. А время?

НОННА. Что — время?

ПРОСВИРИН. Сейчас время... сама понимаешь. Надо культурно жить.

НОННА. Я уйду. Слышишь?

ПРОСВИРИН (*прищурился*). Между прочим, Мишка в отпуск собирается. Матери написал. Да.

НОННА. Мне это неинтересно.

ПРОСВИРИН. Позови Мишку на свадьбу. Свидетелем со стороны невесты! (*Смеется*.)

НОННА. Это мелко, не по-мужски.

ПРОСВИРИН. Я не мужик?

ЗОЯ. Издевается она над тобой. Идем.

ПРОСВИРИН. Ты очень грубая. Культуры — ни в одном глазу.

ЗОЯ. Опять грубая. Я — крановщица! Грубая крановщица!..

ПРОСВИРИН. Ты мне нравишься, крановщица.

ЗОЯ. Вася. Васенька!

ПРОСВИРИН. То-то.

НОННА. Уходите, я прошу.

ПРОСВИРИН. Мы уходим. Но мы вернемся. Уйдем, чтобы остаться!..

Комната Галины.

Коля лежит на кровати. Входят Галина и Федор.

ГАЛИНА. Коля?.. Встань, пожалуйста. Познакомься с Федором Васильевичем.

КОЛЯ. Я его знаю. Халдей, в кабаке подносит.

ФЕДОР. Двусмысленные взгляды. Кабак, халдей... Прежде всего в человеке надо видеть личность. К сожалению, у нас это не принято.

ГАЛИНА. Встань.

КОЛЯ. Я у себя дома.

ГАЛИНА. Колька! Встань!

ФЕДОР. Не кричи на него, он тоже личность. Хотя и с апломбом.

КОЛЯ (*сagится*). Я работаю по две смены. Покупай что хочешь. Конфеты... что хочешь. Только не води этих типов.

ГАЛИНА. Федор Васильевич — тип?

ФЕДОР. Не кричи. Николай, с твоей мамой у меня сугубо серьезные отношения. На грани с официальными.

КОЛЯ. Если бы вы не воровали, она бы не пустила вас на порог. Защибаешь небось деньгу?

ФЕДОР. Вопрос, по меньшей мере, неуместный.

ГАЛИНА. Мы с ним разведемся. У него свои десять метров будут. Колька! Нячиться с тобой не хочу. И Андрюша не хочет. Мучитель!..

Входит Антонина Степановна, намерения у нее решительные.

АНТОНИНА СТЕПАНОВНА. Не кричать! Игорь занимается!.. Сын дома, а ты кавалера привела?

ГАЛИНА. Бабушка Тоня!.. Не беспокойся о кавалерах, тебе они не грозят!

ФЕДОР. Давайте хоть чуть-чуть уважать личность!

АНТОНИНА СТЕПАНОВНА. Не видишь, кто она? У любого спроси! Тебе скажут, кто она. Я из сил выбивалась, детей растила, а она гуляла

и теперь намеки мне делает, что я старуха. У тебя дети есть? Их не позорь!

ГАЛИНА. Тонька... что ж ты делаешь? Мы скоро переезжаем.

АНТОНИНА СТЕПАНОВНА. Я — справедливая! (*Направляется к двери.*)

ГАЛИНА (*загораживает дорогу*). Игорь!.. Васька!.. Сюда идите!..

Входят Игорь, Нонна, Просвирин, Зоя.

Я вам скажу, за что меня Тонька терзает!

ФЕДОР. Граждане, Галина Тимофеевна в расстроенных чувствах. Не глазейте, расходитесь, граждане! (*Пытается вытолкнуть Просвирина.*) Па-а-звольте, молодые люди!

ПРОСВИРИН. Батя! Без рук!

АНТОНИНА СТЕПАНОВНА (*испуганно*). Зачем ее слушать?

ГАЛИНА (*Игорю*). Она мне отца твоего простить не может!..

Вбегает Андрей, в руках свертки с продовольствием.

АНДРЕЙ. Тетя Галя, не надо! Не надо!..

ГАЛИНА (*Игорю*). Я тебе расскажу об отце. Тебя байками кормили!..

АНДРЕЙ. Об отце — не надо!

ГАЛИНА. Саша меня любил. Знайте, отчего у Галки жизнь не вышла!..

ИГОРЬ. Отец не имел с вами ничего общего.

ГАЛИНА. Ха-ха!.. Ты так думаешь? Думаешь, твой отец был изобретателем? Семи пядей? Нет. Обыкновенный, самый обыкновенный. Боялся Тоньки, как огня. А со мной себя мужиком чувствовал. Он Тоньки боялся, а я — ее брата. Ревнивый был ее брат. Мы Сашину мастерскую называли бомбоубежищем.

ИГОРЬ. Мерзость.

ГАЛИНА. Хотели уехать, но он не смог. Не смог вас бросить.

АНТОНИНА СТЕПАНОВНА. Ты их довела! Моего мужа — до инфаркта! Моего брата — до белой горячки!

ИГОРЬ. Я мог поступить в московский вуз. После интерната. Зачем я вернулся домой! (*Выходит.*)

АНТОНИНА СТЕПАНОВНА (*Федору*). Она и тебя доведет! У нее тут целый публичный дом! Нонка у нее служит. Волосы распустила, ресницы намазюкала. А ведь недавно похоронила мать! Беги, официант, отсюда, пока жив! (*Выходит.*)

ЗОЯ (*берет Просвирина под руку*). Я к вам, на ваши бардаки, ходить не буду. Миша придет — он с вами разберется.

ПРОСВИРИН. Миша против бардаков. Из принципа.

ЗОЯ. Он честный парень.

Уводит Просвирина.

ФЕДОР. Как официант тире психолог, я понимаю темпераментные выступления. Но как личность, я устал от них. До свидания, молодые люди. (*Выходит.*)

ГАЛИНА (*Андрею*). Догони его!..

Андрей стоит.

ГАЛИНА (кричит). Федя! Я все объясню!.. Ушел... Тонька... Чтоб ей пусто было! (Рыдает.) Пусто, пусто!.. Коля, у мамки твоей дубль-пусто на руках...

КОЛЯ. Пусто-один. Я тебя не брошу.

Затемнение.

КАРТИНА 5

Комната Нонны.

А н д р е й читает за столиком, Н о н н а сидит на тахте.

НОННА. Сегодня воскресенье, а ты дома сидишь.

АНДРЕЙ. Я теперь домосед.

НОННА. Сходи на танцы. Нет, правда, Андрюша, сходи, а?

АНДРЕЙ. А ты?

НОННА. У меня голова болит.

АНДРЕЙ (переворачивает страницу). Почитаем.

Пауза.

НОННА. Знаешь, я все больше думаю об отъезде. Правда.

АНДРЕЙ. В другой город?

НОННА. В другое царство-государство. У нас люди умеют враждовать. Их этому обучили. Когда человек что-то умеет, он именно это и делает. Я устала.

АНДРЕЙ. Куда поедем?

НОННА. Знакомая девчонка вышла за эфиопа. Уехала в Эфиопию.

АНДРЕЙ. Слушай, давай махнем на Луну!

НОННА. Давай. Я согласна.

Пауза.

Что это за дежурства? Второй день не отходишь. Миша приехал позавчера. Раз он не пришел до сих пор, значит, не придет... Я лягу. Голова болит...

АНДРЕЙ. Поспи. Ваши веки тяжелеют. Дыхание становится глубже...

НОННА. Миша тебя увидит... Я не знаю, что будет!..

АНДРЕЙ. Дыхание становится...

НОННА. Огромная просьба, Андрей. Пойди куда-нибудь. Я опытней тебя. Если я прошу, значит, так надо.

АНДРЕЙ. Мне интересно встретиться с Мишей.

НОННА. Не храбрись, ради бога!.. Я хочу сама поговорить с ним. Ну, в конце концов...

Пауза.

АНДРЕЙ. Погода хорошая. Я инспектор из бюро погоды. Пойду на улицу.

НОННА. Погуляй где-нибудь в сквере. Возле дома не стой.

Андрей выходит. Нонна читает, лежа на тахте. Всплакивает, смотрит в зеркало. Снова ложится.

Входит М и х а и л. Коля, приоткрыв дверь, наблюдает.

МИХАИЛ (Коле). Закрой дверь. Кому я сказал.

Коля исчезает.

Он тебе передал записку?

НОННА. Передал. Здравствуй.

МИХАИЛ. Здравствуй. (Оглядывается.) Пожалуй, старые апартаменты были лучше.

НОННА. Эти дешевле.

МИХАИЛ. Обеднела?

НОННА. Мне трудно жилось. Впрочем, это... Это не интересно.

МИХАИЛ. А ты похорошела, несмотря на трудности.

НОННА. Благодарю. Ну, как на Севере, расскажи.

МИХАИЛ. На Севере? Тепло, уютно. Курорт.

НОННА. У меня мама умерла.

МИХАИЛ. Почему не написала?

НОННА. А ты писал? За все время ни строчки.

МИХАИЛ. Я не умею писать.

Пауза.

НОННА. Миша. Я собираюсь замуж.

МИХАИЛ. За Андрюшку Трунина?

НОННА. Он помог мне. Без него не знаю, что бы со мной было.

МИХАИЛ. Вместе на похороны ездили?

НОННА. Да.

МИХАИЛ. Андрюшка заботливый. Бескорыстно заботится.

НОННА. Я умоляю, не трогай его!

МИХАИЛ. Плохо обо мне думаешь.

Пауза.

Выпить за твое счастье я могу?

НОННА. Нет-нет. Выпить нечего.

МИХАИЛ. А где Андрей?

НОННА. Не знаю.

МИХАИЛ. Тогда выпьем вдвоем. (Протягивает деньги.) Сходи.

НОННА. Нет, Миша, не пойду.

Пауза.

МИХАИЛ. Ты плохо рассчитала. Его мать и брат против.

НОННА. Я не расчетливая, ты это прекрасно знаешь. Если бы я была расчетливой, я бы вышла за Игоря.

МИХАИЛ. Богатый выбор.

НОННА. Не жалеюсь.

МИХАИЛ. Где будете жить?

НОННА. Зависит от обстоятельств. Может быть, уедем в другой город. Не знаю.

Пауза.

МИХАИЛ. Собирай вещички.

НОННА. Что?

МИХАИЛ. Собирай вещички, пойдешь со мной.

НОННА. Никуда я не пойду.

МИХАИЛ (*крепко обняв Нонну*). Плохо тебе было со мной?.. Я когда узнал, что с этим салагой спуталась, обоих прибить хотел. А потом.. Ты стала... черт его знает, почему... стала мне ближе. (*Целует ее*.)

НОННА. Пусти... Миша... Не надо. (*Освободилась*.) Почему не писал?

МИХАИЛ. Сказал жди, значит жди!

НОННА. До седых волос? Ты ведь не на войну ушел. Ты просто меня забыл. Приехал, узнал, что я выхожу замуж, и завелся.

МИХАИЛ. Письма — это векселя. Имея на руках векселя, ждать просто.

НОННА. Хочешь сложностей? А ты не думал, что усложнять жизнь — это слабость?

МИХАИЛ. Что-то новое. (*Помолчав*.) Значит — конец?

НОННА. Это теперь неизбежно. Ты меня не простишь. Или простишь, если я буду чувствовать себя виноватой. Я так не хочу. Давай, Миша, простимся. Я тебе желаю...

МИХАИЛ. Успеешь пожелать. Так не прощаются. На. (*Достает из сумки подарки*.) Джинсы, свитер, часики...

НОННА. Мне ничего не надо.

МИХАИЛ. Твое. (*Отбросил подарки*.) Последняя просьба. (*Протягивает деньги*.) В магазин и назад.

НОННА. Обещай, что простимся и ты...

МИХАИЛ. Уйду. Это теперь неизбежно.

Нонна выходит.

В дверь заглядывает Коля.

КОЛЯ. Ку-ку. (*Входит*.) Ну что? Плохо твое дело?

МИХАИЛ. Подслушивал?

КОЛЯ. Куда тебе с твоими подарками. Она побежала Андрея предупредить.

МИХАИЛ. Он спрятался.

КОЛЯ. Придет. Только не вздумай его бить. Тут словами надо... Я хочу концерт подготовить. Андрюша концерты любит...

МИХАИЛ. Концерт?

КОЛЯ. Надо что-нибудь такое. (*Щелкает пальцами*.) Сказку какую-нибудь. Про Золушку. Или... Пушкин. «Сказка о золотой рыбке». Вот такой будет концерт!

Выходят.

Комната Труниных.

Дома один Игорьь. Он стоит перед зеркалом. Входит Михаил.

МИХАИЛ. Здорово.

ИГОРЬ. Здравствуй, Михаил. (*Протягивает руку*.) Какими ветрами?

МИХАИЛ. В отпуск.

ИГОРЬ. Много рыбы наловил?

МИХАИЛ. Тебе оставил.

ИГОРЬ. Мне она ни к чему.

МИХАИЛ. Грызешь науки гранит?

ИГОРЬ. Грызу. В аспирантуре.

МИХАИЛ. Теплое местечко. (*Оглядывает Игоря*.) Костюм. Галстук... Процветающий аспирант!

ИГОРЬ. В гости иду. Надо немного встряхнуться.

МИХАИЛ. Тут такое дело, парни хотят концерт устроить. Я немного одичал на Севере, надо цивилизации вкусить.

ИГОРЬ. К Галине Тимофеевне не хожу.

МИХАИЛ. А к Нонне?

ИГОРЬ. Я не пою, не играю.

МИХАИЛ. Лекцию толкнешь. О научных достижениях.

ИГОРЬ. Аудитория не та.

МИХАИЛ. Ну, что ж, иди в гости. Отдохни. *(Поправляет Игорю галстук.)* Береги себя, ты нужен науке!

Входит Андрей.

Кого я вижу! Кореш!..

АНДРЕЙ. Привет.

МИХАИЛ *(Игорю)*. Подрос, а? Прямо не узнать.

АНДРЕЙ. А ты не изменился.

МИХАИЛ. Пошли к Нонне. *(Игорю.)* Не хочешь с нами?

ИГОРЬ. Нет-нет.

МИХАИЛ. Желаю хорошо повеселиться.

ИГОРЬ. И вам того же.

Комната Нонны.

Михаил, обнимая, вводит Андрея.

МИХАИЛ. Вот мы и встретились. Есть морской обычай. Старые кореша, встретившись после разлуки, варят какое-нибудь блюдо. Например, макароны по-флотски.

АНДРЕЙ. Нам бы надо поговорить?

МИХАИЛ. Брось, кореш. О чем говорить.

АНДРЕЙ *(рагостно)*. Миша!.. Терпеть не могу бесполезную болтовню. Когда все ясно и просто.

МИХАИЛ. Неси макароны.

Андрей выбегает и возвращается, держа в руках пакет с макаронами.

Сейчас мы их сварим. Нонна придет, а у нас закуска готова. Положи макароны.

Андрей выполняет.

Образец. *(Вручает.)* Отбирай: больше этой — направо, меньше — налево.

АНДРЕЙ *(помолчав)*. Вкусная вещь?

МИХАИЛ. Пальчики оближешь. Только не торопись.

АНДРЕЙ. Больше этой — направо, меньше — налево. *(Старательно сортирует. Протягивает Михаилу.)* Продувай. Продувай-продувай. Иначе вкус не тот!

Пауза.

МИХАИЛ. Молодец.

АНДРЕЙ. Варить не будем?

МИХАИЛ. Убери.

Пауза.

Как дела? Говорят, кругом успехи?

АНДРЕЙ. Что тебе сказать...

МИХАИЛ. Не скромничай.

Входит Нонна с сумкой в руке.

НОННА (*Андрею*). Ты здесь? Я думала, в сквере.

АНДРЕЙ (*отбирает сумку*). Только что пришел.

НОННА (*тревожно*). Откуда макароны?

АНДРЕЙ. Мы хотели сварить.

НОННА. Не надо. (*Достает из сумки бутылку и банку с консервами*.)
Открой. «Лосось в томате».

Михаил берет банку.

АНДРЕЙ. Нонна меня просила.

МИХАИЛ. Уступаю. (*Нонне*.) Что с тобой?

НОННА. Голова что-то болит.

АНДРЕЙ (*весело*). Пройдет. Садись за стол. (*Расторопно сервирует*.)
Садись, Миша. Выпьем?

МИХАИЛ. У вас не возникла аналогия? Так солдаты возвращались.
Приходят и видят: места заняты.

НОННА. Ой, неуместная аналогия!..

АНДРЕЙ. У Миши очень трудная работа. Он справляется. Правильно, Миша, что тебе хорошо платят.

МИХАИЛ. Дело не в деньгах.

АНДРЕЙ. Ты — большой молодец!

НОННА. Герой. Супермен.

МИХАИЛ. Помолчи.

АНДРЕЙ. Супермен не супермен, но я снимаю шляпу. Давайте за встречу?

МИХАИЛ. За встречу.

Входит Коля.

КОЛЯ. Не помешал? Разрешите? Бывает, что я некстати.

АНДРЕЙ. Только что рюмки подняли. Садись.

КОЛЯ. Что смотришь?.. Он пытается запомнить этот чудесный облик (*обводит свое лицо*). Эту прекрасную фигуру... Я — артист! Второй Чарли Чаплин!..

МИХАИЛ. Покажешь что-нибудь?

КОЛЯ. За встречу! (*Выпивает*.) Сказку рассказать?

НОННА. Хотите сказки слушать — включите радио, сейчас передача для маленьких.

КОЛЯ. Моя сказка для больших. Поучительная сказочка!..

АНДРЕЙ. Ты нас заинтересовал.

КОЛЯ. Сейчас. Значит, так. Жила-была золотая рыбка. Вернее, она была обыкновенной рыбкой, но в доме — тыфу! — в озере считалась золотой. Рыбка мечтала: «Поймал бы меня кто-нибудь!..» Ей не везло. Некому было поймать рыбку. Один стоящий рыбак жил на берегу, да и тот уехал!..

АНДРЕЙ. Старо. Давайте выпьем.

КОЛЯ. Рыбка совсем уже потеряла надежду. Но тут увидела маленького осьминога. Осьминог поет: «Какая ты золотая! Какая красивая! У меня есть братец. Хочешь, он тебя поймает?» — «Нет, — отвечает рыбка. — Ты, мой сладенький, лучше сам меня поймай!..»

АНДРЕЙ. Поймал! (*Обнимает и целует Нонну*.) Что дальше?

КОЛЯ. Рыбак вернулся и закинул сеть. И вытащил на свет божий обоих!..

НОННА. Как мне все это надоело! Уходи, Коля. Я тебя не приглашала.

МИХАИЛ (*Андрею*). Выгоним его?

КОЛЯ. Он не выгонит. Более того, он пригласит всех наших. Попрою...

Входят Просвирины с гитарой и Антон.

ПРОСВИРИН (*играет на гитаре*). «...И пусть починит наш амбар — ведь не гнить зерну. Будет Пашка приставать — с ним как с предателем. С агрономом не гуляй — ноги выдерну. Можешь раза два пройтись с председателем...»

НОННА. Миша, что это такое?.. Андрей! Вот они твои друзья, вот!.. (*Прижалась к Андрею*.)

АНДРЕЙ. Понимаешь, я был один. Игорь жил в интернате, дома мама и отец выясняли отношения, им было не до меня. Я мечтал о друзьях. (*Коле*.) Мы с тобой братья.

КОЛЯ. Двоюродные.

АНДРЕЙ. У тебя много двоюродных?

КОЛЯ. Ни одного.

Андрея обступают.

НОННА. Миша, ты обещал!..

МИХАИЛ. Ничего, пускай потолкуют.

КОЛЯ (*Андрею*). Ты у меня поживешь? Покупать раскладушку?

АНДРЕЙ. Нет. Все изменилось.

КОЛЯ. Почему? Официант мою мамку бросит. Я к ней вернусь. А комната — тебе!..

АНДРЕЙ. Я этого не учел.

ПРОСВИРИН. Ты все учел, ты — хитрый, Трунин-Розенбойм!

АНДРЕЙ. Все евреи хитрые, давным-давно известно.

ПРОСВИРИН. Вокруг меня бегал: «Василий Петрович, научи! Василий Петрович, ты — первый токарь!» А теперь начальство меня игнорирует! Теперь Трунин-Розенбойм — первый!

МИХАИЛ. Сложная фамилия.

Все смеются.

АНДРЕЙ. Согласен. Будет проще. Розенбойм и все. (*Нонне*.) Давай ужинать, я проголодался. Антон, садись за стол.

АНТОН. Что я, один сяду? Я как все... Пудрил мне мозги йогой.

КОЛЯ. Он всем пудрил мозги!

ПРОСВИРИН. С ним надо — как с предателем!

НОННА. Миша...

МИХАИЛ. Не горячитесь, парни. Он еще молодой. Я, Андрюшка, приведу аналогию. Входишь в комнату. Видишь — низкий потолок. Надо пригнуться, кореш, иначе...

АНДРЕЙ. Я не войду в такую комнату. Не люблю, Миша, подвалов.

МИХАИЛ. В армии не служил. В казарме потолки низкие.

АНДРЕЙ. А ты? Нагибался?

МИХАИЛ. Сравнил — меня и себя. Но и мне приходилось. Жизнь сложнее, чем ты думаешь. Научился работать — это не все. Нет, не все.

Спроси у Просвирина: «Вася, можно, я эту работу сделаю?» Он пьяный, а ты спроси.

ПРОСВИРИН. Просвирин пьет со скуки. Просвирин никогда не станет мещанином!

МИХАИЛ. Он где-то прав. У вас тут скучновато. Антон спит — от скуки. Из него такой же йог, как из Хромого артист. Заметь, я называю хромого Хромым. Чтобы помнил. Нельзя, Андрей, сеять иллюзии.

АНДРЕЙ. А что можно? Что нельзя — понятно. Что можно?

КОЛЯ. Жениться.

ПРОСВИРИН. Вопрос — на ком?

КОЛЯ. На золотой рыбке.

ПРОСВИРИН. Конечно, красивая русская жена — это приятно.

МИХАИЛ. С ней лестно выйти на улицу.

КОЛЯ. Под ручку. Но это все равно что я, хромой артист, выйду на улицу во фраке. Где взял? Ясно где — украл!

Смех.

АНДРЕЙ. Живи тихо и чаще вспоминай свою фамилию?

ПРОСВИРИН. Правильно!

МИХАИЛ. Парни, на посошок, и разошлись. (*Андрею.*) Иди, тебя никто не тронет. Оставь нас с ней.

НОННА. Я не могу вас всех видеть!

Быстро идет к двери. Андрей догоняет ее.

АНДРЕЙ. Куда ты? Садись. Огромная просьба — садись!

МИХАИЛ. Спасибо. Люблю понятливых. Дай пять, кореш.

Рукопожатие.

АНДРЕЙ. Не скучай, Миша. Попутного ветра. Счастливого плавания.

МИХАИЛ. Не хохми.

АНДРЕЙ. Ты наш гость. Прием окончен, гости расходятся, и все.

МИХАИЛ. Кто тут гость?

АНДРЕЙ. Ты. Зачем усложнять? (*Садится за стол.*) Я люблю все простое.

Пауза.

МИХАИЛ. Парни, вы правы. Он обнаглел.

ПРОСВИРИН. Потолка не видит.

АНДРЕЙ. Не вижу.

Михаил поднимает руку. Опуская ее, пригибает голову Андрея.

НОННА. Ты обещал!..

МИХАИЛ. Встань!

Андрей встает.

КОЛЯ. Старшим надо место уступить.

МИХАИЛ. Гуляй.

Хочет сесть рядом с Нонной. Андрей выдергивает из-под него стул. Михаил падает.

АНДРЕЙ. Вставай, Миша. Пол грязный. Вымазаться недолго.
МИХАИЛ. Ты у меня сейчас вымажешься!

Бросается на Андрея.

АНДРЕЙ. Ну!.. Ну!.. Не попал! Опять не попал!..
НОННА. Оставь его, я умоляю!
КОЛЯ. Хватит, хватит.
АНТОН. Не лезь на рожон.
ПРОСВИРИН. Ты этого заслужил, не обижайся.
МИХАИЛ (*завернул руку Андрея*). Проси прощения!
АНДРЕЙ. Эх ты, слабак!..

Получает сильный удар в лицо. Сползает по стене, но тут же встает.
Держась за голову, садится.

Ты еще здесь?
НОННА. Не надо, ничего не говори! Ничего не говори!..
МИХАИЛ. Пожалела? На это он и рассчитывал.

Андрей роняет голову на стол.

Ладно, парни. Концерт окончен.
КОЛЯ. Что с ним?
ПРОСВИРИН (*тормошит Андрея*). Андрюха... Не обижайся.
АНТОН. Без сознания. Отключился.
НОННА (*кричит*). Андрюша! Андрей!..
МИХАИЛ. Он довел меня. Черт, я не хотел!..

Затемнение.

КАРТИНА 6

Комната Труниных.

Идут последние приготовления к переезду в новый дом. Игорь укладывает в чемодан книги. Андрей и Антон подтаскивают тюки к двери. Антонина Степановна им помогает.

АНДРЕЙ. Мама, оставь.
АНТОНИНА СТЕПАНОВНА. Квартира хорошая. Шкафы встроенные, лоджия. У Ньюры, правда, мусоропровод есть.
ИГОРЬ. Чего-то всегда должно недоставать.
АНТОНИНА СТЕПАНОВНА. Зато у нас парк рядом. Магазины рядом. В кладовке посмотри, ничего не забыли?
АНДРЕЙ. Там отцовский инструмент. Я его себе оставляю. (*Игорю*). Ты не против?
ИГОРЬ. Пожалуйста.

Игорь и Андрей выходят.

АНТОН. Это правда? Он действительно... надумал?..
АНТОНИНА СТЕПАНОВНА. Тихо!.. Ой, горе! За что мне это?! Нонка подбила. Авантюристка, каких свет не знал! Почтище Галки!..

АНТОН. У него там богатый дядя, ему хорошо.

АНТОНИНА СТЕПАНОВНА. Какой дядя?

АНТОН. Брат отца.

АНТОНИНА СТЕПАНОВНА. Нету никакого дяди. Ни дяди, ни тети. Всех немцы убили в войну.

АНТОН. Зачем же ехать?

АНТОНИНА СТЕПАНОВНА. Спроси! Говорит, буду работать.

АНТОН. Работать... Бросьте, тетя Тоня. Там его ждет наследство.

АНТОНИНА СТЕПАНОВНА. Кто тебе сказал?

АНТОН. Все говорят. Весь цех.

Вбегает возбужденная Г а л и н а.

ГАЛИНА. Где Андрей? Я хочу, чтобы он меня поздравил. Андрюша!

Входит Андрей.

АНДРЕЙ. Что случилось, тетя Галя?

ГАЛИНА. Федя мне предложение сделал. Солидный человек, официант, а смущался. Как будто в первый раз женится.

АНТОНИНА СТЕПАНОВНА. Не в первый небось.

ГАЛИНА. Во второй. «Я, — говорит, — был идейным вдовцом». Значит, идея была: больше не жениться. У него дочь, зять, но он говорит: «Давай, — говорит, — строить счастье на две персоны». Я киваю. Давай, говорю, на две персоны.

АНДРЕЙ. Поздравляю, тетя Галя.

ГАЛИНА. Стол накрывай. Федя в гастроном пошел.

АНТОНИНА СТЕПАНОВНА. Слыхали? Стол ей накрывай.

ГАЛИНА. Уговор: сегодня не портить кровь.

АНДРЕЙ. Со мной лучше не общаться.

ГАЛИНА. Почему?

АНДРЕЙ. Я ведь предатель Родины.

ГАЛИНА. Перестань!

АНДРЕЙ. Мы с Нонной уезжаем.

ГАЛИНА. Не верю, хоть ты меня режь!.. Андрюша, ты ведь не еврей.

АНДРЕЙ. Еврей.

ГАЛИНА. Да ты сам себя евреем сделал!

АНДРЕЙ. Так получилось. *(Выходит.)*

АНТОНИНА СТЕПАНОВНА. Как подменили парня — серьезный, сосредоточенный. *(Плачет.)* С завода увольняется.

ГАЛИНА. Ужас какой!

АНТОНИНА СТЕПАНОВНА. Я Нонку простить хотела. Уж очень она горевала в больнице, что Андрей не выживет. Выжил. Так она его подбила уехать. Ну и Семка-технолог агитацию развел. Убила бы его!..

ГАЛИНА. Там жизнь не сахар.

АНТОНИНА СТЕПАНОВНА. Ой, не сахар!..

ГАЛИНА. Но и здесь... Если вспомнить...

АНТОНИНА СТЕПАНОВНА. Вспоминай. Вспоминай, сколько ты зла натворила. Как ты после всего смотришь мне в глаза?

ГАЛИНА. А вот — смотрю!..

ФЕДОР *(заглядывает в дверь)*. Галина Тимофеевна у вас?

ГАЛИНА. Здесь я, Федя. Заходи. *(Антонине Степановне.)* Это уже не твоя площадь. Новый ордер получила? Получила. *(Федору.)* Заходи.

ФЕДОР *(входит)*. Я, собственно... Галя... коньяк принес.

ГАЛИНА. Разъезжаемся ведь. Напоследок посидеть надо.
ФЕДОР. Там еще молодые люди...

Входят Просвири н и З о я.

ЗОЯ. Галка! *(Целует ее.)* Мы с тобой товарищи по счастью!
ГАЛИНА. Я падаю! *(Просвиришу.)* Решился?

Просвирин разводит руками.

ЗОЯ. Ребенок будет.

ПРОСВИРИН. Об этом все должны знать?

АНТОНИНА СТЕПАНОВНА. Вы бы на Андрея повлияли.

ПРОСВИРИН. В цехе будет собрание.

ЗОЯ. Поговорим.

ПРОСВИРИН. Скандал на весь завод. Из цеха — двое! Семка — понятно. Но Андрюха...

ЗОЯ. Скатертью дорога. Назад попросятся — не пустим!

ГАЛИНА. Беременные женщины обычно добреют, а ты как змея.

ПРОСВИРИН. Может, врет? Не беременная?

ЗОЯ. Попробуй. *(Кладет его руку себе на живот.)*

ФЕДОР. Молодые люди, личность нельзя осуждать. Кто-то, не состоя в браке, рожает. Мы, люди не первой молодости, женимся. Кто-то собрался уезжать. Это индивидуальный процесс. Сугубо индивидуальный!

ПРОСВИРИН. Нет, батя, не говори. Родина есть Родина, нельзя ее бросать.

ЗОЯ. У Андрюхи нет любви к Родине!

ПРОСВИРИН. Ни в одном глазу.

Входит К о л я.

КОЛЯ. Сейчас машина придет. *(Хочет уйти.)*

ФЕДОР. Маме неприятно, Николай, что ты сторонисься. Я должен высказать тебе одну мысль. Я всю жизнь смотрел на чужое веселье. А сам, как тот сапожник, ходил без сапог...

КОЛЯ. Кто в сапогах?

ФЕДОР. Давайте, молодые люди, себе сошьем. Индивидуально!

Входят И г о р ь , А н д р е й и Н о н н а.

ГАЛИНА. Андрюша и Нонночка, могу я с вами выпить? Вы вне закона, но только не для меня!

ИГОРЬ. Я не понимаю, что вы тут устраиваете.

ГАЛИНА. Не понимай. Просто выпей и все. Среди нас кто самая старшая? Антонина Степановна. Предоставим ей слово.

ПРОСВИРИН. Тетя Тоня, речь.

АНТОНИНА СТЕПАНОВНА. Старуху нашли. Вы знаете что? Вы...

ГАЛИНА. Напоследок, Тоня.

АНТОНИНА СТЕПАНОВНА. У меня жизни не было. Я вся в детях. Мой Игорь профессором будет!.. А вот Андрей... Довели парня, уехать хочет. Ваша работа!..

ГАЛИНА. А не твоя?

НОННА. Мы устали.

АНДРЕЙ. Слушайте, не надо. Не надо об этом.

ПРОСВИРИН. Говори прямо, держишь на нас обиду?

АНДРЕЙ. Я здесь не нужен. Вот и все.

ПРОСВИРИН. Не можешь тут жить?

АНДРЕЙ. Могу. Как подпольщик. Но я не хочу.

НОННА. Мы не хотим этих сложностей. Не хотим враждовать!

АНДРЕЙ. Помолчим. Перед дорогой.

Пауза. Гудок машины.

ПРОСВИРИН. Машина. Эх, жизнь!..

ФЕДОР. Поехали. Желаю вам, молодые люди, счастья.

Жильцы квартиры и гости, прощально оглядываясь, уходят.

К о н е ц

Александр Леонтьев

КАРТИНКИ С ЯРМАРКИ

This is the way the world ends...

Eliot

Вот и проходит ночь
и остаются сны
нам уже не помочь
мы тяжело больны

наши ряды растут
мы отдаем долги
надо платить за труд
господи помоги

МАГАЗИН «ИИСУС» — КНИГИ НА ЛЮБОЙ ВКУС!

новый приход зимы
погреб совсем забит
нам не дают займы
это прекрасный вид

птичка себе летит
кто это яйца снес
каждый нерусский жид
гоголь не суй свой нос

ТУАЛЕТНАЯ БУМАГА «НОКТИУРН» — ЛУЧШИЕ АКЦИИ В МИРЕ!

это не кровь не боль
что ты сказал не я
в жилах ждет алкоголь
переливания

кто это ты сказал
сам ты пошел туда
это вообще вокзал
думаете ну да

ВКЛАДЫВАЙТЕ ДЕНЬГИ В ТРАНСПОРТНУЮ КОРПОРАЦИЮ «ВЕЧНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ»!

что я сказал ложись
раком хлебни пивка
сранная штука жисть
так сказать коротка

веку теперь конец
триппер я думал спид
дедушка вы отец
трахни покуда спит

КОМПАНИЯ «ФАКОФФ И КУЗИНА» ПРИГЛАШАЕТ К СОТРУДНИЧЕСТВУ!

ссср ура
кликни святая русь
бродский не умира
черных люблю марусь

вот африканский блэк
черная речка уайт
падает снег на снег
олл дорогуша райт

ЖУЙТЕ ПРЕЗЕРВАТИВЫ ФИРМЫ «ДЖЕКсонЪ & ДЖЕКсонЪ»!

мальборо и верблюдо
баксы положь на стол
дайте мне список блюд
женский стелите пол

это почему для муж
вот мой билет я член
тройка семерка туз
нет не обман обмен

КРЕМ «АНАЛУС» ПРЕДОХРАНИТ ВАС В ЛЮБУЮ ПОГОДУ!

детский компьютерленд
ядерным взрывам нет
комиксы хиппи энд
кришне дают обед

новый читали мир
это подстроил д'жэк
о времена овир
так умирает век

НАША ОБУВЬ — НАДЕЖНОЕ СРЕДСТВО ОТ ГОЛОДА!

кто не ворует тот
кто тут сказал не ест
дай уколотся жмот
всех с потрохами съезд

видеорай искус
это цветочки зла
ягодок я боюсь
наша свое взяла

БАНК «НАМБО» ПРИНИМАЕТ ВКЛАДЫ У НЕИМУЩИХ!

это не маскарад
это парад вперед
джинсовый маскхалат
черт его разберет

камо грядеши се
видимо человек
кто невиновен все
так умирает век

**ЗАГОТКОНТОРА «РОГА И КОПЫТА»:
НАСТАВЛЯЕМ И ОТКИДЫВАЕМ!**

вот и проходит ночь
и наступает день
вряд ли кому помочь
честно признаться лень

это сума тюрьма
смерть задарма эх ма
горе уму и тьма
скоро придет зима

**ОСЕННЯЯ РАСПРОДАЖА ТАНКОВ:
ДЛЯ ОПТОВИКОВ СКИДКА — 30%!**

радость моя с ума
сводит меня тоска
скоро придет зима
ты мне одна близка

осень у нас в душе
осень у нас в окне
крепче прижмись ко мне
вот и тепло уже.

ЕХЕГИ MONUMENTUM

Не гипс, не мрамор, не гранит, а только эти звуки любви;
Но Хронос — хоть и не Кронид я вовсе — обломает зубы
О строфы нежности, обид и счастья, знающего стыд.

Пойми: я — памятник себе. И Муза не спешит наружу,
Где ей предложат как рабе: а ну-ка, распахни-ка душу!
Но если в чьей-нибудь судьбе участие нужно, — то нарушу

Окаменевшие черты забвенья, расправляя строки,
Стремясь утешить на пороге небытия кратчайшим «ты»,
Уместным здесь — у той черты, где все мы вечно одиноки.

Так обращаются к Тому, Кто элина, Кто иудея
Приблизил к сердцу Своему, не страхом — совестью злодея
Карая; нашими владея сердцами — обратясь к уму.

И тот, кто снизойдет ко мне, — быть может, с Ним соединится,
Мои привязанности, лица любимые в блаженном сне
Вдруг различив: на мутном дне зеркал, которым не разбиться.

И тем, а вовсе не тропой народной, я любезен буду
Ему... Цветами и травой пусть зарастет она повсюду —
Невытоптанными толпой, что лишь перстами верит чуду.

1995

СИЗИФ

Ну, хорошо. Положим, этот миф
Осуществился. Камень на вершине.
Окончен труд. Что делает Сизиф?
Какую басню воплощает ныне?
Весь мышечный объем его тоски
Теперь свободен. Вольно. Что осталось?
Рельефный мрамор поднятой руки,
Что вместе с потом согнала усталость
С его чела. Что дальше? Можно есть,
Жевать травинку. Вы не так уж строги
К нам, смертным (если вы, конечно, есть),
Лукавые, участливые боги...
Сизиф благодарит вас. Что потом?
Проходит день, и беспокойство тела
Вновь ищет исцеления трудом
(Душа того же, глупая, хотела).
И происходит вот что: темноты
Дождавшись (будто ночь его с богами
Не ссорит), он толкает с высоты
Валун в долину сильными ногами.

1996

СОДЕРЖАНИЕ

Еще раз о Сизифе. И еще раз о нем же. Еггата 5

Abcde

Владимир МАРКОВ. 2 ³ / ₄	8
Х. Л. БОРХЕС (при участии М. ГЕРРЕРО). Книга вымышленных существ. <i>Фрагменты. Перевод Д. К. Хотова. Публикация и вступительная заметка Кирилла Кобрина</i>	25
Александр ШАТАЛОВ. <i>Стихотворения</i>	36
Игорь ПОМЕРАНЦЕВ. Югославянская рапсодия. <i>Эссе</i>	39
Ханс БОЛАНД. Стишки уroda — врага народа	45
Sergei SIGEI. Plus latinizatsija russkogo jazyka	47
Владимир САДОВСКИЙ. Такой пассаж. Смотрите на мяч! Опасения. Неудовольствие... <i>Рассказы</i>	54

aBcde

Александр СВИРИДОВ. <i>Стихотворения</i>	60
Кирилл КОБРИН. Последний римлянин. <i>Эссе</i>	62
Полина БАРСКОВА. <i>Стихотворения</i>	64
Михаил ОКУНЬ. Девушка для бандита. Страшный сон писателя Тюшина. <i>Рассказы</i>	68
Александр КОНДРАТОВ. Из книги «Бурл-эксы»	76
Владимир СИМОНОВ. Антиквис. <i>Проза</i>	85
Ры НИКОНОВА-ТАРШИС. <i>Произведения</i>	109

abCde

Александр КАЗАНСКИЙ. <i>Стихотворения</i>	114
Ров ПРОВОРОВ. Избранные манифесты, приказы, постановления и т. д.	117
А. Е. БАРЗАХ. Бывает ли «нерусская» тоска? <i>Исследование</i>	120
Павел НЕКЛЮДОВ. <i>Стихотворения</i>	136
Артур КРОТОВ. Беседы. Метаморфоза. <i>Новеллы</i>	145
Алексей ПУРИН. Таро. <i>Стихотворения</i>	152

abcDe

Алексей КИРДЯНОВ. Ночь. <i>Книга стихотворений</i>	164
Михаил ИВИН. Мои пять войн	181
Денис ДАТЕШИДЗЕ. <i>Стихотворения</i>	189
Юрий ШИЛОВ. Августовская ночь. <i>Стихотворение</i>	190
Наталья БЫКАНОВА. Сорок лет спустя. <i>Статья</i>	191

abcdE

Борис ПОЛИЩУК. Накануне новоселья. <i>Пьеса в 6-ти картинах</i>	196
Александр ЛЕОНТЬЕВ. <i>Стихотворения</i>	237

«У лондонской детворы есть свое любимое кафе — „Наполи“. В меню этого кафе, в разделе „десерт“, можно найти и такое блюдо —

„пощечина официанту“. Это не каламбур и не шоколадный каприз неаполитанского кондитера. Это всерьез.

За пять с лишним фунтов стерлингов ваш сын или дочь может дать одну пощечину официанту.

Перед тем как подставить щеку, официант проверяет ладонь ребенка — не жжал ли клиент иглы или бритвочки между пальцами.

Заработав пощечину, официант тотчас начинает петь какую-нибудь классическую неаполитанскую канцону. Дети, да и взрослые, всякий раз дружно аплодируют артисту.

В прошлом году я привел в „Наполи“ сына по случаю его двенадцатилетия. На десерт сын заказал пощечину официанту.

Настроение у нас было приподнятое, пощечина обещала быть звонкой».

Что произошло дальше, читатель узнает из эссеистической книги Игоря Померанцева «По шкале Бофорта», которую мы предполагаем издать в качестве одного из ближайших выпусков «Urbi».

За истекшие полтора года вышли в свет
четыре выпуска обновленного альманаха «Urbі»:

пятый (1995, 256 с.),
шестой: Баден-Баден (1996, 176 с.),
седьмой: Труды Феогнида (1996, 128 с.),
восьмой: Новый Сизиф (1996, 240 с.).

Среди наших авторов — *Владимир Марков* (США),
Ры Никонова-Таршис, *Игорь Померанцев* (Чехия),
Александр Пятигорский (Великобритания),
Сергей Сигей...

Исследование *Анатолия Барзаха* об Анненском,
опубликованное на страницах «Urbі»
(выпуск пятый),
выдвинуто на соискание Санкт-Петербургской
литературной премии «Северная Пальмира».

Наряду с очередными ежегодными выпусками,
редакция готовит к изданию ряд специальных,
в том числе авторские книги эссе:

Кирилл Кобрин. Профили и ситуации;
Игорь Померанцев. По шкале Бофорта;
Алексей Пурин. Воспоминания о Евтерпе.

Новаторский и динамичный проект «Urbі»
открыт для делового сотрудничества
и материальной поддержки.

Почтовый адрес редакции:
198005, Россия, СПб., а/я 69

Контактные телефоны:
(812) 251-7418 (Алексей Пурин)
(812) 235-1791 (Владимир Саговский)